

175175

Октябрь
1942г.
Кн. 3-4.

ОКТАБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ТРЕТЬЯ—ЧЕТВЕРТАЯ
КНИГА

МАРТ—АПРЕЛЬ



О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА

1942

С о д е р ж а н и е

МИКОЛА БАЖАН — Давид Галицкий, поэма (перев. М. Зенкевича)	3
Н. ТИХОНОВ — Ленинград, Ленинградские танки, стихи	9
ЕЛЕНА КОНОНЕНКО — Бессмертие, повесть	11
ПЕСНЯ О ЛЕНИНЕ (Сербская народная песня, перев. Н. Белинович)	25
А. ПОЛЯКОВ — Белые мамонты	28
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Стихи: Слово о матери-родине, Под солнцем Октября, Голос сына (перев. Б. Турганова)	59
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Дрофы, рассказ	61
ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — Стихи: Подвиг, Партизанская баллада (перев. М. Зенкевича).	66
И. Ф. ПОПОВ — Потерянная и возвращенная родина, роман	69
ВИКТОР ГУСЕВ — Встреча друзей, стихи	119
БОРИС СКОРБИН — Что думали вы умирая за нас, стихи	120
ИВАН АРАМИЛЕВ — Накануне, повесть	121

ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ

И. ПРОЧКО — Советская артиллерия в отечественной войне	150
С. ДУРЫЛИН — Идея и образ родины в русской литературе	162
И. НОВИЧ — «Родина» Алексея Толстого	178
С. ИВАНОВ — Америка и русское общество	179

Редколлегия: В. П. Ильенков, П. А. Павленко, Ф. И. Панферов, И. В. Шамориков,
С. П. Щипачев, М. М. Юнович (отв. секретарь).

Адрес редакции: Москва, ул. 25 Октября, д. 10/2. Тел. КЗ-44-22

А 61248. Подписано к печати 24/VI—7/VII 1942 г. — 11¹/₄ печ. л. — 18
Тираж 25 тыс. экз. В печ. листе 64 320 экз. Цена 10 руб.

Типография «Известий». Москва, Пл. Пушкина, д. 5.

Даниил Галицкий

(Б и т в а)

В 1235 году князь Даниил Галицкий разбил на Воляни, под городом Дрогичинюм, войско немецких рыцарей-меченосцев.

I

Свод краткий летописи, как завет,
Звучит над ветхой пылью сотен лет.

Под пеплом лет горят огнем слова,
Их правда и теперь еще жива.

В то время пруссов всех забрав
в полон,
На них пятою наступил тевтон,

И башнями поднялись к вышине
Твердыни меченосцев на Двине.

Пришел закованный в броню
злодей —
Поработить свободных всех людей.

На двинские крутые берега
Печатью смерти встала их нога.

Увидел над собой латыш и эст
На белом их плаще кровавый крест.

Для хищника, прикрытого плащом,
Был меч крестом, кровавый крест —
мечом.

Они путей искали на восток,
Чтоб каждый рыцарь вдоволь
грабить мог.

В гранитный Венден¹ отовсюду шли
Грабители с немецкой всей земли.

Орда купцов, разбойников, святош
Стекалась из вертепов на грабеж.

Ливонский край пустыней стал
тогда,
Оттуда дальше двинулась орда.

Грабитель устремил свой хищный
взор
В леса литовские, в лесной простор.

И зазвенели вновь мечи, громя,
Помчались кони, латами гремя.

И грянул клич: «Майн готт!
Благослови
Омыть немецкие мечи в крови!»

Литовской кровью меч свой освятя,
Бросает рыцарь на огонь дитя.

А мать кричит, упав на землю ниц
Под тяжестью железных рукавиц.

И умирает муж, пав от меча,
Одно святое слово «мечь» шепча.

И девушка бросалась на копье,
Боясь, что немцы в плен возьмут ее.

Но держит все ж литвин свой
меткий лук
И, падая, не выпустит из рук.

Не размыкая посиневших губ,
Зубами в горло немца вгрызся труп.

¹Венден — главный город меченосцев в Ливонии.

Пусть стрелами пронзили их сердца,
Они не покорились до конца.

Борись, Литва! Пройдет столетий
ряд,
А немцы все ж тебя не покорят!

И в Балтику, от крови покраснев,
Литовский Неман изливал свой гнев.

В крови детей у мёченосцев всех
Алел узором рыцарский доспех.

Пронесся ворох черноперых стрел,—
И обезлюдел край и опустел,

И только рыцарская песнь одна
Средь крика воронья была слышна:

«Германский бог! Ты слышишь речь
Тебе молящихся тевтонов?»

Рубить и жечь!
Скрижаль законов —
Немецкий бог, немецкий меч!

Рабов нам нечего беречь,
Пусть казни будут им наукой.

Рубить и жечь!
Будь нам порукой,
Немецкий бог, немецкий меч!

Разбитых пруссов онемечь,
Залей Литву волной кровавой.

Рубить и жечь!
Венчай нас славой,
Немецкий бог, немецкий меч!

Путь на восток — путь битв и сеч.
Нависнем тучей мы над Русью.

Рубить и жечь!
Тебе молюсь я,
Немецкий бог, немецкий меч!»

И копыеносный рыцарский поток
Сквозь чащи устремился на восток,

И над толпою рыцарей-бродяг
Пылал крестом кровавым мрачный
знак.

С земель ливонских рыцарская рать
Шла землю русскую конем топтать,

Чтобы славяне немцам в дань несли
Меха, и мед, и хлеб своей земли.

Мечтали рыцари: «Пойдем туда,
Где над Днепром сияют города.

На торжищах богатых у славян
Съезжаются купцы из разных
стран —

И генуэзец, и царьградский грек,
Приплывшие из моря устьем рек,

Индийский гость, и перс, и армянин,
И кочевой народ степных равнин.

Там хлеб, меха, и амбра, и шелка, —
Ведь славянин наш раб во все века!

Скорее на восток!»—И, вскачь гоня
Железом нагруженного коня,

Скакал немецкий рыцарь все лютей
По пепелищам и телам людей.

И поползла на Русь издалека
Лесных пожаров дымная река.

И дым, и гарь от выжженных
пустынь
Донес полночный ветер на Волынь.

На небе отсвет зарева не гас.
Сказал народ: «Враги идут на нас!»

И в лагерь князю весть гонец
принес,
Что над Волынью меч тевтон занес.

Но был давно князь Даниил готов
С оружием встретить вторгшихся
врагов.

Он знал, что немцев скоро
привлечет
Славянский белый хлеб и сладкий
мед.

И наготове он привык держать
Свою одетую в кольчуги рать.

Князь кликнул клич дружинникам
своим,
Соратникам отважным, боевым.

Услышав клич, узнав, что близок
враг,
Натягивает витязь свой шишак.

Испытывает лук свой боевой,
Играя тягострунной тетивой.

И, брызжа искрами, кузнец острей
Оттачивает лезвия мечей,

Чтоб кость немецкую двуострый
меч
Мог через латы и щиты рассечь.

Жена оружие мужу подает:
«Целую сталь. Иди смелей вперед.

Защита нам — оружие одно,
А если нас не защитит оно,

То лучше мертвым в смертной
битве пасть,
Чем над собой признать чужую
власть!»

Мать сыну в руки подает копье:
«Бери скорей оружие свое.

Как верный сын, оружием защищай
Родную землю, наш родимый край!»

Вплетает девушка из длинных кос
В кольчугу золотую прядь волос:

«Надежно будет золотая прядь
Недрогнувшее сердце защищать.

А если б сердцу дрогнуть вдруг
пришлось,
То поседело б золото волос!»

Из Галицких ворот отряд спешит,
В Полесский шлях бьют тысячи
копыт.

По Бугу у отвесной крутизны
Плывут с дружиной черные челны.

Труба рокочет посреди Днестра,
И говорит князь воинам: «Пора!

Не быть отчизне нашей под мечом
Кровавых крестоносцев!» И шелом

Он надевает на свое чело,
Дав знак, чтоб воинство в поход
пошло.

Вся Украина слышит шаг дружин,
С оружием спешащих в Дрогичин.

Волинский лес чащобами трущоб
Их обступает средь звериных троп.

Сечется мох копытами коня,
Маячит морок, в глубь болот маня.

То филин ухаает, то вдруг реветь
Начнет косматый зубр или медведь.

В дремучей тьме нетронутых лесов
Живет лишь смолокур и зверолов.

Но все из чащ лесных издалека
Спешат, чтоб встретить русские
войска,

И все хотят помочь хоть чем-нибудь
И в Дрогичин показывают путь.

По бужским плесам золотым вдали
Плывут широкогрудо корабли.

Идут дружинники по мураве,
По устланной ромашками траве.

Кричат, увидев князя впереди:
«На поле славы, княже, нас веди!

Пусть знает свора рыцарей-бродяг,
Как реет в сече наш победный
стяг!»

Любуется златобородый князь
На рать, что в древний Дрогичин
сошлась.

И, как разящая врагов гроза,
Сверкнули молнией его глаза:

«Гей, рыцарская свора, берегись!
Здесь витязи славянские сошлись.

Пусть наши стрелы утолят свой
пыл,
Напившись крови из немецких жил!

В лесах у нас сук не один готов
Для этих бешеных немецких исов!

Мы остановим яростный напор
Идущих на восток железных свор!»

II

Вельможный Бруно, рыцарь и монах,
Смотрел с холма, привстав
на стремежах.

Он видел дол, раскинутый вкруг,
Лесные пуши, темноводный Буг.

На круче глинистой стоял тяжел
Высокий дрогичинский частокол.

За ним скрывалось солнце. Полыхал
По небу блеск лучистых онахал.

На башнях островерхие зубцы
Темнели, как железные венцы.

Все было тихо за кольцом оград,
И Бруно вдруг откинулся назад.

Ослеп его совиный желтый взор
От света, хлынувшего на простор.

В Дрогичине, как солнечный восход,
Открылись створы тесаных ворот.

И первым вышло солнце, как один
Из воинов украинских дружин.

А войско шло за солнцем золотым,
Окутанное в лучезарный дым.

И отражала светлая река
На смертный бой идущие войска.

Шли копыеносцы, молнией струя
Блестящих длинных копий острия.

Шли меченосцы, острые мечи
Держа в руках, как яркие лучи.

Шли лучники, — колчаны их полны
Роями острых стрел, дождем войны.

Полк за полком неудержимо шел,
С холмов стекая на низину в дол,

И строился в порядок боевой
На вязкой топи, скрытой под травой.

И боевым сигналом поутру
Над войском грянула фанфара труб.

В раскате трубном грозной тучкой
Всплыла над войском светлая
хоругвь.

В кольчуге и в багряной епанче,
Держа свою десницу на мече,

Князь Даниил проехал. И кругом
Катился тысячекопытный гром.

И гром копыт и трубный грозный
Домосится до рыцарских рядов.^{зов}

Ударили сердца их в сталь кольчуг,
И Бруно мрачно посмотрел вокруг.

И так сказал он рыцарским рядам:
«Страна славянская дается вам!

Кого поймаем, — тем петля и меч!
Кто жив останется, — тех онемещ!

Вперед, германцы! Острый меч, раз!
Владыками мы будем на Руси!»

И грянули, как воронье, черны,
О топь копытом твердым скакуны,

Так, что вода плеснула из криниц
И ветви ив к воде склонились ниц.

Примяв кустарник топких луговин,
Летит закованный в железо клин.

Разбить он хочет надвое славян
И врезаться в ворота, как таран.

Несутся с криком рыцари быстрей,
О латы бьются крылья их плащей.

На шлемах их, нацелясь на врага,
Торчат зловеще буйволов рога.

Вперед направлен тяжкий копий ряд,
И арбалеты тетивой гремят.

Да вязнут на трясине скакуны,
Железом боевым нагружены,

И бьются, вырываясь из воды,
Расстраивая стройные ряды.

Проклятья, ругань, выкрики угроз
И свист внезапный из прибрежных
лоз.

Вонзилась острая стрела, звеня,
В кровавый глаз переднего коня.

Взбесившись, конь поднялся
на дыбы,
Рвут удила обвислый край губы.

О ребра ударяют зубья шпор.
Вперед! И конь летит во весь опор.

И снова свист и трепетанье стрел,
И дрогнул ратный строй и загудел.

В траве, в кустах, как ветер в поле
ржи,
Скользят славяне, стиснувши ножи.

Вот нож сверкнул, — кровь конская
густа,
Бьет из распоротого живота.

Еще несется конь, не чуя ног, —
Вдруг надаёт, и вместе с ним седок.

Вонзилось в щель немецких лат,
дрожа,
Отточенное лезвие пожа.

Так рыцарь пал с конем, и не один,
Нарушивши рядов железный клин.

Но даже павших раненых завал
Лавины яростной не задержал.

Уже дружина русских начала
Тащить баграми рыцарей с седла.

И, словно праздную кровавый пир,
Звенит металл поднявшихся секир.

И ждут ряды в молчаньи боевом,
Что грянет Дрогичинской битвы
гром.

Крик. Конский храп. Тяжелый гул
копыт.
Сталь метит в сталь. Удар копья
о щит.

Все ближе враг. Взвились знамена
ввысь.
Ряды столкнулись, сшиблись
и сошлись.

Волынец бьет по латам наугад,
И рассыпаются крепленья лат.

Черниговский сермяжный хлебороб
Копьем граненым метит немцу в лоб.

Темнеет меч булатный киевлян
От крови, хлынувшей из черных
ран.

И галичанин, бердышом взмахнув,
В немецкий шлем вонзает острый
клюв.

Щит давит щит. Костей и копий
хруст.
И голос хрипл, и запах крови густ.

За горло душат, на врага упав.
Железный скрежет. Стук глухой
булав.

Стоят над полем пыль, и дым, и чад.
Бросают немцы в бой за рядом ряд,

И пешую рассыпанную рать
Хотят они железной лавой смять.

Рассыпавшись по зарослям, кустам,
Еще сражаются то тут, то там.

И в русские червленые щиты
Немецкие мечи бьют с высоты.

Вот через поле из конца в конец
В пыли несется к городу гонец.

Ворота вновь закрылись. На стене
Смола в котлах клокочет на огне.

И женщины, проворны и ловки,
Льют варево густое в черпаки.

К стенам! И вдруг из-за прибрежных
гор,
С долин, где шумно расступился
бор,

Подняв знамена в славе боевой,
Дружина русская помчалась в бой.

И, как орел с добычею в когтях,
Парил над войском серебристый
стяг.

«За Русь! За честь!» — И Даниил
простер
Могучим взмахом тяжкий шестопер,

И валом конских крупов, крепких
тел
На немцев вихрь железный налетел,

И, дрогнув, немцы обратились
вспять, —
Пред тучей копий им не устоять.

И в шлемах головы слетают с плеч,
Решетку у забрала рубит меч.

Глядит на смерть в железное окно
Лицо тевтонское, мертво, бледно.

И хищный меч рука не подняла,
И рыцарь тяжело падает с седла.

За ним другой — так сотню раз
подряд
О землю грянул лязг пробитых лат.

Сто рыцарских бород, как знак
побед,
Торчат в траве за русским войском
вслед.

Увидел Бруно рыцарства разгром,
Надвинул шлем, взмахнул своим
мечом:

«Бесславье! Смерть! Доверюсь я
мечу,
Быть может, с поля битвы укачу».

Он шпорами окровавил коня,
Крестом кровавым вспыхнула броня.

И Бруно на скаку глядит вокруг —
Где княжеская светлая хоругвь.

Вон там, где сеча снова началась,
Кольчугой золотой сияет князь.

Мечом до князя он прорубит путь!
Коня в галопе тяжком не свернуть.

Летит копьё, разрублено мечом,
Летит рука, отсечена с плечом.

Все ближе цель. Еще один разгон —
И будет меч над князем занесен.

Вдруг кто-то выбежал из-за кустов
И под ноги коню упасть готов.

Конь вздыбился, храпит, от пены
взмок,
Как тетива, надулись жилы ног.

И лопнули подпруги на седле,
И чолжой конь склоняется к земле.

Взметнули чьи-то руки булаву,
И Бруно повалился на траву.

Он захрипел, залязгал и затих
Под тяжестью железных лат своих.

На латы победитель встал ногой,
В лаптях, в рубахе вышитой
льняной,

Соратник даниловых дружин,
Голубоглазый юный славянин:

«Здорово, немчура! Немецкий рак
В железной скорлупе небось размяк.

Лежит напуган, оглушен. Ну что ж,
Лечили мы и не таких вельмож...»

Тут подскакал князь Даниил
с людьми:

«Пса-рыцаря скорее подними!»

Гремя листьями перемятых лат,
Встал Бруно и откинулся назад —

Теперь он с князем встретился
самим:
«Что, воевода, в плен попал живым?»

Пойдешь пешком по долгому пути
И будешь кандалы свои нести.

Ведите! Сам ходить он не привык». —
И князь от Бруно отвернул свой
лик

И медленно поехал в светлой мгле
По темной, окровавленной земле.

Туман вечерний над землей густел,
Погасли молнии летучих стрел,

И отгремел громами сечи лог,
Где посрамленный враг костями лег.

«От грома битвы, — молвил войску
князь, —
Неметчина сегодня затряслась.

Путь на восток — ей путь смертей
и бед,
Таким он был и будет сотни лет!

Ведь войны у нас храбры в бою,
И каждый любит родину свою.

Утрите пот кровавый. Пусть о щит
Победный меч в последний раз
гремит!

Далеко грозным звоном сталь
и медь
Должны победу нашу прогреметь.

Оружья звон, повсюду весть неси —
Не будут немцы править на Руси!»

«Воистину!» — сказали все и сталь
Мечей своих простерли грозно
вдаль.

Январь—февраль 1942
Юго-Западный фронт

Перевел с украинского М. ЗЕНКЕВИЧ

Ленинград

Петровой волей сотворен
И светом ленинским означен,
В труды по горло погружен
Он жил — и жить не мог иначе.

Он сердцем помнил: береги
Вот эти мирные границы, —
Не раз, как волны, шли враги,
Чтоб ● гранит его разбиться,

Исчезнуть пенным вихрем брызг,
Бесследно кануть в бездне черной—
А он стоял, большой, как жизнь,
Ни с кем не схожий, неповторный!

И под немецких пушек вой
Таким, каким его мы знаем,
Он принял бой, как часовой,
Чей пост вовеки несменяем!

Ленинградские танки

С полуночной ли стоянки,
В свете ль утренней зари —
Мчатся в битву наши танки,
Красных сил поводыри.

И на них броня родная
Братской сделана рукой,
Их ведет рука стальная
В рукавице боевой.

Пусть встают огня завесы,
Дыма черного стога,
Пусть выходят из-за леса
Танки лютого врага.

Он наделал их немало,
Чтоб верней ударить в цель,
Из награбленных металлов
Из задавленных земель.

И лежат на них проклятья
Угнетенных без числа...

Что ж! Пришла пора пылать им
От советского жерла.

...На полях ли, на полянке,
Бить так бить, на то и бой,
И пылают вражьи танки,
Набок валяются толпой.

Давят, гонят их в болото
Наших гусениц ряды,
Топчут пушки и пехоту
Механической орды.

И по вражескому тылу,
По фашистским корпусам
Ночью рыть врагу могилу
Ходят танки по лесам.

Бейте ж вредную породу,
Бейте ночью, бейте днем,
Бейте гусеницей с ходу,
И тараном и огнем!

Бессмертие

Рассказ о восьми молодых советских людях, повешенных фашистами в городе Волоколамске.

По лесным дорогам, мимо заснеженных косматых елей, мимо тонких берез, звенящих ледяными подвесками, мчится небольшой грузовик. На грузовике, тесно прижавшись друг к другу, сидят несколько юношей и две девушки. Жадно смотрят они по сторонам, не пропуская ни одного куста, ни одного сугроба, ни одного заячьего следа. Щедрая красота зимней подмосковной природы, свежий воздух, который пахнет почему-то арбузом, розовый от утреннего света снег — все это полно жизни и радости. Одна из девушек, круглолицая, светлоглазая, с пухлым ртом и вздернутым носом, поднимается во весь рост и протягивает руки в заштопанных варежках, словно хочет обнять весь лес, все это ослепительное утро. Девушка задела рукой за еловую лапу, и пушистые хлопья снега посыпались на плечи друзей.

— Шурка, сумасшедшая, упадешь!

Подруга хватая Шуру за лыжные шаровары, выглядывающие из-под пальто.

— Не упаду! — весело отвечает девушка и тотчас со смехом падает, потому что грузовик подпрыгивает на бугре.

— Ты мне отдавила ногу, — говорит Виктор Ординарцев. Он так же молод, как и Шура. Нет, он еще моложе. Ему едва минуло восемнадцать. Русоголовый, вихрастый... В лице его еще много мальчишеского. Может быть, именно поэтому он так серьезен и солидно молчит всю дорогу. Он самый юный из всех и недоволен этим.

— Развозились... — говорит он Шуре, бросая на нее уничтожающий взгляд.

— Прости, Виктор. Уж очень хорошо. Я давно не была в лесу, — виновато улыбается девушка.

— Дышится славно, — говорит Пахомов, вдыхая полной грудью морозный воздух, — я тоже любитель зимней природы. Но нигде я не видел таких чистых, я бы сказал, сияющих снегов, как на вершинах гор. Эх, товарищи, если бы вы знали, какое это наслаждение — альпинистические походы. Когда придет конец этим гадам ползучим, я в ближайший свой отпуск уйду в горы...

— Возьмите тогда нас с Женькой, товарищ Пахомов, — жмуря ресницы, опущенные инеем, говорит Шура. — Поедем, Женя? Ты что притихла? Озябла? Дай-ка я тебя погрею, садись ближе.

Шура обнимает подругу. Худенькая, остролицая Женя улыбается озябшими губами. Заиндевелившие пряди темных волос, которые ветер вытащил из-под платка, кажутся седыми. Слышится жужжанье самолета. Глаза юношей и девушек поднялись к небу.

— Наш, — говорит Пахомов, — ястребок!

— Низко летит... Звезды видно, — говорит еще кто-то.

Несколько минут все молчат. Каждый думает о чем-то своем. Потом Виктор Ординарцев кричит, радостно встрепенувшись и сразу утратив всю свою солидность:

— Заяц! Ребята, заяц!

Все поднялись и, стоя на коленях, смотрят на косого, который смешно присел в снег, пошевелил ушами, по-

нюхал воздух и, перепрыгнув полянку, скрылся в кустах.

— Прямым сообщением в тыл к гапсам, — шутит Пахомов.

— Жаль, что у него нет парочки гранат!

— И еще кой-чего.

Смеются. Лейтенант, который по просьбе партизан, связанных с частью Красной Армии, должен перевести этот молодой отряд через линию фронта в тыл врага, улыбается. Ему нравятся эти дружные, бодрые, полные жизненных сил люди. Все они молоды, сильны, мороз разругивил их щеки, и зримо ощущается, как играет кровь в жилах. Пахомов, их командир, — худощавый человек в спортивном сапогах-бутцах, в осеннем драповом пальтишке, подпоясанном старым ремнем; он старше других на несколько лет, но кажется тоже комсомольцем — так быстры движения, так ненасытен и остр взгляд его глаз. Всю дорогу юноши и девушки шутят, словно отправились на лыжную вылазку. Лейтенант с удовольствием прислушивается к их свежим голосам. Иногда у него мелькает мысль:

«Достаточно ли ясно отдают они себе отчет в том, куда и зачем идут? Ведь это их первое партизанское задание. На каждом шагу их будет подстерегать опасность, а может быть, и смерть... Готовы ли они встретиться с ней лицом к лицу?»

Так думает лейтенант, поглядывая искоса на румяное, немного детское лицо Шуры, которая нравится ему больше других своей непосредственностью и веселостью. Но он ничего не спрашивает, он знает, что эти молодые люди добровольно ушли в партизаны.

Да, они ясно отдавали себе отчет во всем. Они знали, что их ждет суровая и опасная жизнь и, может быть, даже эта жизнь будет очень коротка. Они знали также, что немцы люто расправляются с партизанами. Но в те часы, когда гитлеровские бандиты разбойничали на подступах к сердцу Советского Союза, эти восемь молодых москвичей не стерпели и ушли партизанить в подмосковные леса, ушли помогать Красной Армии, ушли истреблять ненавистных захватчиков, посягнувших на их великолепную молодость.

Без колебания оставили они семьи,

друзей, любимых девушек. С нежностью и волнением взглянули на знакомые с детства улицы родного города.

— До свиданья, Москва! Я уйду тебя защищать. Я уйду защищать родину, советский народ, советскую землю, жизнь человечества... — сказал каждый из них.

Это большое счастье для человека, когда он так слит с родиной, когда так сильна в нем мысль отстоять, защитить свободу, что исчезают все помыслы о своем «я». И когда человек это счастье познает, он ощущает в себе огромные силы. Такие силы ощутили в себе все восемь. А Жене, худенькой, хрупкой студентке, Жене показалось, что она даже физически стала сильнее. В час своего расставанья с Москвой она шла вместе с Шурой по знакомым улицам, и Шура едва попевала за ней — такие большие и быстрые были ее шаги. Лицо ее светилось, и в серых глазах вспыхивали золотые точки.

— Не беги так быстро, Женька, — просила Шура, — дай наглядеться... Москва сейчас какая-то необыкновенная. И суровая, и трогательная, — правда? Может быть, когда мы вернемся, она будет уже обычной...

Шура влюбленными глазами смотрела на дома, на окна, заклеенные полосками, на витрины магазинов, заколоченные фанерой, на автомобили, покрашенные в белый цвет. Никогда Москва не казалась ей такой родной, как сейчас.

— А у нас нет шинелей, — сказала Шура, глядя на встречных девушек в шинелях и красноармейских ушанках, лихо сидевших на их пышных коротких волосах.

— Это все равно, — отозвалась Женька, и по горячему голосу чувствовалось, что вся она поет. Она ускорила шаг.

— Куда теперь? — спросила Шура.

— На Красную площадь. Хорошо? Пройдем через Красную площадь, и — все!

Они смотрели на седые знакомые елки, на мавзолей, на Спасскую башню, на стены Кремля.

— До свиданья, Красная площадь, — глухим от волнения голосом прошептала Женька, — а может быть, и... прощай! Начинается.

— Ты про что? — спросила Шура.

— Про нас, про себя, Шура... Начи-
нается то, о чем я мечтала всю жизнь,
давно. Я ведь тебе рассказывала о
маме, об отце... Они были в молодос-
ти на гражданской войне... Когда я
слушала маму, меня невольно охваты-
вала зависть, что все это прошло мимо
меня, что я родилась слишком поздно.
А с другой стороны, мне иногда как-
то было стыдно перед мамой, перед
ними — они всего этого добились для
нас, а мы только пользуемся... И вот
теперь, теперь мы тоже пошли... Те-
перь я вернусь и взгляну другими гла-
зами на свою мать, на всех, кто драл-
ся за Октябрь, за советскую власть,
за нашу юность... Я протяну им руку
как равная. Вот мавзолей... Там —
Ленин. Я не могу это объяснить тебе...
Вот—Кремль... Там—Сталин. Знает ли
он, что мы тут с тобой стоим, что мы
уходим туда... Чувствует ли он это,
Шура?

— Я только сейчас об этом дума-
ла, Женька. Честное комсомольс-
кое! — обрадованно воскликнула
Шура. — Кончится война... будет, как
всегда, первомайский физкультурный
парад... мы пройдем через Красную
площадь. Будет чертовски здорово,
Женька. Сталин стоит и машет рукой.
Я прохожу и мысленно говорю ему:
я тоже защищала Москву! Чертовски
здорово будет... Женька, родная, если
ты не очень замерзла, сбегает еще к
Манежу... мне хочется взглянуть...
Помнишь, мы там отплясывали в
прошлом году? Вот здорово было...
Вся площадь прямо под звездами тап-
цовала вальс... Женька, ты что?
Женька, ты плачешь?

Женя смотрела куда-то поверх зуб-
чатых кремлевских стен. Глаза ее были
полны слез и восторга.

Она улыбнулась и покачала головой.

— Нет... Это так. Как я рада,
Шурка. Я просто счастлива. Я иду
туда, как... на праздник... Нет ни
страха, ничего... Пусть будет холодно,
пусть по пояс в снегу... пусть меня
ранят, убьют... лишь бы сделать все
так, как надо!.. Лишь бы задавить,
отомстить...

Несколько секунд девушки, прижав-
шись друг к другу, смотрели еще на
любимые очертания Красной площади.

В эти же часы прощались с городом
и остальные шестеро. Константин Па-
хомов, Павел Кирьяков, Витя Орди-
нарцев, Коля Галочкин и Николай

Каган уходили с одного завода —
«Серп и молот».

Пахомов тепло и весело смотрел на
знакомые корпуса. Здесь он вырос.
Безусым юнцом переступил порог ста-
лепроволочного цеха, по вечерам кор-
пел над арифметикой в заводском
техникуме. Казалось, это было вчера.
Завод, как отец, взял его за руку и
повел вперед. Жажда знаний и дея-
тельности. Этому всему научил его
завод. Вечерний металлургический ин-
ститут. Вот он, Костя Пахомов, стал
конструктором, зовут его уже не Ко-
стей, а Константином Федоровичем.
Старые рабочие радуются и говорят:—
Наш птенец!

Восторг самопожертвования охватил
его сердце. Вот такое же чувство на-
хлынуло на него, когда загорелся
рабочий барак, подожженный фашист-
ской бомбой. Это было в первые дни
налетов немецких стервятников на
Москву. Пахомов бросился в пламя.
Оно опалило его волосы, ресницы,
обожгло ему руки. А когда пожар был
потушен и его благодарили рабочие,
женщины, дети, он стоял смущенный,
дул на обожженные пальцы и расте-
рянно улыбался.

Благодарными глазами оглядывал
Пахомов родные цеха. На душе было
светло от решения уйти в партизаны,
до последнего дыхания своего бить,
бить эту фашистскую свору, бить му-
чителей, насильников. Как он их
ненавидел!..

С этой же мыслью уходили и
остальные. Комсомольцы — конструктор
Николай Галочкин и крановщик
фасонно-литейного цеха Павел Кирья-
ков — уже давно записались в баталь-
он истребителей танков. Павел Кирья-
ков, запевала стахановской работы в
цехе, «выдающийся крановщик», как
говорили о нем на заводе, был пре-
восходным снайпером. Он и на фронте
успел побывать во время войны с
белофиннами. Он был коренастый, ши-
рокоплечий, спокойный и скупой на
слова.

— Лишнего в мешки не берите, —
деловито говорил он товарищам.

— У меня все как полагается, —
порывисто и вместе с тем солидно от-
вечал Виктор Ординарцев. — Скорей
бы, товарищи... Время не ждет.

Он, этот юмый слесарь, недавно
окончив школу фабрично-заводского
ученичества, торопил свой час. Совсем

недавно он стал комсомольцем, прибежал из цеха в комитет и сказал:

— Пойду бить фашистов комсомольцем!

Сейчас он рвался в тыл к врагу с горячим нетерпением весенней юности, скрывал это нетерпение, чтобы его не заподозрили в ребяческой жажде подвигов, но скрыть был не в силах. Щеки его пылали, как на выпускном экзамене, глаза искрились гордым и озорным блеском.

— Я два компаса беру... один запасной, на всякий случай, — говорил Виктор. Запасной компас остался у него еще от пионерских лет.

С девушками — студентками Московского художественного училища имени М. И. Калинина — Шурой Лувкиной-Грибковой и Женей Полтавской и с Иваном Маленковым, слесарем завода «Москабель», комсомольцы «Серпа и молота» познакомились недавно. Виктор Ординарцев, узнав, что едут две девушки, сначала был недоволен и даже словно обижен, — девочки, мол, а тоже идут в партизаны... Но, узнав, что Женя — комсорг и отлично работала на строительстве укреплений, а Шура, одна из самых боевых комсомолок художественного училища, бросила в дни войны рисунки, вышивки и ушла работать на фабрику, — Виктор успокоился. Слесарь Иван Маленков сразу расположил к себе товарищей. Ему было девятнадцать лет. Карие глаза его смотрели правдиво, сурово, и было что-то удивительно чистое в его очень юном, но строгом лице.

«Я готов», — говорили эти глаза.

...Грузовик, подпрыгивая на буграх и ухабах, мчит вперед по снежным лесным дорогам. Все восемь полулежат рядом на соломе.

— Товарищи, — говорит Виктор Ординарцев, — скоро ведь Октябрьский праздник... Где и как мы будем его встречать?

— Я только сейчас об этом подумал, Витя, — отзывается Пахомов.

— Если этот праздник придется встречать в лесу, в землянке... это запомнится на всю жизнь, — шепчет Шура. — да, Женька?..

— Еще бы, — тихо отвечает Женя, и глаза ее остро блестят, — лишь бы только сделать все, как надо. Я ни о чем больше не думаю, Шура, и ничего больше не хочу. У меня сейчас такое

состояние, Шура, — все внутри напряжено, натянуто, как струна...

Шура крепко сжимает озябшие пальцы подруги.

— Вы что там шепчетесь, девушки? — весело спрашивает Пахомов.

— Просто так, — улыбается Шура.

А через несколько секунд так же тихо, вполголоса о чем-то перешептываются юноши то в одном углу грузовика, то в другом.

— Вы там о чем? Вы что там? — переключаются они и отвечают:

— Да так просто...

О чем они говорят, о чем думают эти восемь молодых людей? Все об одном. Все о том же. О том, как они посчитаются с фашистами, отомстят им за все мучения, за кровь советских людей, о том, как они будут уничтожать немецкие штабы, взрывать немецкие танки, цистерны, дороги, машины...

Иногда они едут молча, поеживаясь от мороза и какой-то внутренней дрожи. Лейтенант, поглядывая на по-серьезневшие лица, угадывает их волнение. Это волнение юности, которая в первый раз идет в бой, и серьезность решимости, и гордость.

«Славные ребята», — думает лейтенант.

* * *

Лейтенант перевел молодой партизанский отряд через линию фронта. Ночь ясная, лунная. Снег переливается тысячами изумрудных огоньков. Идут цепочкой. Идут в глубоком молчании.

— Ну, теперь мы прощаемся, — говорит лейтенант. Все восемь останавливаются. Все восемь не могут скрыть своего изумления.

— Как? Уже? — спрашивает Шура и широко открытыми глазами смотрит вокруг. Все те же пушистые ели, все те же кружевные березки... Все кругом такое знакомое, свое. Да, конечно, свое, родное, — и эти ели, и эти березки, эта покрытая снегом земля — все это свое, русское, советское, наше. И только ворвалась сюда жадная волчья стая, впилась кровавыми когтями в нашу землю. Отодрать эти черные когти, выгнать, убить.

— Спасибо, товарищ командир! — говорит Пахомов.

— Спасибо, товарищ!

Все восемь горячо, крепко жмут руку лейтенанту.

— Не за что, — отвечает лейтенант, — вам спасибо, что помогаете Красной Армии... Значит, все ясно, товарищи? Куда итти — знаете? Счастливы вам... Желаю успеха. Счастливы, товарищи!

Восемь молодых людей гуськом идут по тропе. Лейтенант смотрит им вслед. Шура обернулась и помахала ему рукой в заштопанной варежке. Улыбка осветила ее круглое милое лицо.

* * *

Война полна превратностей. Пробираясь к штабу фашистских войск, молодые партизаны попали на кладбище около Волоколамска в засаду.

— Сдавайтесь! Русские, сдавайтесь! — угрожающе кричат фашисты. Их много. Они хотят взять партизан живыми. Они их окружают.

Какая-то доля секунды, и Пахомов принимает решение. Со всех сторон на него, на товарищей лезут фашистские морды. Глаза Пахомова встречаются с глазами остальных семи.

«Пахомов, что делать? Пахомов, я буду стрелять. Не сдаваться же так! Бежать некуда... Я стреляю. Пахомов!» — кричат эти глаза.

Пахомов не успевает ответить. Он стреляет одновременно со всеми товарищами. Немцы отстреливаются. Перебегая от укрытия к укрытию, комсомольцы меткими выстрелами косят немецких автоматчиков. Павел Кирьяков, один из лучших снайперов завода, снимает их одного за другим. Не отстает и Пахомов. Витя Ординарцев бесстрашно бросается на фашистов и стреляет прямо в упор. Бой длится долго. Немцы не могут одолеть горстку смельчаков. Слышен шум мотора... Это подходит подкрепление. Пахомов бросается вперед и снова спускает курок. Но выстрела нет. Сердце его холодеет. «Патронов больше нет», — молнией проносится в голове. И вдруг он чувствует острую боль в животе. В ту же секунду чьи-то руки хватают его за плечи, револьвер летит в снег. Удар в затылок бросает Пахомова в сугроб. «Не может быть!» — хочет он крикнуть, но темная яма проглатывает его.

Когда Пахомов открывает глаза, он

видит себя и своих друзей окруженными немецкими солдатами.

— Партизаны? — визгливо кричит маленький немецкий офицер. Он вертится и прыгает вокруг Пахомова, как шелудивая собачонка. Должно быть, и обезоруженный, раненый Пахомов ему страшен.

— Партизаны? — продолжает тоненько он визжать и вдруг хохочет, закинув круглую головку. Он прикинул, должно быть, сколько дадут ему за каждую партизанскую голову, за восемь партизанских голов...

— Айн, цвай, драй, фир, фюнф... — считает по пальцам маленький офицер. Он заливается идиотским тоненьким смехом и приплясывает вокруг Пахомова, то приближаясь к нему, то отскакивая.

— Партизаны?

Пахомов угрюмо молчит. Он смотрит на поросычье личико гитлеровца, он ничего не ощущает — ни боли от раны, ни страха... Отчаяние сковало все его тело, почти остановило сердце. Отчаяние, что не успел выполнить то, ради чего они, восемь, сюда пришли. Хочется закричать, растерзать самого себя на клочки. Пахомов скрипит зубами. Стон вырывается из его почерневших губ.

— Партизаны? — взвизгивает офицер. Теперь он кружится вокруг Павла Кирьякова. Лицо Павла кажется каменным. Твердо сжаты губы. И только под широкими скулами ходят желваки.

Тишина. Женя и Шура стоят рядом, не глядя друг на друга.

* * *

Волоколамск. В небольшом, песочного цвета, домике № 32 по Новой Солдатской улице офицеры играют на пианино фокстрот.

— «Ах, майне либе Амалия...» — напевает маленький офицер, откидывая круглую розовую головку. Другие офицеры раскладывают пасьянс.

— «Ах, майне либе Амалия...» — поет маленький офицер.

Вошедший солдат докладывает о том, что привели пленных. Офицеры поднимаются. Маленький офицер хлопывает крышку пианино.

...Пахомов, Кирьяков, Витя Ординарцев, Иван Маленков, Галочкин, Каган

Шура и Женя стоят перед крыльцом, окруженные двумя десятками фашистов. Им не разрешили стать рядом; они стоят на некотором расстоянии...

Как хочется всем товарищам сказать сейчас что-нибудь друг другу, каждый ищет у другого поддержки...

Каждый думает:

«Что сейчас будет? Допрос? пытки? Смерть? Я все вынесу, все. Меня советская власть воспитала... Уж если так случилось... Я ничего не скажу и ничего не боюсь. Не услышите от меня, проклятые, ни слова. Смерть! Неужели... смерть? Да, смерть. Они убьют меня. Они убьют нас всех. Но уж если смерть, так умереть так, как наши герои».

Мысль работает лихорадочно.

«Товарищи!.. Ребята! — говорят глаза, устремленные на лица друзей. — Ничего! Товарищи! Держитесь... Товарищи... только бы выдержать... Я выдержу. Самое страшное — что мы не успели сделать то, зачем шли. Но ведь мы хотели. Я хотел, хотел это... Я шел, не думая о своей жизни... Мерзавцы! Победа все равно за нами. Мы все вместе... Не падать духом, все за одного — один за всех. Я спокоен. Ты спокоен?»

«Я спокоен, — отвечают глаза, — я спокоен, спокоен, спокоен. Ты видишь, я тут, рядом с тобой. Я ненавижу фашистских бандитов так же, как и ты. Я ненавижу их. Я спокоен».

«А девчата?» — вдруг тревожно спрашивают глаза.

«Девчата... Я тоже сейчас думал о них. Мы — мужчины... Нам — лучше. Сволочи! Как бы они что-нибудь не сделали с девчатами. Женя... Шура... Шурка совсем девчонка...»

Глаза шестерых смотрят на девушек. спрашивают, говорят:

«Девчата! Мы с вами. Выше голову, девчата! Родные наши! Товарищи наши!»

Женя, худенькая, остролицая, с посившими от холода губами, задумчиво смотрит куда-то поверх волоколамских крыш. Лицо ее серьезно и осунулось за эти несколько часов. Шура, веселоглазая, звонкая Шура, исподлобья, как волчонок, поглядывает на двух здоровенных фашистов, которые ее стерегут. Ветер играет полами ее вишневого пальто и парусом раздувает клетчатую синюю юбку. Обе девушки почувствовали и поняли

взгляды друзей. Женя ласково улыбается краешком губ.

«Не беспокойтесь. Все в порядке», — говорит безмолвно Женя.

«Обо мне-то уж вам нечего думать. Я ведь комсомолка», — сверкают горячей обидой детские глаза Шуры. Она задорно встряхивает головой в сером подшлемнике и энергично постукивает одной ногой о другую.

«Девчата крепко держатся», — облегченно думает Пахомов и переводит взгляд на Виктора Ординарцева, на самого молодого из всех. Нахмурив светлые брови, Витя потемневшими от гнева глазами смотрит на немецкую стражу, губы его презрительно кривятся, пальцы рук то сжимаются, то разжимаются... Пахомову кажется, что Витя не вытерпит и даст по морде немцу.

«Виктор, спокойно. Виктор, не горячись», — просят глаза Пахомова. Ординарцев сердито отвернулся.

Пахомов бледен. Рана, полученная при перестрелке, горит. Он чувствует, как под бельем по ногам течет что-то липкое и горячее. Ему трудно и больно стоять. Он опускается в снег.

Из дома вышли офицер и переводчик. Они подходят к Пахомову.

— Почему лежите? — вежливо спрашивает переводчик.

— Я нездоров, — сухо отвечает Пахомов. И встает, пересиливая боль. Ему не хочется, чтобы враги видели его страдания. Еще больше не хочется ему тревожить товарищей. Он был таким всегда, Пахомов; в трудные альпинистические походы, когда он летом уходил с молодыми рабочими в горы, он отдавал последний глоток воды товарищу или нес на своей спине поклажу того, кто терял силы, и никто тогда не думал, что его тоже мучила жажда, что у него тоже подкашивались ноги...

Он встает... Но на снегу осталось алое пятнышко — это натекла кровь из раны. Пятнышко увидела Шура и тихо вскрикнула.

— Хотите курить? — спрашивает офицер через переводчика и тротыгирует папиросы.

Пахомов думает: «Обхаживают, мерзавцы... не выйдет!»

Но курить ему хочется мучительно. Он берет папиросу, жадно затягивается и, не докурив, швыряет в сугроб. Медленно ползут минуты.

В дом прошли два генерала. Они не взглянули на пленных. За ними, подострастно улыбаясь, спешат офицер и переводчик.

«Кажется, сейчас начнется. Скорей бы», — думают пленники.

* * *

Первым зовут на допрос Пахомова. Он выпрямился, посмотрел на товарищей. Семь пар глаз ищут его взгляд. Глаза Пахомова тепло усмеваются. Как благодарны друзья за эту спокойную, ласковую усмешку.

...В комнате расположились немецкие генералы и офицеры. Переводчик шуршит бумагой. Он приготовился записывать. Его глубокие быстрые глазки то смотрят на Пахомова, то перебегают на лица начальников. Он шевелит подстриженными усиками.

«Крыса, — с отвращением думает Пахомов, — настоящая крыса». И вдруг исчезает всякий страх. Мозг работает удивительно четко, ясно. С холодной злобой и некоторым любопытством глядит Пахомов на людишек в германских мундирах, которые копошатся у стола. Моложавый генерал голубыми, на выкате, коровьими глазами смотрит на Пахомова. И что-то цедит сквозь зубы.

— Садитесь, — говорит переводчик.

Пахомов садится. Его лицо неподвижно. Спрашивают фамилию, имя, год рождения. Он отвечает равнодушно. Вопросы кажутся ему глупыми и скучными.

— Цели вашего появления у нас в тылу нам ясны, — говорит через переводчика генерал с коровьими глазами. — Отвечайте: кто вам дал задание, кто послал вас к нам в тыл?

Лицо Пахомова оживает.

«Кто послал? — восклицает он мысленно. — Весь советский народ, родина, все честные на земле, я сам, я сам себя послал, чтобы вас задуть!».

Пахомов молчит. Только глаза его сверкают жестким огоньком.

— Отвечайте же, — спрашивает снова генерал, — семь человек, которые взяты в плен вместе с вами... кто они? Комсомольцы? Вы знаете их? Назовите их имена. Кто вас послал? С кем вы связаны?

Пахомов молчит, он почти не слушает, он задумчиво смотрит в разрисованное морозными узорами окно.

Почему-то его охватывают горечь и обида, — зачем он не вступил до сих пор в ряды коммунистической партии большевиков. Все время думал, желал этого страстно и так и не успел...

«Не успел. Какая жалость, — думает Пахомов, — а ведь хотел, давно хотел. Приняли бы или нет?»

«Приняли, — радостно отвечает он самому себе. — Большевик. Какое крепкое слово... Обидно, честное слово. Приняли бы, честное слово приняли... И работал бы, доказал бы... Хотя что же? — говорит он сам себе. — Сталин сказал: непартийные большевики...»

Он облегченно вздыхает. И оттого, что он вспомнил об этом, ему вдруг становится хорошо, бодро, он ощущает прилив сил, он не смотрит больше в окно, поворачивается так резко, что под ним трещит скамья, и глядит прямо в голубые коровьи глаза генерала.

— Мы ждем, — раздраженно говорит другой генерал, высокий, жилистый, с сединой на висках, — ваше молчание принесет вам неприятности.

Пахомов с гордой усмешкой смотрит на высокого генерала, на его короткие жесткие усики. «Неужели тебе непонятно, скотина, что я ничего не скажу», — говорит его взгляд.

— Вас ждут большие неприятности! — взвизгивает вдруг маленький круглый офицерик, и поросычье личико его багровеет.

Пахомов сверху вниз смотрит на офицерика.

«Неприятности?! Да какие же вы можете мне причинить неприятности? Самая большая неприятность, что я не прострелил твою свинячью голову... Не успел как следует насолить вам... Какие же неприятности вы можете теперь мне причинить? Вы — жалкие, тупоголовые людишки, ничтожество, насекомые... Самое большее, что вы можете сделать, — убить меня. Ну, а дальше?»

Тяжелое молчание висит в доме. Генералы, офицеры отводят глаза от спокойного, светлого и чуть насмешливого лица Пахомова.

— Увести, — бормочет высокий, жилистый немец. Пахомова уводят на улицу. На скамье — красное мокрое пятно. Снова кровь натекла из раны.

— Стереть, — приказывает офицер. Солдат вытирает кровь.

Второй допрашивают Женю. Она входит быстрыми, порывистыми шагами. На бледном лице выступил лихорадочный румянец. Серые глаза полыхают огнем. Раздуваются ноздри тонкого красивого носа. Достаточно взглянуть на лицо Жени, чтобы понять — эта девушка ничего не скажет.

— Студентка.

— Двадцать один год.

— Из Москвы, — дерзко, отрывисто отвечает Женя. Она задыхается от ненависти к немцам, которые разглядывают ее скользкими лягушечьими глазами. Губы ее пересохли. Она протягивает руку к графину с водой.

— Вы хотите пить? — оживленно спрашивает офицер и наливает ей полный стакан воды. Немцы словно обрадовались: девушка хочет пить, девушка волнуется...

— Мы вас просим сказать нам правду, мы вам советуем, — многозначительно говорит генерал с коровьими глазами, делая ударение на слове «советуем», — вы и ваши друзья — комсомольцы? Кто вас послал? Ваша группа была связана с частью Красной Армии?

Женя молчит.

— Вы будете с нами разговаривать или нет?

— Мне с вами разговаривать не о чем, — почти грубо отвечает Женя.

Высокий жилистый генерал нервными шагами прохаживается по комнате. Он недоволен допросом. Листки бумаги, над которыми склонился переводчик, почти пусты.

— Я вам рекомендую ответить, — говорит он, останавливаясь около Жени, — иначе вам будет очень плохо.

— Я ничего не боюсь, — гордо отвечает девушка, — и повторяю: разговаривать мне с вами не о чем.

— Ваших друзей, с которыми вы вместе были... кто вас направил сюда? Мы спрашиваем вас в последний раз... Где находится воинская часть, с которой связаны партизаны? Мы спрашиваем в третий и последний раз — иначе вас ждет смертный приговор!.. Вы понимаете это или нет?

Женя вскакивает со стула.

— Я понимаю это и отвечаю в третий и последний раз: мне с вами разговаривать не о чем...

— Увести, — сердито приказывает высокий жилистый генерал.

Третьей входит Шура. Входит и останавливается в дверях, продолжая постукивать замерзшими ногами. Ее круглое румяное лицо в сером подшлемнике, завитки светлых волос и пушистые ресницы, еще серебряные от инея, задорные глаза, синее платье в зеленую и красную клетку — все это так наивно и юно. Офицеры переглянулись. Первый вопрос, который задал Шуре коровокий генерал, был:

— Сколько вам лет?

— Девятнадцатый! — звонко отвечает Шура. Все, что произошло, не в силах погасить жизнерадостность, присущую ее свежему голосу, не в силах стереть нежный румянец, который играет под кожей.

— У вас есть родители? — спрашивает генерал, стараясь, чтобы его голос звучал мягче.

— Мама, — отвечает Шура, тускнея и съеживаясь.

— Вашей матери будет очень приятно увидеть вас, — сахарно улыбаясь, говорит генерал. Шура выпрямляет плечи. «Идиот! Гадина... Продажная тварь, — пронесится в разгоряченном мозгу. — Ей будет еще приятнее знать, что я не трусиха и не изменница...»

— Я вам все равно ничего не скажу! — страстно выпаливает Шура.

— О, какая горячая девушка, — смеется высокий жилистый генерал и садится близко от Шуры, — вы же не знаете, о чем мы будем вас спрашивать, а уж отказываетесь отвечать. Уверю вас, на те вопросы, которые мы вам предложим, ответить очень легко. Ваша подруга уже ответила на эти вопросы...

Шура вздрагивает. «Врешь, проклятый, — думает она оскорбленно, — так Женька тебе и скажет... На пушку хочешь взять... Фашистская рожал!»

— Кто вас послал?

— Я ничего не знаю.

— Вы говорите, что вы — студентка... Зачем вы очутились вместе с мужчинами на фронте?

— Я медсестра.

— У русских девушек, которые работают медицинскими сестрами, на руках повязки с красными крестами, а у вас нет такой повязки. Почему? — спрашивает офицерик с поросычьим личиком и, торжествуя, оглядывает всех, чрезвычайно довольный своим вопросом.

— Это не обязательно! Дело не в

повязке, — звонко отвечает Шура, тряхнув головой. «Только бы не засыпать, — беспокойно думает она, и сердце ее учащенно бьется, — лучше всего молчать...»

— Да, разумеется, дело не в повязке, — мягко говорит жилистый генерал, — вот вы нам и расскажите все, что знаете. Вы очень молодая девушка, у вас впереди большая жизнь, в ваших интересах нам все рассказать. У ваших друзей было взрывчатое вещество?

— Не знаю, — сердито отвечает Шура. Румянец залил ее щеки и шею. Генерал приказывает обыскать Шуру. Солдаты срывают с нее вишневое пальто. Шура горящими глазами следит за их движениями.

«В пальто... в пальто зашито... они найдут», — с отчаяньем думает она.

Да, они нашли. Шура глаза, генерал подносит к лицу девушки маленькую коробочку.

— А что это?

Шура молчит.

— Я спрашиваю вас — что это? — злобно спрашивает генерал.

— А вы не видите, что ли? — вдруг громко, почти насмешливо восклицает Шура. Она криво улыбается.

Несколько секунд все молчат. Потом высокий генерал — он, повидимому, был начальником и руководил допросом — подходит к девушке и спрашивает в упор, с злым изумлением, которое он не может скрыть:

— Да вы боитесь чего-нибудь в жизни?

— Чего именно? — спрашивает Шура, глядя прямо в глаза генерала своими ясными глазами.

— Ну, хотя бы смерти, от которой вы сейчас на волоске? — говорит генерал, подергивая жилистой шеей.

— Я не хочу умирать, — страстно восклицает Шура, и в голосе ее дрожит прозрачная печаль, — я хочу жить!.. Мне бы хотелось жить долго, чертовски долго... Но если суждено умереть за советскую родину... пусть! Раз так случилось — я умру!

Они растерялись на секунду, эти тупые скоты, давно утратившие все человеческое. Раскрыл рот офицерик. Дернул шеей жилистый генерал. Вытаращил свои голубые коровьи глаза другой генерал. Опустил голову над пустыми бумагами переводчик.

— Я умру! — твердо повторяет де-

вушка своим звонким, сочным голосом, полным жажды жизни.

— Увести, увести, — взвизгивает кто-то из гитлеровцев. — Эта комсомолка действует на нервы... Они ничего не боятся, они не боятся смерти!..

— О сталин югенд... — с досадой цедит сквозь стиснутые зубы высокий жилистый генерал, — русская молодежь!

Перед ним стоит следующий пленник. Это Виктор Ординарцев. Глаза юноши смотрят из-под сдвинутых бровей так грозно, обличительно, брезгливо, словно не его будут допрашивать и приговаривать к смерти, а он сейчас подпишет приговор своим судьям.

— Ваша фамилия? Фамилия, фамилия... — нетерпеливо кричит генерал. Он взбешен. Он уже понял, что и от этого ничего не добьешься.

* * *

Первым на крыльцо дома выходит ефрейтор. Он закуривает сигарету и подходит к хозяйке дома, которую выгнали на улицу, пока шел допрос.

— Рус капут, — говорит он со смехом и проводит рукой по шее. Он хочет сказать, что русских повесят. Женщина отшатывается, сжимает руки.

Вслед за ефрейтором выходят вспотевшие генералы, офицеры, переводчик. Пленники стоят шеренгой, разделенные солдатами. Офицерик с поросчатой головкой дает знак. Солдаты подталкивают и окружают пленных. Пахомов, мертвенно бледный, истекающий кровью, не в силах больше молчать.

— Товарищи!.. — вскрикивает он, обращаясь к друзьям. Солдат ударяет Пахомова прикладом по лицу. Но долго звенит еще в ушах пленников страстный клич: «Товарищи!..» И слышится в этом слове: «Друзья, комсомольцы, сейчас нас убьют. Встретим смерть с высоко поднятой головой. Умрем гордыми. Ни одной слезы. Ни одного слова о пощаде. Умрем большевиками. Это все, что мы теперь можем сделать для родины».

Их ведут вдоль шоссе по снежной тропе. Сейчас им разрешили идти вместе. Они идут локоть к локтю, небольшой дружной ватагой — так, как идут часто комсомольцы, возвращаясь с собрания.

Много надо сказать друг другу. Но все молчат. Все погрузились в себя.

думы. Наступил какой-то очень важный момент. Наступил конец жизни... Все молчат. И только снег скрипит под ногами.

Шуру пугает эта тишина. Она никогда не была одна, никогда не любила и не умела думать о себе. И хоть часто она правдиво, искренне, от всего своего чистого сердца говорила: «умру за родину», она никогда не думала о смерти и не верила в то, что умрет.

Шуре жутко и странно. День такой обыкновенный, морозный. Выглянуло розовое солнце и осветило крыши маленьких волоколамских домов.

— Солнышко,—обрадованно шепчет Шура, касаясь руки подруги, — Женька, солнышко...

Женя не отвечает. Она не слышит. Она вся ушла в себя.

— Женька, — трепетно зовет Шура, прижимаясь к ней плечом. — Женька, скажи что-нибудь. Куда они нас ведут?

Женя не отвечает. Лицо ее светится, как тогда на Красной площади... Глаза стали огромными, и в них вспыхивают ярко золотые искры. На тонких озябших губах трепещет улыбка. Женя на опасную партизанскую работу шла, как на праздник. И сейчас идет она, не думая о смерти и не ощущая ее приближения. Душа ее полна какой-то бурной решимости, и она не глядит по сторонам, не слушает никого, боясь расплескать драгоценное чувство, согревающее сейчас все ее хрупкое маленькое тело. Этот предсмертный час породнил Женю с самыми великими людьми, отдавшими свои сердца и жизни за коммунизм, за счастье человечества. Они протягивают ей руки, как равной, они благословляют ее, как родное дитя. Перед ней прекрасное лицо Карла Маркса — живые, смеющиеся глаза, гордая львиная голова. Ей улыбается дружески Ленин, на нее смотрит светлыми, прозрачными глазами Феликс Дзержинский... Почему-то проносится перед ней строгое лицо Степана Халтурина — вот такое, каким она его видела в книжке, только живое... И еще вдруг видит Женя чье-то лицо, удивительно знакомое, близкое, простое. Кто же это? — Да это я, матрос Железняк, Женя!.. Какая ты молодчага, Женя, — слышит она молодой голос. — Да, она у меня молодец, я так

и думал, что она без колебаний сумеет отдать жизнь за советскую власть, — говорит вдруг другой голос, бесконечно знакомый. «Отец!» — обжигает мозг радостная мысль, и она видит чудесное лицо своего покойного отца, участника боев за великий Октябрь...

— Мне только обидно, мне только обидно, отец, что я так мало сделала... Но я хотела, поверь мне, я хотела... я стояла на Красной площади тогда... прощалась с Москвой, и все уже было решено: буду биться с этой фашистской чумой до последнего вздоха... Я поклялась тогда мысленно в этом Сталину... Мы стояли с Шуркой, и я говорила: чувствует ли он, что мы стоим тут, у кремлевских стен, и разговариваем с ним? И вот как получилось нелепо... Стыдно даже умирать, отец... Ты понимаешь меня?

— Я понимаю тебя, Женя, но ты не стыдись и не мучайся. Самое главное — ты хотела отдать все свои силы занашу родину, за дело Ленина. Я это знаю, Женя, я слышал твою клятву, — вдруг отвечает голос отца. Нет, это другой голос... это голос Сталина! Это — чеканный, твердый и вместе с тем простой, теплый, проникающий в душу голос Сталина... Вот такой, каким его слушала Женя по радио. — Значит, вы всё знаете, значит, вы всё слышали, товарищ Сталин? — в радостном волнении спрашивает Женя.

— Да, я знаю, — отвечает родной голос, — и ты иди спокойно, смело. Это — не смерть, Женя. Это — бессмертие. Они не могут ничего с тобой сделать. Не могут. Ты будешь жить. А мы уничтожим их. Мы истребим их.

— Мы истребим их! — вслух повторяет страстно Женя и вдруг словно пробуждается от какого-то удивительного сновидения и видит рядом с собой круглое, детское испуганное лицо Шуры, слышит ее жалобный голос:

— Что ты сказала, Женька? Я не слышала, что ты сказала. Тебе страшно, Женичка?

— Нет, Шура... Не думай об этом, Шура.

— А мне страшно, Женичка, — виновато шепчет Шура и снова прижимается всем телом к подруге, — не то что страшно, а как-то удивительно. Неужели меня не будет? Женичка...

Мы погибнем... Но нас не забудут, правда? Скажи мне что-нибудь, Женя.

— Конечно, Шура... Нас не забудут!

— Мне, знаешь... мне только обидно, что мы не успели им как следует наподдать...

— Другие сделают за нас, Шура. Победа все равно за нами. Мы истребим их, Шура!

— Да! — облегченно восклицает Шура и крепче прижимается к подруге. — Как хорошо, что мы вместе. Я тебя очень люблю. Ты все понимаешь, и с тобой всегда так хорошо, спокойно... И еще, знаешь... еще хотелось бы мне пожить... ну немножечко, хоть бы один день! Женька, ты не думай, пожалуйста, что я трушу. Нет. Мне просто хотелось бы немного пожить... Женичка! Поправь мне шлем. Он сползает на глаза. Вот так... Я сейчас посмотрю на эту сволочь немецкую нарочно с таким видом... Пусть не думают, собаки!

И Шура встряхивает задорно головой и шагает с таким воинственным видом и так вдруг лукаво и весело поблескивают ее глаза, словно она проходит по улице Горького в шеренге студентов, которые идут на стрелковые занятия.

— Какая ты хорошая, Шурка! Я тебя тоже очень люблю, — растроганно шепчет Женя, и вдруг ее охватывает чувство огромной, почти материнской нежности к подруге, и ей становится совестно, что она ушла в свои думы и забыла о ней, простой, веселой Шурке, в эти минуты.

— Я тебя люблю. А сейчас как-то особенно. Ты мне сейчас самая близкая. Мы сейчас сестры родные, — шепчет горячо Женя, — хочешь я тебя обниму? Ладно? И пойдем так. Девочка моя...

Женя обнимает Шуру, как младшую сестру. Шура улыбается ей благодарно своими пухлыми губами. Девушки идут в ногу, обнявшись. И поглядывает на них искоса с тупым удивлением огромный немецкий солдат, шагающий рядом.

Пахомов и все остальные идут молча. У Пахомова лицо сосредоточенное и беспокойное, словно он решает и не может решить какую-то трудную задачу. А решить ее надо, обязательно надо... Боевое поручение осталось невыполненным. Это его терзает. Он — старший из восьми. Все ли он сделал,

что можно было сделать в те страшные и нелепые секунды, когда отряд попал в засаду?

«Все, — отвечает он самому себе. — Что мы могли сделать еще? Скрыться? Бежать? Это было невозможно. Этих сволочей было в десятки раз больше, они окружили, лезли со всех сторон... Мы приняли бой, мы дрались. Мы больше ничего не могли сделать. Не могли!»

И вдруг снова охватывает мучительная тревога: что скажут товарищи... там, в Москве? Не подумают ли они, что он струсил? Узнают ли о том, что он, Пахомов, и все остальные семь дрались до последней пули в обойме?.. Как они узнают? Хоть бы узнали, хоть бы узнали... Только бы узнали, что они все, восемь, достойно встретили смерть... Не услышали фашистские мерзавцы того, чего им так хотелось услышать. Ох, как им хотелось этого! Генерал с длинной шеей не мог спокойно сидеть от досады, — бегал по избе... А этот офицерик со свинячьей мордочкой вертелся, как на горячей сковороде. Сволочи! Вот они идут... Сволочи! Идут по русскому городу, как по своему... Мерзавцы... Все равно вас отсюда вышибут. Вышибут, вышибут! Сдохнете, сволочи!

И хочется крикнуть это Пахомову громко, на всю улицу, на весь пустынный, словно вымерший Волоколамск. Из стиснутых зубов вырывается стон.

— Костя, — тихо говорит Павел Кирьяков, — тебе тяжело итти? Ранен ты... видел я. Обопришь о мое плечо.

— Не надо, Паша. Дойду. Спасибо, дружище.

— Костя, — говорит Кирьяков, — я, кажется, там, на кладбище, кое-кого из них уложил?..

— Ты хорошо дрался, Паша... Ты у нас всегда метко бил... Не кое-кого, — ты многих уложил, Паша!

Павел Кирьяков усмехается.

И снова идут молча. Мысли пестрые и горячие, как в бреду. Из окошка дома выглядывает испуганное детское личико. И больно вдруг жалит Пахомова горячая мысль о дочке Люське. Личико спряталось. Потом Пахомов видит на дороге хромоногую галку. Вытянув вперед черную головку, она смешно скачет вбок. И почему-то вспоминается какая-то далекая галка, тоже хромоногая, тоже скачущая вбок. Ее подшиб он, Костя, мальчик Костя,

из рогадки, а потом пожалел и бинтовал ей перебитую лапу. «Вздор... Галка какая-то... Вздор... При чем тут галка... решительно ни при чем, решительно ни при чем...» И вдруг мысли гаснут. Несколько секунд Пахомов идет бездумно, словно спит на ходу и не видит никаких снов. Даже веки полузакрыты. Потом вздрагивает, точно кто-то ударил его кулаком в спину, и просыпается.

«Скоро ли? — мелькает отчетливо мысль, — и как именно? Расстрел? Виселица? Они обычно вешают партизан...»

И в сердце заползает холодок страха. Он душит эту змейку, наступает сапогом ей на скользкую голову.

«Ну, товарищ Пахомов. Ты что, товарищ Пахомов? Ты не дури, брат».

«Все в порядке. Все в порядке», — отвечает он самому себе, прибавляет шаг и морщится от невыносимой боли, которую причиняет ему рана.

«Мокро все... Прилипают. Надо бы перевязать, — думает он, — да теперь не к чему... Что — ребята? Ребята, ребята... эх, какие хорошие ребята». Пахомов больше не думает о себе, переводит взгляд с одного товарища на другого, и ему становится легче. Никто не опустил голову.

«Один Виктор чего стоит, — с любовью думает Пахомов, глядя на лыляющее лицо Ординарцева, — ишь ты, как он вышагивает сейчас... Кровь с молоком! Витька, дружище, молодец!»

Витя Ординарцев идет крупным твердым шагом. Снег так и хрустит под его молодыми сильными ногами. Вот ему попала на пути немецкая консервная жестянка, и он отшвыривает ее носком сапога, как футбольный мяч. Биография у Вити короткая, как и его жизнь. Он весь в настоящем. Отшвыривает со звоном консервную банку и думает, что больше ни разу не сыграет в футбол. А он — страстный футболист. И с ненавистью смотрит на гитлеровца, к ногам которого покатила жестянка.

Потом как-то сами собой приходят мысли об отце. «Тяжело ему будет, — думает Витя, и сердце его заливают жалость и любовь к отцу. — Ну, ничего. Ну, ничего. На заводе успокоят». Отец Вити, Василий Ординарцев, тоже работает на «Серпе и молоте».

«Ну, ничего, — просто и быстро ре-

шает своим дрогнувшим сердцем эту мысль Витя, не знаящий, что такое сын и что значит потерять сына. — Зато тебе не придется краснеть за меня, отец. Ведь я — комсомолец!»

Комсомол... И вдруг бурная гордость охватывает Витю Ординарцева. Он — комсомолец!

Когда Виктор совсем недавно принес заявление о приеме в ряды комсомола, он потом жалел, что не сумел написать так, как бы ему хотелось. И на собрании не сказал того, что хотел. Тут бы надо произнести настоящие слова, передать все, что на душе, сказать о родине, о Ленине, о Сталине, поклясться молодежи, что не зря доверят они ему право носить комсомольский билет. Но говорить все это было трудно, неловко...

«Но теперь они узнают, — думает радостно Витя Ординарцев. — Как пусто, — набегают вдруг новая мысль, — все люди спрятались от этих гадов. Никого нет. Никто даже не видит сейчас нас. Хоть бы один человек встретился... Только немецкие рожи».

И Вите мучительно хочется увидеть хоть одного советского человека; он жадно смотрит по сторонам, оглядывается назад. И вдруг обрадованно шепчет:

— Ребята...

За пленниками, за немецкими солдатами робко бегут дети... Девочки, мальчики. Их немного. Они сбились в кучку, как ягнята. Глаза Вити встречаются с глазами девочки, полными слез.

«Пионерка, наверное, — тепло думает Витя, — ей жалко нас. Не плачь, дурочка. Пионеры не плачут. Ты видишь, как я иду. Плюю на них. Все равно наши придут и выгонят немцев... Тогда ты снова наденешь красный галстук...»

«Красный галстук. У меня тоже был красный галстук. Эх, и звено же у нас было боевое!»

Витя улыбается детям. Дети улыбаются тоже сквозь слезы и опускают глаза. «Здорово, грачи! Не вешать носов, грачи», — думает Витя, разговаривая мысленно с ребятами.

— Товарищ Пахомов! Посмотрите назад... Ребята наши идут. Вот грачи, — шепчет радостно Витя. Пахомов рассеянно отвечает, думая о чем-то своем:

— Ничего, Виктор, ничего, дружище.

И Витю снова начинает грызть обидная тревога — не подумал ли Пахомов и другие, что он трусит. Он смотрит на широкие плечи Павла Кирьякова и шагает почти в ногу с ним.

Так они идут, все восемь, поглощенные своими последними думами, и хоть каждый по-своему готовится к смерти, все страстно хотят одного: до конца быть сильными.

Витя первый увидел виселицу. Вздрагивает. На секунду по-мальчишески пригибает шею, как это было в недавнем детстве, когда кто-нибудь из приятелей замахивался, чтобы дать ему тумака. И снова гордо поднимает вихрастую светлую голову.

Один конец перекладины прибит к телеграфному столбу, другой к березам. Березы белые и холодные, как на зимнем кладбище. Ветер покачивает веревки.

«Восемь, — считает Витя, и дрожь пробегает по молодому, горячему телу, — для нас...»

Отворачивается.

Виселицу увидели все одновременно. Шура прильнула к Жене и цепко сжала ее пальцы.

«Виселица, — думает Пахомов и тоже отводит глаза от этой ужасной перекладины, — значит так! Повесят, сволочи. Еще несколько шагов...»

Но офицерик с пороссячьей физиономией, который ведет пленников, неожиданно сворачивает с шоссе налево, в сторону от виселицы.

«Что же это? Куда это он!?» — проносится в мозгу у каждого, и все замирают в смертельной тоске. Пахомов видит длинный ров, зияющий, как черная пасть, среди снега. Около рва стоят немецкие автоматчики. Восемь автоматчиков.

«Расстрел! — мелькает мысль. — Сейчас расстреляют, гады! Гады...»

Солдаты подводят пленников ко рву и толкают прикладами в спины — хотят поставить в ряд. Пахомов вспыхивает. Пахомов отталкивает немца, твердыми шагами подходит к товарищам, протягивает им руки.

— Ребята, — восклицает он, волнуясь и не скрывая больше своего волнения, — ребята, попрощаемся. Товарищи, прощайте.

— Прощай, Костя!

— Костя, прощай, прощай!

— Прощай, Коля... дружище!

— Витя, дорогой!

— Прощай, Пахомыч!

— Вавел! Павлик...

— Ваня! Прощай, милый!..

— Девчата, дорогие... Шура! Женя!

— Прощайте, товарищ Пахомов.

— Николай... Коля!

— Ребята... родные! Товарищи!

— Ребята! Комсомольцы! Ничего...

Держитесь... Победа за нами! Ни слова. Выше голову. Пусть фашистская сволочь посмотрит, как умеют умирать комсомольцы.

Они порывисто обнимают друг друга, крепко, горячо жмут руки. Пахомов и Галочкин целуются трижды. Ваня Маленков и Витя Ординарцев, почти однолетки, — одному девятнадцать, а другому восемнадцать, — обнялись, как братья. Женя целует Шуру в щеки, в губы, в глаза.

— Женичка... мы вместе... Женичка! Я тебя никогда не забуду, — как во сне шепчет Шура.

Грубыми пинками разлучают фашисты товарищей. Офицер с пороссячьей физиономией отталкивает Женю, ласкающую Шуру.

— Подлец! Будьте вы прокляты! — кричит Женя и плюет в розовое лицо офицера.

— Женя!.. Женя... Товарищи, остановитесь... Мы все вместе... Мы все рядом, — говорит Пахомов.

Восемь автоматчиков заняли свое места сзади пленников.

Каких-нибудь десять шагов отделяют дула автоматов от молодых людей.

Пахомов резко поворачивается, лицо его светлеет. Громко и страстно восклицает Пахомов:

— Да здравствует советская родина! Да здравствует Сталин!

— Да здравствует Сталин! — гремят на всю Солдатскую площадь молодые голоса. Офицер злобно взвизгивает и машет рукой.

Семь человек падают. В Пахомова пуля не попала.

— Не страдайте за нас, родные, бейте фашистов, жгите их, проклятых! Не бойтесь, надейтесь, — Красная Армия еще придет, — торжествующе кричит во весь голос Пахомов. Глаза его ищут лица родных советских людей.

Выстрел. Пахомов падает. Но вот он, обливаясь кровью, поднимается на колени и снова восклицает:

— Да здравствует советская родина! Да здравствует Красная Армия!

Приподнимаются, собрав последние силы, и остальные.

— Да здравствует Сталин! — слышится звонкий голос Шуры, и на секунду показывается из ямы ее окровавленное лицо.

— Смерть немецким палачам!

Снова гремят выстрелы. Немецкие автоматчики подбегают к самому краю рва и начинают в упор расстреливать комсомольцев.

— Да здравствует Сталин!

— ...Родина...

— ...Сталин...

— ...Прощайте, — доносятся приглушенные возгласы. Юноши и девушки уже лежат в канаве, обливаясь кровью.

— ...Ма-ма! — вспыхивает и гаснет детский голос Шуры, в которую, нагнувшись над рвом, в третий раз стреляет немецкий убийца. И все стихает.

Немцы вытаскивают на снег бездыханные, но еще трепещущие тела. Снег краснеет.

Генерал с жилистой шеей поспешно что-то приказывает. Солдаты хватают комсомольцев за волосы, за руки, за ноги и волокут по снегу к виселице. Пахомов, Женя и Каган еще дышат...

Генерал кивает головой. Палачи поднимают безжизненные, залитые кровью тела комсомольцев. Но Пахомов, Женя и Каган все еще дышат... Они еще живы, когда солдаты накидывают им на шею веревки.

Их повесили рядом. Пахомова, потом Шуру, потом Женю, потом Витю Ординарцева и всех остальных.

Из облаков выходит румяное морозное солнце и освещает седые березы, ветлы, багряную стéжку, которая тянется от рва к виселице, искаженные страданием лица восьми повешенных. Пузырится кровавая пена в углах жениных губ.

Кто-то из ребятишек, свидетелей зверской казни, только сейчас, повидимому, понял, что произошло. Детский крик прорезает морозный воздух, тишину, нависшую над маленьким городом. Дети бегут от виселицы прочь, прочь. Они испуганно машут руками, словно хотят отогнать от себя страшный призрак смерти.

* * *

К виселице немцы-фашисты приближаются дощечку:

«Так будет со всеми, кто встает на нашем пути».

Пятьдесят дней висят, качаясь на веревках, обледенелые трупы восьми повешенных. Пятьдесят дней не снимают их немецкие изверги с виселицы, желая утратить жутким зрелищем волоколамских жителей.

И сняты эти трупы женщинам, детям, застывшим в маленьких волоколамских домиках. Просыпаются по ночам дети, прислушиваются к свисту ветра в трубе, вздрагивают, шепчут матерям, горько плача:

— Мам... они... висят... Мне страшно, мама. Мне жалко их... Мам! Красноармейцы придут? Когда они придут, мама?

— Придут, сынок... Тихо, сынок. Не плачь, сынок. А то немцы убьют нас, — умоляют матери, глотая слезы. А самим хочется выть от горя, от тоски, от страха и злобы — вот просто так подняться и завывать на весь дом, где храпят вповалку нажравшиеся, пьяные немцы.

* * *

На рассвете седого декабрьского дня танкисты-гвардейцы части генерал-майора Катукора ворвались в Волоколамск.

Бегут бешеные фашистские звери, бегут... Еще недавно офицерик с поросычьей физиономией, который вел восемь пленников на казнь, хвастливо хохотал, закидывая розовую головку:

— Калинин — капут, Клин — капут, Волоколамск — капут, Москва — скоро капут, вся Русь — капут...

В это утро офицерик с поросычьей физиономией накиннул на себя френч, надел старухины валенки на босые ноги и побегал. По дороге от страха угодил в мелкую, прорубь и поднял страшнейший визг. Сбежались люди. Офицерик с поросычьей мордочкой сидел без штанов в ледяной луже и визжал:

— Германия — капут! Гитлер — капут! Ах, Гитлер — капут. Капут.

Люди вытащили немца. Он был в одной рубашке, дрыгал голыми ножками, запрокидывал головку и все визжал и плакал:

— Ах, капут, капут.

Товарищи родные! Пахомов, Павел Кирьяков, Витя, Женя, Шура, все восемь... как бы хотелось, чтобы вы услышали шум наших танков, входя-

щих в Волоколамск, и трусливые всхлипывания немца, который вел вас на виселицу.

— Плачь, сволочь, — сказали люди и обмакнули в ледяную лужу офицера вместе с его поганой пороссячьей головкой.

...Танкисты входят в город. Еще пылают волоколамские дома. Еще дымится четырехэтажное здание, в котором немецко-фашистские злодеи сожгли живыми пленных и раненых красноармейцев.

Первый же танк увидел на Солдатской площади страшную виселицу и гневно остановился. За ним другой, третий, четвертый...

Молодые танкисты выходят из танков. Вот они обнажили головы. Вот они подходят близко, близко к виселице, где качаются на ветру бездыханные тела Кости Пахомова, Павла Кирьякова, Вити Ординарцева, Вани Маленкова, Коли Галочкина, всех остальных.

Танкисты рубят веревки, бережно снимают тела.

— Родные наши... Товарищи, — с болью и нежностью говорит молодой командир и прикрывает плащом обледенелые ноги Шуры так ласково, как брат укутывает младшую сестренку, которая озябла. Потом он поворачивает лицо к бойцам, потемневшее от гнева лица.

— Бойцы! Красноармейцы! Отомстим сволочи немецкой... Отомстим душегубам!

— Отомстим! — звучат, как клич, молодые, полные страсти, злобы и силы голоса.

...В городском волоколамском саду, у памятника Ленину, покоятся в широкой братской могиле восемь его внуков. Восемь юных, крепких, полных сил и жажды жизни бойцов. Восемь верных сынов и дочерей советской родины, кровь от крови ее, плоть от

плоти ее. Не было для них ничего дороже родимой советской земли. Все они мечтали о светлом будущем человечества и посвятили грядущему свои молодые жизни.

Солнце озаряет могилу. Люди стоят у этой могилы, скорбно склонив головы. Тут такие же юноши, как Витя Ординарцев. Тут такие же девушки, как Шура и Женя. Тут — лейтенант, который перевел молодой отряд через линию фронта. Это ему в последний раз помахала рукой в заштопанной варежке и улыбнулась своей милой улыбкой Шура, когда они, восемь, уходили гуськом в лес... Товарищи, когда подумаешь о том, что это была последняя улыбка восемнадцатилетней девушки, которой так сильно хотелось жить, кровь стынет в жилах, злоба к фашистской мрази железным кольцом сжимает горло. К возмездию, к возмездию зовет эта братская могила, к бесстрашию, к непримиримой борьбе!

Будь ты проклята, черная фашистская гадина, мешающая жить, дышать всему светлому и разумному на земле. Мы ненавидим тебя. Мы ненавидим тебя и поэтому мы победим.

Друзья! Пахомов... Каган... Кирьяков... Витя Ординарцев... Ваня Маленков... Коля Галочкин... Шура... Женя... все юноши и девушки, погибшие в борьбе за советский народ, за счастье человека, вы отдали родине, советскому народу, ленинской партии, комсомолу все, чем владели, — юность, дерзания, любовь, надежды, жизнь. Вы встретили гибель с высоко поднятой головой; не уступив врагу, вы сумели гордо умереть. Друзья! Это — не смерть. Это — бессмертие! Вы приобрели самое великое и прекрасное, что есть в природе, — бессмертие. Память о вас будет жить в веках. Чистые, благородные, горячие сердца ваши будут биться в сердцах потомков.

Мы не прощаемся с вами, друзья!

Песня о Ленине

Сербская народная песня

I

То не елки зашумели,
То не ветры зашуршали,
То не белые сугробы
Буйнокрылые метели
На планины наметают;

Это ленинское слово
По горам корявым мчится,
Над сугробом пролетает,
Обгоняет резвый ветер,
Буйнокрылые метели.

Это ленинское слово
Застучало в нашу дверцу,
В наше сердце застучало.
С нами ленинское слово
И Владимир Ленин с нами...

Говорят, Владимир Ленин
На горах Балканских не был,
Не охотился в ущельях,
Рокотания не слышал
Белопенного Ядрана.

Я не верю в это, братья,
Я не верю в это, сестры, —
Жил, живет Владимир Ленин
На вершине Голубиной,
У реки Моравы синей.

Зимней ночью к нам охотник
Постучался незнакомый,
У горячего огня
Сел на пышную солому
И сказал моим семейным:

«Черноусые юнаки,
Белолицые молодки,
Я пришел к вам издалека,
Я войною опаленный,
Я зову вас на подмогу!

Топчут пашни Украины,
Дедов древние курганы
Рыжеглазые бродяги,
Злые немцы-басурманы,
Что стократ терзали сербов.

Реки кровью закипели,
Города горят кострами,
Хата каждая разбита,
На полях сгорело жито,
И народ звенит цепями!».

И мои сыны вскочили,
Ятаганы взяли в руки.
Во дворе заржали кони,
Закричали громко внуки:
«Смерть тевтонам, смерть тевтонам,
Угнетателям проклятым!»

И невестки-сербянки,
Белолицые молодки,
Стали класть поспешно в сумы
И лепешки и рубахи, —
Собирать мужей на битву.

И жена моя сказала:
«Ой, охотник незнакомый,
Вот уже седьмой десяток
Я живу на белом свете
В тесном доме под горою,

А ни разу не видала,
Гостя умного такого —
Бел твой лоб, как снег нагорный.
Глаз ты свой прищурил темный,
Вижу — ты Владимир Ленин.

За тобой итти на битву
Я сынов благословляю,
Внуков я благословляю
Помогать славянам-братьям,
Гнать тевтона-вурдалака.

Вижу вещими глазами,
Что свободна будет снова
Золотая Украина,
Снова ветер тополиный
Над полянами помчится.

Только ты скажи, охотник,
Гость любезный, незнакомый,
Правда ль ты Владимир Ленин?»
Но на это не ответил
Ты, охотник — гость полночный.

Черноусые юнаки,
Сыновья мои и внуки
На коней вскочили резвых,
В город Киев поскакали
Гнать проклятых вурдалаков.
Знаю — ленинское слово
Их вперед вело на битву.

II

Говорят, Владимир Ленин
На горах Балканских не был,
Не охотился в ущельях,
Рокотания не слышал
Белспенного Ядрана.

Ой, неправда это, братья,
Ой, неправда это, сестры, —
Жил, живет Владимир Ленин
На планине Голубиной,
У реки Моравы синей.

Ой, над Сербией холмистой
Злое горе пролетело:
В сельский край пришли фашисты,
Чужеземные громилы, —
Стала Сербия могилой.

Растоптали виноградник,
Дом спалили злые немцы,
Дочкам выкодили очи,
Ночью выгнали из дома
Малых правнуков и внуков.

Загудел апрельский ветер
И бездомно и уныло,
Я пошел с семьей в ущелье,
А со мной слепые дочки
И жена моя старуха.

На вершине Голубиной
Есть глубокая пещера, —
Путь не знают к той пещере
Окаянные тевтоны,
Рыжеусые громилы.

Я вошел в пещеру эту,
А за мной жена-старуха,
И за ней слепые дочки
Шли, протягивая руки,
Внуки шли за ними тихо.

Едруп я вижу, что в пещере
Яркий свет костра блистает
И сидит охотник смелый,
И чело белее снега
Пламя ярко озаряет.

Глаз прищур его печален,
Крепко-крепко сжаты губы,

Будто думает о чем-то
Очень важном и великом
Тот охотник незнакомый.

И жена моя старуха
Вдруг охотнику сказала:
«Я тебя узнала сразу,
Хоть давненько не видались,
Не встречались мы с тобою.

Помню, ты позвал когда-то
Сыновей моих отважных
На защиту Украины,
Золотой, раздольной пашни,
Свежей ветки тополиной.

Сыновья пошли на битву,
Помогли славянам-братьям,
А потом они вернулись
Во тесовый дом отцовский,
Но тебя не забывали.

Помню, ленинское слово
К нам стучалось часто в дверку
И входило прямо в сердце —
Это ленинское слово,
Дорогое и простое.

А теперь мой дом разрушен,
Сыновья в глухой темнице,
С ними старшие из внуков,
А меньшие, те со мною
И сюда пришли в пещеру.

Ой, охотник незнакомый,
Научи меня скорее,
Как за родину сражаться,
Как скорей столкнуть в могилу
Чужеземного громилу?»

И охотник незнакомый
Помешал костер веселый,
И хвостом взметнулись искры,
Полетели над углями
Золотыми волосками.

Подал нам сухих лепешек
И поджарил свежей дичи,
Дочерям глаза слепые
Он промыл настоем пряным,
А потом жене ответил:

«Ой, седая сербиянка,
Я узнал тебя, родная,
И сынов твоих упрямых
Тоже помню, тоже знаю,
Никогда не забываю.

Но бездомными остались —
Ты, старик, и ты, старуха,
С вами маленькие внуки,

Бродят дочери слепые,
Простирая тщетно руки.

А в пещерах крепнут четы,
Бьют тевтонов окаянных,
В четах бьются даже дети,
Ходят ночью на разведку,
Зорко смотрят за фашистом.

А старухи варят ужин
И ручьев водой студеной
Злые раны обмывают
Гордым сербам, смелым сербам,
Партизанам-побратимам.

Я сведу вас на рассвете
На планину Лукавицу,
Где таится по ущельям
Неуёмная дружина.
Чета, чета огневая».

Тут я встал и сжал ладони
И охотнику промолвил:
«Пусть в разведку ходят внуки,
Пусть жена готовит ужин
Нашим смелым партизанам, —
Я хочу с тевтоном биться.

Знаю, кудри поседела,
Провела нужда морщины,
Только левы я сгибаю
Да чеканные дукаты,
Словно белую бумагу.

Хоть я стар, но хватит силы
В чете доблестной сражаться
И тевтонам-лиходеям

Вырыть в Сербии могилу,
Злую черную могилу».

И охотник улыбнулся,
И кивнул мне головою,
И, глаза свои прищурив,
Золотистые, как солнце,
Он промолвил мне негромко:

«Каждый в чете может биться.
Вижу, ты достойный воин,
Будешь крепко бить германца
На планинах и в ущельях.

Юрши, юрши на фашистов,
Дорогие побратимы!
Знаю я — близка победа
Над тевтоном окаянным,
Над фашистом-людоедом».

Так сказал охотник смелый
У костра в горах высоких,
Поздним вечером апрельским,
В час тревожный и печальный,
В год нашествия тевтонов.

В это время дочь слепая
Встала, протянула руки
И охотника спросила:
«Я тебя сейчас узнала,
Хоть не вижу больше света.
Знаю — ты зовешься Ленин!»

Но охотник незнакомый
Ничего ей не ответил.

Перевела с сербского Н. БЕЛЕНОВИЧ

Белые мамонты

1. КИРОВЦЫ

Глазом не окинешь, на коне не обскочишь за день этот раскинувшийся на несколько километров завод-гигант. Над десятками труб развеваются длинные, черные и белые, гривы дыма. В раннее сизое утро, с обычным здешним 30—40-градусным морозом, жарко дышит завод. Слышен гулкий металлический рокот.

Люди на заводе работают день и ночь. Они не знают усталости, отказались от выходных дней, от праздников, потому что они не просто работают, а воюют, как и вся наша страна.

— Разве сынки-то наши на позициях с выходными воюют? — сказал один из старых рабочих завода.

На базе одного из уральских заводов, в глубоком тылу нашей страны, развернулся эвакуированный из Ленинграда завод старых путиловцев — Кировский завод. Часть рабочих осталась и сейчас защищает родной Ленинград, а несколько тысяч были посажены на самолеты и быстро доставлены сюда.

Кировцы прибыли на Урал делать танки — самые мощные машины, бронированные подвижные крепости.

— Кировцы приехали, — заговорил тогда о них весь Урал.

А через несколько дней от Свердловска до Магнитки рабочие и руководители предприятий почувствовали, что значит работать по-кировски во время отечественной войны.

Фронту надо дать танков столько, сколько он требует, — таков был лозунг страны.

Под этим лозунгом и началось го-

ршее пролетарское содружество ленинградцев с уральцами. Напрягли свои мощные силы Магнитка. Заводы начали быстрее плавить чугун, варить сталь, отковывать броневые плиты.

Война не ждет, война требует оружия, машин и прежде всего самолетов и танков. Кировцы под бомбежками в Ленинграде делали танки и выпускали их с заводского двора прямо на фронт.

— А вам кто мешает? — сурово спросил рабочих-уральцев в первый же день своего приезда директор Кировского завода т. Зальцман — Герой социалистического труда.

Цех сборки и сдачи — самый грандиозный из новых цехов на заводе. Под его высоченные своды заходят целые железнодорожные составы с заготовками, движутся по карнизам мощные краны, а другие с поднятыми хоботами бегают по цеху.

В воздухе, плавно покачиваясь, передвигаются в разных направлениях многоэтажные остовы будущих танков, башни, орудия, моторы. Все свиривается, клепается, монтируется, проверяется, — рождается танк. Последний раз подхватит его, как маленького ребенка, могучий заводской кран, подержит в воздухе, пока девушки-малыarki покрывают его белоснежной краской.

Начальником цеха сдачи работает старый путиловец, коммунист Алексей Семенович Волков. Небольшого роста, сухощавый, с закопченным продолговатым лицом, с беспокойными и ясными серыми глазами. Уже во время отечественной войны он награжден правительством за отличное выполне-

ние важных военных заказов орденом Ленина, а до этого он имел орден Трудового Красного Знамени и медаль «За трудовую доблесть». Одиннадцать лет Алексей Семенович собирает танки. Он первый собрал и выпустил мощную советскую машину KB — Клим Ворошилов.

Зимой 1939 года танки KB, выпущенные кировцами, отправились бить белфиннов. Выехал на фронт со своей бригадой и Алексей Семенович Волков. Рабочие бригады действовали на линии огня, как бойцы: механики-водители Игнатьев, Ковш и Ляшко водили танки в бой. Моторист Истратов и сам Волков на ходу ремонтировали боевые машины.

Эта фронтная пятерка и сейчас работает вместе с Волковым. Игнатьев и Истратов — старшие мастера, Ляшко и Ковш — бригадиры. Все награждены орденами Советского Союза. Истратов — трижды орденосец.

Тщательно, «с рабочей придишкой» — по выражению самого Волкова — подходят здесь люди к своей работе и работе других. «Семь раз отмерь — один раз отрежь» — вот девиз каждого рабочего. Неверно обточенная одним рабочим деталь может свести на-нет усилия тысяч рабочих, производивших танк. Танк остановится на поле боя, погубит себя, погубит боевую операцию, — будут жертвы в рядах бойцов...

На рабочего, допустившего брак, Волков обрушился резко, даже грубовато, не без крепких слов.

— На немцев работаешь, я тебя спрашиваю?..

Молодой рабочий стоял под пронизывающим взглядом серых глаз Волкова и чуть не плакал:

— Лучше вычитите, Алексей Семенович. Сутки буду работать без оплаты, только не надо этими словами... убийными.

— Только чтобы не барахлить больше, — строго сказал Волков, отпуская парня. — Фронт ведь у нас!

Да, рабочие, инженеры, техники чувствуют себя здесь, как на фронте. Прилетов на самолетах, они высадились здесь — могучий боевой десант. Семьи оставлены. Не всякий имеет постель. Впрочем, нежиться некогда, был бы толчан да подстилочка легкая. Работать приходится по 12—16

часов в сутки. А Волков и его ближайшие соратники за несколько месяцев работы дальше своего завода и дороги никуда не знают.

...В шлифовальном цехе над одним из станков висит красный флажок «За стахановскую работу». За станком стоит круглолицая девушка в красной косынке, с кудряшками. В ушах небольшие серьги. Девушка привычными движениями управляет рычагами станка. От шлифовального круглого камня летят фонтаном искры.

Это станок Анны Мартьяновой. При норме двадцать четыре детали в день она делает сотню.

В перерыве я увиделся с Мартьяновой.

— Праздник у меня нынче, — радостно делится со мной Аня Мартьянова. — Вчера письмо от мужа с фронта получила. Три месяца ничего не было слышно.

— На радостях-то и работа, наверно, спорится?

— Да еще как, — весело улыбается Аня. — Пусть не думает он, что один только воюет. Пишет, что они знамя гвардейское получили. И мы своим цехом к концу месяца тоже думаем красное знамя заработать. Тоже гвардейцы.

Мастер Худяков со своим сыном-танкистом Василием, бригадир Мартьянова с мужем-артиллеристом Николаем друг друга не подведут, друг друга выручат. Самое главное — больше танков, больше советских «мамонтов»!

Пусть сейчас тяжело живется.

Давно не были в театре, не видели последней кинокартины. Но зато какой восторг охватывает тебя, когда, выходя с завода, встречаешь танк, идущий на испытания.

Костя Владек, двенадцатилетний ученик ремесленного училища, кропотливо, с серьезным видом и с отвисшей нижней губой, упорно нарезает как-то болтики к танкам. Он и сам не знает, в каком месте они будут поставлены.

— Ты тоже танки делаешь? — спрашиваю.

— А то как же! — гордо ответил он, вертя в руках болтик. — Вот этой штукой как треснет по фашисту, так и амба! Одно мокрое место останется...

...На заводе я встретил Татьяну Михайловну Фрунзе — дочку знаменитого полководца Красной Армии. Она — младший воентехник и работает в лаборатории завода.

— Вот, вместе с нами танки делает, кует победу фронту, — ласково сказал т. Зальцман.

Круглое лицо, подтянутая, стройная военная фигура — все это у Тани от отца, Михаила Васильевича Фрунзе. И глаза такие же — смелые, глубокие, ясные.

II. УЧЕБНЫЙ ТАНКОВЫЙ ЦЕНТР

Рядом с заводом, где делают танки, на комбинате, называемом учебным танковым центром, готовят танкистов.

Танковый центр готовит сработанные между собой подразделения и экипажи на те машины, которые выходят из ворот завода. Готова и испытана машина, а к этому времени уже готов — обучен и тщательно испытан — танковый экипаж.

За десять дней до выпуска из учебного центра и отправки на фронт экипажи очередного маршевого батальона прикрепляются к так называемым коробкам — броневым остовам своих будущих танков. Вся жизнь экипажа с этого момента протекает в этой коробке.

Вместе с бригадами рабочих танкисты занимаются оборудованием машины, внутренним и внешним: надевают катки, гусеницы, устанавливают пушки и пулеметы, мотор, трансмиссии, радиостанцию, оптику и много-много всего, что может быть перечислено только в списке на тысячу наименований.

Вскоре машина оживает, начинает рычать своим могучим мотором, моргать электрофарами, подавать робкий голос сигналом, прося людей расступиться в стороны — сейчас она пойдет...

К выходу готовилась пятерка мощных танков КВ. Это — целое подразделение, которым командует двадцатитрехлетний лейтенант Астахов, — высокий, с решительным лицом и улыбающимися вкрадчивыми глазами. Астахов уже участвовал в отечественной войне, командовал, был ранен и теперь снова готовится выехать на фронт.

С его бойцами я уже знаком несколько дней, наблюдал их кропотливую бессменную работу на сборке своих танков.

Сегодня танкисты совсем не похожи на вчерашних закопченных, промасленных мастеровых.

Они отмылись, принарядились: надели новые комбинезоны, улыбаясь вынимали из карманов белоснежные носовые платки.

Сегодня последние испытания и людям и машинам.

Завод — один из учебных «классов» танкового центра. Другой класс — артополигон, третий класс — танкодром, четвертый класс — чистое поле и лес километров на сто, где проходит тактическое учение.

Военинженер 2-го ранга Новоторцев — старейший испытатель боевых машин Кировского завода — работает сейчас старшим преподавателем танкового центра по изучению материальной части и вождению. Он неразлучен с другим старшим преподавателем — артиллеристом майором Шевазудским.

— Сегодня, Федор Петрович, на паях работаем? — сидя за завтраком, говорит он Шевазудскому.

— Так точно. Посмотрим, как ваши водители на пути к полигону в углы домов вмазывать будут, — шутливо замечает майор.

— Э-э! Нет, товарищ майор! Вот мы, очевидно, будем иметь удовольствие видеть, как начнут вмазывать в божий свет ваши артиллеристы, — парирует Новоторцев.

— Ну, уж это вы хватили. Вы будете, конечно, иметь удовольствие, но только не от «маза», а от метких попаданий по целям.

«На паях» на языке преподавателей танкистов означает — комбинированные занятия всего экипажа одновременно и по стрельбе и по вождению.

...Пятерка КВ Астахова идет на танкодром. Командуют машинами лейтенанты Чиликин, Калиничев, Ефимов, младший лейтенант Гомозов. Яркое морозное утро. Сверкающий на солнце снег режет глаза, а сорокапятиградусный мороз обжигает кожу. Но мотор бесперебойно и ритмично порождает огонь. Пушки всегда готовы дать огонь, сами люди — тоже огонь. Здесь все горит и пылает. Больше огня!

Стальные «мамонты» проходят по главной заводской улице, сотрясая здания, прессиая снег. Не задев ни за один угол, они благополучно прибыли на танкодром. Танкодром пересекло несколько оврагов, одна речушка, рощицы дубняка. Еле заметным пунктиром проглядывала из-под глубокого снега линия надолб. Командир маршевого батальона капитан Глушков вместе с тт. Новоторцевым и Шевазудским поставили перед Астаховым тактическую и огневую задачу: атаковать в лоб сильно укрепленный оборонительный рубеж «противника» и далее подавлять огнем и гусеницами его танки и артиллерию.

Танки, выйдя на исходный рубеж для атаки, рванулись вперед. Массивные надолбы хрустели под гусеницами, как кусочки сахара на крепких зубах. Не задерживались машины и на противотанковых рвах. Впереди крутой заснеженный край оврага. Вся пятерка машин, миновав фарватер оврага, бросилась на противоположный срез его, но... одна за другой стали юзом сползать обратно и буксовать на месте по мерзлому скату.

Еще несколько бросков, но безрезультатно. Атака не удалась: Новоторцев высадил экипажи из машин.

— И это называется танкисты?! На мощных танках КВ? — потрясал кулаками, возмущался он. — А вы, тоже механики, — бросил он в сторону водителей, — вы что, ишака на веревке ведете или мощный танк?

Водители, потупившись, молчали, искоса поглядывая на проклятый мерзлый край оврага. Оскандалились: думали, берег, как летом, рыхлый, доступный, а он — настоящий гранит.

— Сейчас машину поведу я сам, — объявил Новоторцев и полез в люк ближайшего к нему танка.

Машина загудела. Все стояли и смотрели. Раза два прошелся инженер на танке вдоль оврага, а затем решительно рванулся через него. На противоположном берегу танк сначала тоже забуксовал и, словно испугавшись крутизны, начал сползать обратно. Но вдруг резкий поворот вправо, затем влево, танк зигзагами стал карабкаться вверх и взял берег. Из люка, размахивая кулаками, показался инженер. Он что-то кричал, непрерывно тыча правой рукой в пройденный

путь. Вернувшись, он сказал, что покажет еще один способ атаки — с разгона.

— Вон видите, там зацепка есть — кусты, а на самом срезе дерева. Вы думали, что там в деревья воткнешься и тебя не вынесет на берег. Не цените вы еще силы своей машины.

Новоторцев повел машину на поросший кустарником берег, прямо на крутой откос, где стояло дерево. Бросок был прямолинейным и настолько стремительным и мгновенным, что я успел только заметить, как танк ударил в самые корни дерева и оно рухнуло на машину, отколов от берега громадную глыбу. Выемка оказалась как бы ступенькой для танка. По ней Новоторцев и вырвался на противоположный берег.

— Вот это славно! — восхищались танкисты.

Прошел час, и машины одна за другой послушно повторили то, что сделал танк Новоторцева.

Артиллерийская стрельба происходила уже ночью. Майор Шевазудский ворчал на Новоторцева за то, что тот затянул вождение, а теперь сам был весьма доволен. Ночная стрельба — это уже фронтовой вариант.

Стрельба проходила удачно. Метко били из пушек, пулеметов с хода и с коротких остановок. Разбили врах и развеяли по ветру фанерные мишени. Да и немудрено: четыре экипажа из пяти уже участвовали в отечественной войне.

С нами на танкодроме была и Таня Фрунзе, — она крепко дружит с танкистами. Каждый успешный маневр машины приводил ее в восхищение. А танкисты любовно посматривали на Таню, видимо, гордясь тем, что она видит их ловкость и сноровку.

...Поздно ночью вернулись к себе в батальон танкисты. Повар Ковтун совсем заждался их с горячим обедом. Комиссар батальона старший политрук Лукаш, высокий человек с насупленными бровями, вышел нам навстречу. Он сам только что вернулся с занятий другого подразделения.

Зашли в ленинскую комнату. Нащите — вырезки из газет.

— Стараемся готовить всех вот такими, — сказал Лукаш, указывая на одну из заметок.

Это была вырезка из центральной газеты. В ней описывались героические подвиги одного экипажа танка КВ: лейтенант Баканов, механик-водитель Шабалин, командир орудия Вершинин, радист Сивков, моторист Вохлов в первых же боях своим танком уничтожили семнадцать орудий противника, несколько десятков огневых точек и сотню фашистских автоматчиков и стрелков.

— Ребятки-то из нашего батальона, — с довольной улыбкой сказал комиссар.

III. БРОНЕВОЙ ЭКСПРЕСС

Знакомая нам пятерка КВ осторожно вползает на громадные платформы. Паровоз под парами. Экипажи выстроились вдоль вагонов.

Здесь же — рабочие, инженеры завода — все, кто создавал танки-гиганты и кто готовил танкистов. Директор завода Зальцман оживленно беседует с начальником танкового учебного центра Шестопаловым. Старик Худяков степенно разглаживает свои лышние усы. Вот улыбающаяся Татьяна Фрунзе, Новоторцев, Шевазудский, военпред Шпитанов...

— Машину, сделанную заводом имени Кирова, после испытания в полной боевой готовности сдал! — рапортует старший бригадир орденосец Борисов.

— Машину в полной боевой готовности принял! — отвечает командир первой машины, он же командир пятерки танков лейтенант Астахов.

Бригадир Ковш передает машину командиру танка Чиликину, бригадир-орденосец Соколов — командиру Ефимову, бригадир-орденосец Крюков — командиру Гомозову и бригадир-орденосец Ляшко — командиру Калининцеву.

С кратким напутственным словом обратился к танкистам Зальцман:

— Свою кровь и пот вкладывают рабочие наших заводов в эти замечательные машины. Отдавая их вам в руки, мы призываем вас, товарищи танкисты, тараньте, давите, расстреливайте ими ненавистных фашистов! Освобождайте наши города и села, добивайтесь полной победы нашей страны. А о чем особенно просим вас, дорогие ребята, надавайте покрепче немцам около любимого нашего горо-

да, родного города кировцев — Ленинграда!

Отвечал от имени танкистов Астахов:

— Будет все сделано, товарищи кировцы, так, как вы просите. Обещаем драться на этих машинах, не щадя ни крови, ни жизни. Будем бить фашистов по-сталински, по-кировски!

Зальцман торопливым движением устремился к Астахову, обнял его.

Бойцы прощаются с родными и знакомыми.

Астахов подошел к своей жене, скромно стоявшей поодаль. Она все это время, пока длилась торжественная передача машин танкистам, не спускала глаз с дорогого ей человека.

Лена — смуглолицая, с большими карими, по-детски наивными глазами. Из-под белого берета выбились темные локоны.

Когда муж положил ей руки на плечи, часто-часто замигали ее ресницы. Заторопилась, доставая из сумочки платок, и он упал на снег. Астахов нагнулся, а Лена поспешно спрятала мокрое лицо в высокий воротник своего пальто.

— А ну-ка, что еще такое? — нарочито громко и шуточно спросил Астахов.

Смущенно улыбнулась жена сквозь слезы.

— Будь бодрее, Леночка, — ласково сказал Астахов. — Знаешь, слезами, даже горючими, не заправишься, как говорят наши танкисты.

— По вагонам! — раздалась команда.

Эшелон тронулся. В предвечерней мгле растворяются силуэты провожающих. Перестал мелькать и платочек Лены Астаховой, и только длинные рукава черного дыма из заводских труб еще долго-долго машут нам вслед.

Вот уже проносятся мимо нас большие и малые железнодорожные станции. Не везде успеваем прочесть названия — так быстро идет поезд. Среднесуточная скорость — 1000 километров. Телеграфные столбы сливаются в одну сплошную гребенку. Мощный паровоз останавливается только на водопой. Поглотив сотню, другую километров, он запыхается, станет, хлебнет воды целый тендер, и дальше.

Танковый эшелон минует города, села, будки и полустанки, и всюду

люди провожают нас долгими взглядами надежды и благодарности.

Небольшая остановка. Бегут со всех сторон ребята и взрослые. Они догадываются, что за груз на платформах. Его никак не скроешь, это не иголка и даже не комбайн... А тут еще плакат у нас во всю вагонную дверь: танк-мамонт с хоботом вместо пушки схватил Гитлера да и скрутил в три погибели, а лапами-гусеницами давит волчью стаю. Под плакатом лозунг: «Раздавим советским мамонтом фашистских волков!» Его нарисовал красноармеец Тесля.

Мы мчимся все дальше и дальше на запад. Вокруг бескрайние, заснеженные колхозные поля. Они на горизонте сливаются с небом, и не поймешь, что же бесконечнее — небо или поле.

Наш поезд врывается в густые леса, его грохот и лязг, нарушая покой столетних дубов и заиндевевших елей, звучит, как музыка нашего стремительного движения.

Механик-водитель Георгий Константинов, широкоплечий, энергичный, только что вернулся с платформы. Там он сидел несколько часов, время от времени прогревая ее на сорокапятиградусном морозе и ветре.

— Ну, как? — спросил его командир машины Ефимов.

— Отлично работает, замерзнуть не дадим.

Водитель москвич Евгений Дормидонтов — статный и плотный русский крепыш с ласковым лицом, серыми, с хитрецей, глазами — большой балагур. Умеет расшевелить и развесялить всех вокруг себя, даже немного флегматичного и мечтательного радиста Ведищева. Любят Евгения ребята еще и за песни, которые он умеет распевать с какой-то особенной душевной теплотой.

— Жень, «Орленка»! Жень, «Сулико»!

— Сейчас, ребята. Дайте позу приятную, — укладываясь на нарах на свой вещевой мешок, отвечает Дормидонтов.

Он немного картавит на «р», как маленький, но и это всем очень нравится.

В теплушке на нарах место Евгения Дормидонтова самое крайнее, у окошечка. Он нарочно себе такое выбрал, чтобы смотреть в окно, любоваться

природой. И у него всегда находилась какая-нибудь подходящая песенка и для леса, и для поля, и для реки...

Мы теснились поближе к Дормидонтову и слушали, как высоким нежным тенором он выводил слова трогательной грузинской песни о соловье и любви. Ведищев не отрываясь смотрел на поющего. В дружеских беседах у раскаленной печки этот маленький, с девичьим лицом и медленным говором радист поведал мне, что он больше всего на свете любит деревья, сады. Всю жизнь он мечтал быть садовником, выводить, как Мичурин, новые сорта плодов. Он уже работал в совхозном саду, но грянула война, и он стал радистом.

— Вот, разобьем Гитлера, обязательно поеду туда же работать. Приезжайте. Какие ароматные яблоки вырадуешь всем вам! — протяжно сказал Ведищев.

Каждое утро и вечер в вагонах давались политические информации. Это было делом самого Астахова. Сбросив шлем и откинув рукой назад пряди русских волос, он объявлял:

— А сейчас я вам сообщу, какие дела творятся сегодня на белом свете.

Радио открывало эшелону окно в мир. Танкисты, сидевшие в бешено мчавшихся вагонах, были тесно связаны со всем белым светом.

...Чем ближе к фронту, тем шире вагонная дверь. Ни холод, ни ветер не берет одетых в ватники, обутих в валенки танкистов. Надо посмотреть, кого обгоняем, что встречаем на пути. На одной из стоянок кто-то крикнул:

— Ребята, трофейная машина!

И, несмотря на то, что больше половины танкистов бывало в боях и вражеская машина для них не видаль, все побежали к платформе с разбитым фашистским танком.

— Профессор, на кафедру! — кричал Дормидонтов, приглашая Константинова, знающего все немецкие машины, «прочитать лекцию».

Общими усилиями Константинова подбросили на платформу, и оттуда, в течение трех минут, он рассказал о качествах разбитого фашистского танка.

— Вы сами теперь видите, — показывая на десятки пробойн, с насмешкой сказал он, — какими «высокими»

качествами обладает сия машина. Это зам не КВ.

— Скорее бы уж самим до них добраться, — с нетерпением проговорил обычно спокойный Ведишев.

...Эшелон приближался к линии фронта. Позади две с лишним тысячи километров, а ехали всего около двух суток. Спасибо боевым друзьям-железнодорожникам!

Уже слышна отдаленная артиллерийская канонада. Поезд проходит последний десяток километров. Танки уже заведены. Экипажи на своих местах.

Стоп-кран затормозил колеса. В ночном полумраке, сбоку, видна полевая разгрузочная платформа. Еще несколько минут, и машины все до одной на земле.

«Мамонты» прибыли на фронт.

IV. НАУКА ФРОНТОВИКОВ

«Мамонты» незаметно вползли в одну из прифронтовых, затерявшихся в сугробах, деревень. Вместе с ними вкатились и быстро шмыгнули в промежутки между хат и заиндевевших ветел десятки танкоподобных — машины более легкого типа.

КВ поставить пока было некуда. Вселять их между домов — значит раздавить все сады и палисадники, переломать надворные постройки. Но надо было быстро укрыть машины, — наступающий рассвет обязательно принесет с собой вражескую авиацию.

Лейтенант Астахов суетился на краю деревни. Его высокую фигуру нетрудно был распознать на снежном фоне. Он был поглощен мыслью о маскировке машин.

— Это же не машины, а элеваторы какие-то, попробуй с ними найти себе место, — досадливо ворчал Астахов. — Младший лейтенант Гомозов и лейтенант Ефимов, становитесь здесь на краю деревни справа и слева.

На спуске к речке, недалеко от деревни, Астахов приметил старую баню. Место очень удобное для боевого охранения деревни. Показывая на баню, он приказал лейтенанту Чиликину:

— Рядом с ней, конечно, нельзя, она уже, очевидно, засечена с возду-

ха, как одиночка. Садись на нее — будешь баня.

Остальные две машины Астахов решил направить в небольшую еловую рощицу, что чернела в синих предутренних сумерках на задах деревни.

— Через тридцать минут, чтобы я ничего не заметил, — приказал Астахов.

...Днем прочесывали местность самолеты-разведчики противника. В одиночку и парами они прогуливались несколько раз над нашей деревней. Ничего подозрительного, видимо, не обнаружили. Дома как дома, — все в том же порядке, все курятся курчавым белым дымком... Два наших КВ, подстроившиеся с края деревни, тоже дымились: накрывшись белым брезентом, как кровлей, танкисты вывели на самый ее верх трубы обогревательных печей. Вокруг новых «хат» та же, как и по всей деревне, — заиндевевшие деревья и даже надворные постройки, «возведенные» из разного деревянного хлама.

Баня у речки тоже, как стояла на месте, так и осталась, только раздулась немножко. Танк на нее не просто сел и раздавил, нет, он развернул одну стенку, влез носом внутрь, а кругом обложился бревнами.

Про машины, что в ельнике, и говорить нечего. Они так запрятались и так обросли елками, что найти их можно было бы, только полностью уничтожив всю рощу.

Экипажи после нескольких суток езды и работы спали добрых полдня сладким сном. Бдительно охраняли деревню — весь наш броневой зимний лагерь — одни часовые да дежурные по подогреву машин.

...Еще на разгрузочной площадке нас встретил инспектор политотдела армии старший политрук Беланчевадзе. Подтянутый, энергичный, с задумчивыми глазами.

— Буду воевать вместе с вами, — сказал он нам.

С тех пор он жил с нами, как говорят здесь, «в одном котелке».

Беланчевадзе на фронте с начала войны, сам танкист. Уже на второй день он познакомился со всеми экипажами, переговорил со всеми коммунистами и комсомольцами. После этого пришел к командиру и комиссару батальона, в который входила наша пятачка КВ, и заявил:

— У вас много участников боев — это хорошо, у вас много коммунистов и комсомольцев — это тоже хорошо, но у вас мало фронтового опыта, последнего фронтового опыта — это плохо.

Такое заявление задело самолюбие нашего командира батальона, майора Максимова.

— Как же это так без опыта? Есе мы уже воевали, и даже в этой войне.

— Мало этого, — ответил Беланчевадзе, — если вы были здесь даже две недели тому назад, то вы уже отстали. Каждый новый день войны приносит новый боевой опыт, а вести войну танками это искусство, это целая наука. Но наука, как известно, тогда хороша, когда она построена на непрерывном обогащении все новым и новым материалом. Вы воевали летом, а сейчас зима. Вы воевали на одних машинах, а сейчас приехали на других. Ко всему этому прибавьте: противник давным-давно изменил тактику.

На другой день в батальон на нескольких грузовиках приехали танкисты одной части, находящейся на фронте с начала войны.

— Вот вам, пожалуйста, принимайте гостей, — сказал, вылезая из кабины, улыбающийся Беланчевадзе.

Гостям устроили теплый прием, пригласили всех в большую хату, презнамкились.

Старший среди гостей, майор Сегеда — командир танкового батальона. Живой, разговорчивый, с веселым украинским лицом, лукавыми глазами. Даже когда он сердится, насупив брови, то и тогда он выглядит веселым. Длинный, непослушный чуб его все время падает на глаза и на нос, прикрывая и мрачные морщины на лбу и сурово сдвинутые брови.

Голос у Сегеды немного хриповатый. Вот хрипотой этой майор очень недоволен. Когда он пускается в разговор, то старается помочь голосу всякими другими звуками — прищелкиванием языком, щелчком пальцев, ударом кулака по столу, только бы убедить собеседников. Увлечшись описанием какого-нибудь эпизода, разумеется из действий танков, Сегеда вдруг вскакивает с места, делает всем своим громадным корпусом какой-то танковый разворот, пригибается, прицеливается и кулаком по столу или

рукавицей по голенищу... открывает «огонь» по воображаемой цели.

Так красочно и живо Сегеда описывал нам танковую атаку, в которой ему пришлось выполнять роль и командира танка и механика-водителя.

— ...Крепкая была драка, — рассказывал Сегеда. — Механик-водитель был ранен в руку, и мне пришлось самому сесть на его место. В девятый раз бросалась наша машина на укреплении немцев. За день боя мы уничтожили более сотни немецких солдат, раздавили две пушки, взорвали до десятка блиндажей.

Пошли мы в девятую атаку. Перепуганные фрицы и гансы уже бегали по всему полю. Но среди них были группы истребителей танков. С большими связками гранат они прятались в окопах и, видимо, поджидали нас.

Я проскочил глубоко в расположение немцев, уничтожая истребителей пушкой и пулеметом. Но вот я слышу голос командира орудия:

— Товарищ майор, кончились снаряды!

— Бей из пулемета!

— Товарищ майор, кончились патроны!

— Ладно, наблюдай только лучше сверху, давить их будем!

Я снова дал полный газ и заскочил на бруствер самого большого окопа.

— Фриц с гранатой! — голос в наушниках.

Глянул вперед, а немец, высунувшись из окопа, уже замахивается на меня связкой гранат. Даю стоп и как-то машинально нажимаю на сигнал.

— Ду-у-у! — звонко раздалось в морозном воздухе, и немец испуганно нырнул в окоп. «Вот здорово, — думаю, — как действует!» Но немец снова появился над окопом и замахнулся для броска.

— Ду-у-у! — раздался опять сигнал, и немца снова как не бывало.

Ну и вояка фриц, раз гудка, как снаряда, боится! Таких «снарядов» у меня надолго хватит. Но фриц поднимался уже в третий раз.

И вот, в тот момент, когда я его хотел еще раз «расстрелять» своим сигналом, моя пушка глухо бахнула, и столб огня ударил в самую рожу фашиста. Он упал на край окопа, крича и тыкаясь в снег обожженным лицом. Оказывается, это мой командир ору-

дия Кононов решил дополнить мою гудковую артиллерию простой сигнальной ракетой. Навел орудие на немца, открыл замок и выстрелил из ракетницы прямо в ствол. Вот вам и стрельба прямой наводкой! Немцы, очевидно, приняли это за какое-то невиданное оружие — страшный воющий сигнал и разноцветные столбы огня из пушки...

Но вот кончились и ракеты, остались одни гудки — артиллерия, открыто говоря, слабосильная.

Немцы уже догадались, в чем дело, и вот они с криками: «Рус капут! Рус капут!» бросились на мою машину. Даю полный газ и — на фашистов. Стараюсь давить их вдоль окопа, но они норовят залезть в окоп и бросать гранаты оттуда. Тогда я вспомнил, что ведь у нас есть несколько ручных гранат-«лимончиков».

— Открой нижний люк, приготовь гранаты! — кричу командиру орудия, а сам направляю машину на самый большой окоп, где скопилось до двадцати фашистов. Они все еще орали «Рус капут». Танк развернулся над головами немцев, стал поперек окопа открытым люком вниз. Мой Кононов знал, что надо делать. Он бросил туда несколько «лимончиков», и вся группа истребителей сразу замолкла. Из остальных окопов фашисты дали тягу, видя, что взять нас невозможно ни с какой стороны.

Я заглянул в окоп через люк и спрашиваю:

— А ну, фрицы паршивые, кто живой остался?

Никто не откликнулся.

— То-то же, гадюки вшивые. Не орят капут, пока мы тут.

За последние недели уничтожено 93 немецкие пушки, 50 пулеметных огневых точек, 10 минометов, 5 танков, 20 ДЗОТов, раздавлено гусеницами и уничтожено огнем пушек и пулеметов до двух полков немецкой пехоты.

Командир орудия, старший сержант Найдин, за все время уничтожил 11 немецких танков, был неоднократно ранен в бою.

Механик-водитель, старший сержант Пекалов, участвовал со своей машиной КВ в 40 атаках. Им уничтожены сотни фашистов, до 20 орудий, несколько танков и автомашин. В танк Пекалова было 212 прямых попаданий

снарядов, оставивших вмятины. Машина не имела по вине экипажа ни одной аварии и поломки и участвует в боях до сих пор...

Мы слушали рассказ майора, чувствуя, как в сердце закипает боевой порыв.

— Ну, а теперь займемся производственными делами, — объявил Сегада.

В батальоне во-всю закипела работа. Танкисты-фронтовики помогали устанавливать обогревательные приборы в машинах, заводили машины, прогоняли их, показывали, как надо производить быстрый ремонт или мгновенную заправку горючим под огнем противника, как и куда сажать пехотный десант.

Через несколько дней поехали наши танкисты. Только там заправка горючим была уже не учебная, а настоящая боевая, под воздействием вражеского артиллерийского огня.

Бойцы и командиры были в восхищении от этих занятий и безгранично благодарны организаторам их.

— Просто поумнели наши ребята за эти дни, — сказал Дормидонтов.

По общему согласию командования, по мысли, поданной все тем же Беланчевадзе, решено было произвести частичный обмен танкистами. Меньше опытных отправить временно на боевую стажировку в часть Сегады, а оттуда взять настоящих боевиков, которые бы принесли нам и свой фронтовой дух и боевой опыт.

К Астахову прибыли на разные должности пять человек. Ефрейтор Большунов, имеющий до 200 часов вождения танков в боях, старший сержант Тендитный, водивший 29 раз свой танк в атаки. Младший сержант Гордеев — таранных дел мастер. Однажды, заскочив с танком в деревню, он раздавил там два вражеских орудия. За каменной стеной позади его было еще два. Разворачиваться было некогда, тогда он задним ходом протаранил каменную стену и раздавил остальные два орудия. С чердака дома били противотанковые ружья и пулеметы. Гордеев с разгона пробил стенки дома, вывез на себе весь потолок с крышей в сторону и растряс там всю эту «чердачно-огневую точку». Самых немцев добил из пулеметов. Младший сержант Кононов — командир орудия, меткий артиллерист. Однажды, попав в окружение, он от-

стреливался из подбитой машины 16 часов. Был ранен в руку, но продолжал оборонять машину, пока подошла помощь. Боец Машев, командир орудия, в боях участвовал более 20 раз.

Все эти ребята были с радостью приняты в дружную семью наших танкистов. С нами они будут участвовать в первых боях.

...Состоялось еще одно поучительное и интересное занятие — читка самой последней немецкой инструкции по борьбе с нашими танками «Борьба с тяжелыми русскими танками». Инструкция добыта или, как выразился Сегада, «выдавлена» у одного офицера противотанковой батареи, только что раздавленной со всем личным составом нашими танками.

Первый параграф гласит: «Тот факт, что противник применяет тяжелые танки, которые не могут быть подавлены немецкими танками, заставляет искать выход из этого положения».

И вот немцы ищут выхода. На нескольких листах инструкции они перечисляют давным-давно известные способы борьбы с танками.

«Немецкие же танки, — повествует инструкция, — предназначенные в нормальных условиях для того, чтобы в наступательном бою уничтожать танки противника, в настоящей войне не в состоянии выполнить эту задачу со своим прежним снаряжением, поэтому уничтожение сверхтяжелых танков является задачей пехотных ударных отрядов».

Оказывается, что с советским тяжелым танком может воевать только не защищенный никакой броней солдат-пехотинец.

Способы действия «пехотных ударных отрядов», созданных сейчас в немецкой армии, представляли для нас, конечно, определенный интерес, и мы их постарались хорошенько запомнить, чтобы во всеоружии встретиться с этими отрядами в бою.

Самое веселое место было в конце инструкции: расценки наших танков — за какой танк какая награда.

«Каждый солдат, который уничтожит русский танк в 26, 32 и 52 тонны, должен быть представлен к награде. Кроме того, каждый, кто уничтожит танк в 26, 32 тонны, получает восьмидневный отпуск для поездки на роди-

ну, а уничтоживший танк в 52 тонны — четырнадцатидневный отпуск».

— За наших зверей, значит, четырнадцатидневный. Много! — сказал Астахов.

— Ничего подобного, товарищ командир, мало! — гневно проговорил Дормидонтов. — Дайте только мне участвовать в бой, я им при первой же встрече предоставлю отпуск бессрочный...

V. НОЧЬ ПОД НОВЫЙ ГОД

Сегодня, спозаранку, одним из первых отправился к своей машине, установленной в ельнике, старший механик-водитель Евгений Дормидонтов. Он торопливо шагал через огорды к лесочку, строго всматриваясь и выискивая в лесной чаще, где же запрягалась его машина, оставленная ночью. Глаз у него наметан, и среди других машин он по особому расположению маскировочных сучьев узнал свою.

Дормидонтов откинул брезент с люка, приподнял его над башней. «С Новым годом!» — надпись на башне, сделанная еще на заводе, бросилась в глаза прежде всего.

— Ах ты, зверюга ты мой, с Новым годом, говоришь? — улыбаясь, ласково заговорил с машиной ее хозяин. — Верно, верно — сегодня тридцать первое число. С наступающим тебя Новым годом!

Взаимное поздравление состоялось. Дормидонтов полез в машину наводить там обычные, а сегодня еще и новогодние, порядки. За ним последовали подоспевшие к машине остальные члены экипажа: Шишов, Соловьев, Писарев.

— Ребята! Ночью, может, немцев поздравлять придется, смотрите! — предупреждал Евгений.

Младший механик-водитель Соловьев залез с ветошью в моторное отделение. Командир орудия Писарев протирал медные гильзы и сизые стальные головки бронебойных шрапнельных и осколочных снарядов.

— Гостинчики! — лукаво подмигивал он Дормидонтову. — Гаңсы, наверное, ждут их теперь не дождутся.

Затем Писарев попробовал замок и решил повертеть моторчиком башню,

чтобы пушка смотрела, по его выражению, «во все шестнадцать сторон».

Но только он повернул башню на один круг, как снаружи раздался сердитый голос командира танка Калиничева:

— Ты что, ослеп там, что ли? Видишь, весь лес пушкой пошибал.

— Я же не стреляю, — смущенно пробормотал Писарев и высунулся в верхний люк, чтобы посмотреть, в чем дело.

И только тут он понял, за что ругает его командир: длинным орудийным стволом он, как гигантским хоботом, пошибал до десятка красивых елей, усаженных ночью для маскировки танка.

Весь экипаж срочно принялся за посадку поваленных елей.

Однако командир танка продолжал недовольно ворчать на Писарева:

— Видишь, весь иней пошибал с елок — никакой маскировки. Заставить вот тебя дышать на каждую — иней делать.

Наступил вечер, такой же синий и морозный, как и утро. Температура тридцать с лишним градусов мороза.

В одной из просторных хат танкисты собрались с котелками на обед. Усевшись на полу, на душистой ржаной соломе, все поглядывали на командира Астахова и комиссара батальона Харченко. Оба сидели в углу под образами и что-то собирались сказать.

— Возможно, товарищи, ночью будем драться. Немцы на передовых что-то нервничают. Словом, спать не приказано. Всем быть готовыми, сидеть в боевых машинах, — сказал Астахов.

Поднялся комиссар Харченко. Как всегда, он заговорил взволнованно, горячо.

— Значит, новый, 1942 год мы встречаем в боевых машинах. Вшивые гансы хотели нас видеть к этому времени, к 42-му году, в концентрационных лагерях, за проволокой. А мы, оказывается, приехали к ним на новый год на могучих советских танках. Это, товарищи, много значит. Мы на рубеже 41 и 42 года. Вся наша страна на этом рубеже. Она уже атакует и грозит по всему фронту гитлеровских бандитов. Новый, 1942 год будет годом нашей победы. Сегодня ночью мы

его встречаем. Будем сидеть в машинах. Ровно в двенадцать выпьем по чарке горилки. Но если будет в это время боевой приказ — по боку кружку, заряжай пушки. Немцам скажем: «С Новым годом — с новым гробом!»

С веселым смехом все принялись за мясной гороховый суп и гречневую кашу.

— Заряжайся, ребята, на новый год! — весело покрикивал повар Нестеренко, выдавая из термосов пищу.

...До конца старого, 1941 года оставалось несколько часов. Сброшены с танков брезенты, оставлены маскировочные елки, оголилась броня и пушки. Можно срываться с мест и идти в новогодний бой. Немцы продолжают нервничать: время от времени рывкают их дальнобойные пушки, ведя бесприцельный огонь в неведомое пространство. Застрекочет суматошно, прерывисто, точно в лихорадке, пулемет и тот быстро умолкнет.

— Дрожат черти, по огню чувствую, — говорит командир орудия Писарев.

Наши позиции на огонь немцев не отвечали. Здесь шло своеобразное испытание нервов. Конечно, приглушить одно гавкающее немецкое орудие нашим артиллеристам ничего не стоит, но зачем преждевременно открывать себя противнику, когда готовишься к более серьезному делу.

В это время механик-водитель Дормидонтов был занят какими-то таинственными приготовлениями.

— Ребята, — вкрадчивым голосом и с оглядкой обратился еще днем Дормидонтов к своему экипажу, — добывай игрушки на елку. Вечером устроим у своей машины. Утром нос всем экипажам и в гости пригласим.

Затягивая Евгения сразу очень понравилась. Но где и какие раздобыть игрушки?..

...В той же роще, где стояли танк-мамонты, расположились по соседству и другие машины — боевые соратники на поле брани. Еще днем я заметил, как один чернявый молодой танкист в меховом комбинезоне, обмакивая белую лунчику в консервную банку с краской, старательно выводит на башне своей машины алые буквы: «Отомстим за советских девушек!»

Танкист раза три отходил поодаль, внимательно осматривал надпись, при-

щуривался, наклоняя голову то вправо, то влево, приседал, привставал и всякий раз быстро возвращался к башне, чтобы подкрасить какую-нибудь из букв.

Наконец, став перед башней, он на минуту задумался, чего-то как будто нехватало. Затем решительно подойдя к башне и обмакнув лучинку, он под словом «за» вывел еще одно — «любимых». Получилось: «Отомстим за любимых советских девушек».

Танкист улыбнулся, видимо, окончательно довольный. Подошел командир танка младший лейтенант Даев. Прочитав надпись, он спросил строго:

— Разве я давал тебе это слово?

— Нет, не давали.

— Так зачем же ты его вписал?

— Оно хорошее, товарищ командир, и местечка немножко было.

— Некрасиво получилось — каланча из слов. Ты бы еще в любви объясняться на всю башню вздумал.

— Это очень даже правильно, товарищ командир... Я вспомнил про Злочев...:

Младший лейтенант резко изменился в лице. Тонкие губы его чуть-чуть дрожали. Даев резко повернулся направо и, ничего больше не сказав, отошел в сторону...

...Оставались минуты до наступления нового, 1942 года. Экипажи, как было приказано, сидели наготове в машинах. Танкисты в боевых отделениях предавались воспоминаниям, кто, как провел эту ночь в прошлом году.

Боевого приказа не поступало. Вдруг от танка к танку пронеслась живая звонкая команда:

— Быть свободными! По-экипажно встретить Новый год!..

Радостная суматоха поднялась в машинах!..

Я в танке командира Астахова. Водитель Тендитный выволок из вещевого мешка отливающую сизым блеском и похожую на стальной снаряд полулитровку. Это как раз на пятерых.

— Приготовьте бокалы! — торжественно сказал Тендитный, и все потянулись к нему своими эмалированными кружками.

Весело булькает «горючее». На маленькой железной обогревательной печке шипит закуска — мясные консервы, издающие аромат лаврового листа и томата.

— За здоровье Верховного главно-

командующего Сталина! — взволнованно провозглашает Астахов.

— За ирировцев, подаривших нам танки! — добавил Преданников.

— За победу в новом, 42-м году! — откликнулись мы хором и, чокнувшись, дружно осушили кружки.

Вдруг открылся верхний люк нашей машины, и над нами сначала мелькнул кусок звездного неба, потом оказалась веселая физиономия Дормидонтова.

— К нам на елку пожалуйте, к моей машине, — сказал он гостеприимным тоном.

Мы торопливо вылезали из люков. К машине Дормидонтова, стоящей немного поодаль, под самой красивой стройной елкой, стекались гости со всего батальона.

Приближаемся вплотную и застываем от изумления: высокая елка, не срубленная, не привязанная, а растущая здесь со дня своего рождения, убрана сотней игрушек. Она не горит огнями лампочек, но вся отливает золотым и серебряным блеском игрушек, на поверхности которых отражается свет сияющей луны. Золотые блики играют на развешанных гильзах от патронов и снарядов, серебряные отсветы сверкают на гирляндах пустых банок из-под консервов. Папиросные коробки, сухари, желтые ленты упаковочной рогожки, цветные бумажки и даже парашютные стропы, снятые, очевидно, с подбитого немецкого самолета, валяющегося неподалеку от нашего лагеря, — богатое убранство!

Самая же интересная и привлекательная игрушка находилась под елкой, это был танк КВ с красующейся надписью на башне «С Новым годом».

Принимал гостей и устанавливал их вокруг елки почему-то не главный затейник всей истории Дормидонтов, а командир машины Калининцев.

Комиссар батальона Харченко, веселый и очень довольный, подтрунивал над бойцами:

— А ну, у кого еще такая красивая елка?

Другой такой елки во всем батальоне не было, потому что другого такого весельчака и затейника, как Евгений Дормидонтов, тоже не было.

— Итак, товарищи гости, — объявил командир машины, — наш экипаж пригласил вас отпраздновать сегодня

новогоднюю елку, а кроме того выслушать уважаемого «деда-мороза», находящегося сейчас в нашем батальоне. Слово имеет «дед-мороз».

Раздвинув зеленые ветки украшенной елки, из-под нее важно вышел солидный, белоснежный «дед-мороз». На нем была шуба, вывернутая наизнанку, льняная до самой земли борода, в руках автомат, на поясе гранаты, на голове танкистский шлем.

— С Новым годом вас, товарищи-танкисты! — заговорил притворным и густым басом «дед-мороз».

— Женька! Так и знали! — весело загадели все, узнав Дормидонтова.

— Ну, скажи, скажи, дед, что-нибудь хорошее!

— Слушай, дед-мороз, не отморозь себе нос! — подшучивали ребята.

— Я прибыл, товарищи-танкисты, — продолжал «дед-мороз», — вместе с вами на фронт, чтобы бороться за правое дело русского народа, чтобы помогать вам уничтожать проклятых фашистов.

Не ветер бушует над морем,
Не с гор побежали ручьи —
Сегодня ходил я дозором
Проверить владенья свои.
Глядел, хорошо ли мятели
Лесные тропы замели,
Залез в блиндажи я и щели,
Добрался до голой земли.
Бывал я у фрицев и гансов,
Пытал их под кожей иглов,
Победных-то много ли шансов
Имеет противник наш злой?

— И увидел я, товарищи-танкисты, что никаких шансов не осталось у гансов, — уже прозой продолжал «дед-мороз». — Сидят они, лясают от мороза и от голода зубами, завывают волчьи песни. Я свободно разгуливал между немцами, и все они боялись спросить у меня даже пропуск. Подхожу к любому часовому, беру его за нос, и сразу у него вместо носа — белая мерзлая картошка.

Для более близкого знакомства я старался крепко пожать всех за руки и даже за ноги. Возьмешь за кожаный ботиночек, глядишь, а он уже вместе с ногой — деревянная колодочка. Результат один: забирают моего знакомого ганса в госпиталь, а там уже приделают ему вместо своей ноги настоящую колодку.

А в одном месте, товарищи, соблазнил я, старый дурак, одной представительницей женского пола. Идет

по улице такая пышная, в ботах, манто и в шляпе, очаровательная дама. Я за ней. Тряхну-ка, думаю, старыми костями, попробую обольстить, чем сумею. Догоняю и нежно пощипываю ее за ножку в шелковом чулочке. Дамочка как взбрыкнет и бойко засеменила дальше.

«Ага, можно и в атаку, значит», — подумал я и решил фланговым налегом поцеловать ее. Разворот на одной гусенице, полный газ, и я влил в мою обворожительную даму... И о ужас! Моя борода смерзлась с колночными и вонючими усами какого-то немецкого офицера. С омерзением отрываюсь и вот до сих пор не могу никак отплеваться. Но я-то отплююсь и забуду, а немецкий офицер не забудет никогда в жизни нежный поцелуй «деда-мороза».

Так пользуйтесь, товарищи-танкисты, моей помощью. Я — ваш верный друг и союзник. Но я вас предупреждаю также, товарищи-танкисты, что у меня вам не будет никакого снисхождения. Забудете спустить воду из машин — заморожу радиатор, не пойдет в бой машина. Не будете менять смазку на оружии — застынут части, не выстрелит ни пушка, ни пулемет. Давайте держать с вами деловой контакт, крепкий союз, и победа наша в новом, 42-м году над гитлеровскими мерзляками будет обеспечена. Со своей стороны обязуюсь замораживать фашистов на каждом шагу, леденить их пьяные звериные мозги, чтобы вы могли сказать обо мне:

Идет, по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце победы
Играет в его бороде!

Дружно хлопали мы меховыми рукавичками, провожая «деда-мороза».

...В этот вечер я побывал и в машине младшего лейтенанта Даева. «Экипаж холостяков», как прозвали мы их впоследствии. Они тоже встречали в танке Новый год, тоже пили вино, тоже держали танк раскрытым, готовым в любую минуту итти в бой. А на башне танка, на белом ее фоне алела надпись: «Отомстим за любимых советских девушек!»

— Ребята, расскажите откровенно, за каких девчат мстить будете, где

они у вас остались? — спросил я у танкистов.

— За всех, — ответил немного смущенный Даев.

— А все-таки, может быть, имена есть?

— Скажите уж, товарищ командир, ведь Лида-то в Злочеве осталась, — сказал тот самый танкист, который писал сегодня надпись.

— Да, осталась там, в Злочеве, — тихо, глядя в сторону, проговорил Даев.

Мы молчали, боясь неосторожным словом затронуть глубокую душевную рану.

— Если б не был ранен, увез бы ее. Она в госпиталь ко мне приходила, приносила цветы, платочки. А потом меня увезли внезапно, — задумчиво проговорил Даев.

— Все равно разыщем и вырвем у немцев своих девчат. У нас ведь у всех четверых так получилось, — сказал кто-то из угла башни.

...В эту ночь не было боевой тревоги. А утром поступил боевой приказ: всему командному составу танкового батальона надеть белые халаты, подогнать лыжи, забрать гранаты и автоматы и отправиться в ночь на рекогносцировку.

VI. ЛЕДОВЫЙ МАРШ

Пять рек с одного только южного направления несут свои воды в Ильмень-озеро. Широкие реки вбирают в свое устье еще десятки речушек, притоков, рукавов.

Владеть озером и устьем всех пяти рек, впадающих в него, — лучшего естественного прикрытия для войск, находящихся в обороне, никакие стратегии и желать не могли. Этот прекрасный рубеж обороны еще с осени находился в руках немцев. Пользуясь им, они могли продолжать блокаду Ленинграда. В зимние месяцы фашисты успели нагородить здесь немало искусственных укреплений — ДЗОТов, окопов, проволочных заграждений, создали минные поля, расставили минометные и орудийные батареи. Вся местность на сотню километров к югу от озера была превращена немцами в мощный оборонительный район.

— Вот поэтому я вас и пригласил,

товарищи танкисты, оставить на сутки ваши любимые гусеницы и стать на лыжи, чтобы самим произвести глубокую пехотную разведку, — так сказал командир соединения, к которому был придан наш танковый батальон.

За сутки танкисты-лыжники во главе со своим командиром майором Максимовым совершили большой разведывательный поход. Пройдено около 40 километров. Разведчики, одетые в белые маскировочные халаты, проникли не только в глубину заиндевевшего приозерного леса, но и в самое озеро: тихо, чтобы не услышали немцы, просверливали они буравами лед, замеряли толщину его и глубину озера...

Сутки отдыха, и вот получен боевой приказ, которого с таким нетерпением с часу на час ждали: совершить ночной бросок всем танковым батальоном по озеру Ильмень и впадающим в него рекам, зайти на 30—40 километров в глубь обороны противника и вместе с пехотой внезапно атаковать его основные силы с фланга, в районе Старой Руссы.

Речь шла об окружении 290-й стрелковой дивизии и эсэсовской дивизии «Мертвая голова», входящих в состав 16-й немецкой армии. С наступлением ранних сумерек зарокотали моторы. Наш батальон покидал свой временный лагерь.

Пятерка КВ тронулась с места. Загудела под ними земля. Задрезжали окна в хатах, застонали стволы деревьев, задетых выползающими машинами.

Бушевала метель, она скрывала наше движение к исходному рубежу для наступления.

Окраина одной деревни — последняя остановка перед решающим броском. Напряжение у танкистов достигает высшего предела. Только бы не подвели речки. Надо обязательно пересечь эти водные преграды и в полном порядке дойти до места самих боев.

Астахов вместе с помощниками по технической части обходит танки.

— Как машина?

— Все в порядке! — уверенно, как один, отвечает танкисты.

Сняты чехлы с орудий и пулеметов, подготовлены снаряды, заложены диски. Противник может преждевременно раскрыть наш замысел, и тогда

хочешь не хочешь, придется немедленно вступить в бой.

Танковая колонна пойдет о пехотным десантом. На головных машинах поедут саперы, которым предстоит уничтожить противотанковые мины.

— Десанты по местам! — пронеслась от танка к танку еле слышная сквозь пургу команда.

Белые корпуса больших и малых танков будто вдруг вспухли, раздулись новыми белыми выступами, — то десантники в белых костюмах с белыми автоматами заняли свои места на танках. И вот вытянулись в колонну десятки машин, среди которых в ночной темени нетрудно было различить гигантские силуэты КВ. Стальные крепости с лязгом и скрежетом двинулись в поход.

Десятикилометровый бросок, и под нами уже Ильмень — древнее русское озеро, у берега не очень глубокое.

Тяжелый танк, на котором я ехал с пехотным десантом, осторожно вползает гусеницами на лед. Мы спрыгнули и идем по сторонам. Старый Ильмень точно недоверой, что нарушили его покой — он скрипит, кричит, как древний дуб под напором ветра. Виданное ли дело: полсотней тонн одна только машина сразу ложится на его плечи. Свыше 150 килограммов, или около 10 пудов, давит на один квадратный сантиметр ледяного покрова! Тонкий звенящий треск корящегося льда раздается под машиной.

Там, где лед не до самого дна, он заметно, как пружинный диван, прогибается под тяжестью танка. Следующие тяжелые машины начальник переправы уже направляет правее или левее.

Но вот ледовые ильменские просторы позади. Впереди — речная переправа. Она почти вплотную примыкает к немецкому укрепленному району. Лед на реке благодаря течению гораздо тоньше, и без специального настила там машины не пройдут.

За несколько минут до нашего подхода танкисты соседней части попытались было проехать через реку. На середине реки, стометровой ширины, один тяжелый танк КВ провалился по самую башню и ушел под лед. Экипаж успел выскочить в верхние люки.

Нас подвели саперы, обеспечиваю-

щие переправы. Они изготовили 2000 бревен, которыми должны были устилать лед на реках и замораживать новым льдом. Но мы проскочили Ильмень, а бревна еще в пути.

Что делать? Ждать нельзя ни одной минуты. Полночь. Через несколько часов рассвет. Нас обнаружит вражеская авиация, а мы еще толчемся только у первой переправы. Главное — форсировать скорее именно эту реку, составляющую внешнюю стенку фашистского оборонительного района. Проломить эту стенку, и тогда можно с боями «гулять» по всем укреплениям немцев.

Бревен все еще нет. Есть пока одни только лунки в реке, продолбленные для того, чтобы качать из них воду на заливку настила. Лунки-проруби безмолвно чернели на поверхности льда, вызывая справедливое озлобление. Ну, к чему и для чего они сейчас, когда заливать нечего? Разве только для того, чтобы какой-нибудь глупый волк из ближайшего леса по рекомендации хитрой лисы опустил бы в одну из прорубей свой хвост и занялся рыбной ловлей..

Откровенно говоря, не мне только одному хотелось видеть в роли этого волка с примороженным хвостом начальника инженерной службы соединения.

С каждой минутой угроза срыва замечательно задуманной операции нависала все тяжелее. И вот возникло решение.

— Разберем ближайшую деревню и устелем ею лед, — вдруг предложил саперным начальникам майор Максимов.

— На чем подвезти?

— Подвезем танками, но операцию продолжать будем.

Сказано-сделано. Уже через полчаса танки потянули из деревни целый обоз бревен, необходимых для переправы. Саперы, обрадованные такой неожиданной выручкой, сноровисто и горячо привялились за укладку настила. Аккуратно и плотно подгоняли они бревнышко к бревнышку, точно хотели сохранить их взаимную близость, в которой пребывали они десятки лет в стенах колхозной избы.

Жаль нам было разрушать дома наших колхозников, но ничего не поделаешь, только ими мы могли выстлать путь к победе. Разберем одну дерев-

лю — отберем у немцев десятки и сотни.

Ледяная вода, о шумом накачиваемая помпой, цементировала деревянный настил. Она проникала в старые щели бревен и застывала вместе с вонючей и забытой там хозяйской иглой. Обрывки цветистых обоев и газетных листов, которыми хозяин заботливо оклеивал стены дома, теперь вмерзли в строительный материал для нашей ответственной переправы.

Настил готов. По нему один за другим смело проходят малые и средние танки, а затем осторожно перебираются и КВ. Мы уже на другом берегу, а немец нас еще не заметил. Все идет замечательно. Вот только надо оказать помощь танку соседа.

Четыре мощных танка берут с берега на буксир затонувшую машину. Общая команда одним только взмахом руки — «марш», и тысячи лошадиных сил, слитые воедино, рванули со дна реки пятидесятитонную машину.

Из воды показался танк. Он вздыбил по пути к берегу горы льда. Река будто сломана пополам гигантским тараном. Когда буксируемая машина, ломая последние глыбы, выползала на берег, казалось, со дна реки действительно вылез мамонт с обледеневшим хоботом пушки.

Танк был спасен, но он обледенел. После двух часов подогрева взревел мотор, заработали все приборы. Экипаж этой машины, чуть не погибший несколько часов назад, ходил теперь вокруг нее торжествующий и возбужденный.

— И в воде мы с ней не тонем, и в огне мы не сгорим! — весело подшучивал командир машины.

...Наша колонна двинулась дальше через лес и болота. Стало светать, а мы, все еще не замеченные, подходили к другой переправе. Бревна были подвезены и на плечах саперов доставлены к переправе. Вторая переправа уже ждала нас. Мы вступили на нее смело, но наступил рассвет, а вместе с ним и долгожданный бой.

Для немецких солдат и офицеров, продравших поутру глаза, было полной неожиданностью появление танковых колонн и пехотных десантов на линии их обороны. Сидя на батареях, фашистские артиллеристы целиком полагались на свои пехотные дозоры и секреты. Но дозоры в эту ночь без

выстрела были сняты и уничтожены батальонами лыжников нашего соединения.

Танки, переправившиеся на тот берег, продолжали огибать фланг противника все глубже и глубже. Немцы опешили — откуда они появились? Не могли же машины пройти по ледовым полям Ильменя, да еще преодолеть две реки? На нижней переправе разорвались первые вражеские снаряды.

— Закрывать люки! Наблюдать за противником! — скомандовал Астахов.

Десантники попрыгали за корпуса машин.

Несмотря на то, что вся местность была насквозь пристреляна, немцы, видимо, с перепугу, били не точно. Наши саперы, сначала рассыпавшиеся в стороны, подбежали к переправе. Оставшиеся танки начали переправляться на другой берег.

Астахов со своим танком уже находился на противоположной стороне. Но вот вражеские мины и снаряды стали рваться все ближе и ближе к деревянному настилу. Появились раненые среди саперов. Никто из них не ушел с поста. Под огнем они мужественно продолжали подправлять бревна, развороченные танками, и пропускать вперед новые и новые машины. Я вижу по разрывам, как немцы взяли нашу переправу в узкую вилку обстрела. Вот-вот ей грозит гибель, разрушение. Через несколько секунд два тяжелых снаряда угодили в настил, подняли вулканы воды и ледяных осколков, разметали в стороны переправу.

Убитых нет, но в двух широченных прорубях плавают два контуженных красноармейца-сапера. К ним бросились товарищи, выхватили из ледяной ванны и стали оттаскивать подальше от опасного места. Прогремел новый взрыв, но это оказывается орудийный залп из танка Астахова. Он успел нащупать вражескую батарею и теперь с места открыл по ней огонь. Примеру командира последовали еще два-три танка. Батарея немцев смолкла.

Саперы под руководством командира Иванова бросились чинить переправу. Они перетаскивали бревна и делали настил на новом месте. Я подбежал к раненым саперам, которых положили около одного из танков. Сорокаградусный мороз заковал их в ледяную броню. Насквозь промокшая одежда

вся смерзлась вместе с прикрывающими их маскировочными халатами. Передо мной лежало два белых ледяных саркофага, из которых виднелись человеческие лица.

Санитары разрубали саперными лопатками окаменевшую на раненых одежду. Саперы от этой «операции» сильно страдали, но надо же было скорее освободить их ото льда, остановить кровь, которая сочилась из раненых рук и ног. Горячая кровь раненых бойцов проникала сквозь одежду и лед, растопляла его, окрашивая в золотисто-багровый цвет.

Астахов так удачно успокоил своим огнем немецких артиллеристов, что мы с пол часа двигались по новому болоту и уже подходили к третьей переправе, а немецких батарей все еще не было слышно.

В лесу знакомым фронтовым концертом раздавался автоматный и пулеметный стрекот. Это вступили в бой наши передовые пехотные части, нанося противнику удары с фланга и тыла.

Третья переправа была несложной, но образцовой в смысле применения военной хитрости. Когда мы подошли к условленному месту, то никакого деревянного настила не обнаружили. Он был искусно замаскирован.

В это время в воздухе появился фашистский бомбардировщик.

Нам приказано было замереть на месте в лесных сугробах и переждать, пока фашистский самолет сделает свое дело.

Хитрые саперы подготовили ему ложную переправу, которую они предусмотрительно выложили из хвороста в километре от настоящей.

Когда отгудела земля от последних авиабомб, сброшенных на хворостяную переправу, и воздушный фриц, весьма довольный своей работой, отправился во-свояси, наш батальон одним рывком под прикрытием артиллерии преодолел и третью водную преграду по искусно запорошенной снегом бревенчатой дороге. Далее — 7—8-километровый марш по топкому болоту. Для танков, между прочим, любое болото в любой мороз остается таким же топким, как и летом. Слой снега и мха не позволяет ему заледенеть.

Мелкие машины-разведчики с трудом прокладывали себе путь по еле застывшим кочкам, а одна машина

сразу же провалилась по самую башню, разворочав вокруг себя груды испаряющегося торфа.

Машину вытащили и стали наскоро искать другой путь. Болото в стороне переходило в мелколесье. Если бы там проложить дорогу, могли бы двигаться все тяжелые и легкие машины.

— Положить лес и открыть батальону путь, это, по-моему, как раз по плечу вашим «мамонтам», — обратился майор Максимов к Астахову.

— Разрешите разведать? — спросил Астахов.

— Делайте.

И Астахов с водителями всех пяти машин побежал к лесу. Осинник, ивняк, сосенки 10—15 сантиметров в сечении не смутили опытных водителей.

— Пригнем? — деловито спросил Дормидонтов.

— Да, и пригнем и придавим, — ответил Тендитный. — «Мальшкам» за нами, как по шпалам, можно будет итти.

Вожаком колонны выступал сам Астахов со своим водителем Тендитным.

Лес был сплошным. На вид он казался неприступной стеной из одних стволов. Но это была, как выразился после Дормидонтов, одна лишь «деревянная иллюзия».

Корпусом и гусеницами КВ начали подминать под себя лесную чащу, как огородный плетень. Путь был проложен. Перед нами расстилалась новая водная преграда в триста метров шириной и с крутыми, двадцатиметровой высоты, берегами. Немцы здесь не были застигнуты врасплох. На том берегу они яростно сопротивлялись нашим пехотным головным отрядам. Слышна оглушительная пальба из минометов и автоматов.

Майор Максимов приказывает батальону развернуться для атаки противника и открыть огонь через реку:

— Лейтенант Астахов! На этом берегу остаетесь за меня. Ведите огонь — прикрывайте мое развертывание!

Сам майор о малыми машинами без всякой искусственной переправы бросился рассредоточенно по льду на тот берег.

Немцы были ошеломлены внезапным, будто бы из-под льда реки, появлением советских танков. В прибрежных ДЗОТах наступило замешательство. Пальба из сплошной и суматош-

лой стала разрозненной и редкой. А Максимов с подразделением командиров Фетлихина и Маслова уже давил первые линии огневых точек фашистов. Астахов своим огнем с этого берега прекрасно поддержал переправу майора Максимова и вторжение его в оборону немцев.

Саперы работали над новым настолом. От командира батальона поступило радиоприказание: переправляться тяжелым машинам.

Сумерки. Под огнем противника, но без единой потери людей и машин преодолели мы еще одну — четвертую — речную преграду.

Ровно сутки, как мы воюем. Никто еще не ел, да и не думал об этом. Главное — закрепиться на новом рубеже. Немцы побросали свои блиндажи, оружие, убитых и отошли на новый рубеж для обороны.

Командир соединения приказал нам немного передохнуть, вернее, приготовиться к новому ожесточенному бою — пополниться горючим, снарядами.

Танкисты вылезают из машин, направляют фуфайки, комбинезоны. Ни одного из них нельзя сразу узнать. Лица до того закопчены и замаслены, что выглядят чернее черного танкистского шлема. Люди утомлены, у них опускаются усталые веки, но каждый гонит от себя прочь мысль об отдыхе.

Командир орудия Жарченко вытаскивает из кассет загрязненные копотью гильзы. Дормидонтов тормозит задремавшего водителя цистерн — поскорее заправку!

Два часа мы все-таки отдыхали.

Совершено хоть и не самое главное, но большое дело — небывалый в истории ледовый марш танков.

VII. ПЕРВЫЕ БОИ, ПЕРВЫЕ ТРОФЕИ

В пяти километрах впереди нас находилась конечная железнодорожная станция и селение Юрьево — узел сопротивления немцев, который надо было во что бы то ни стало захватить.

Но перед нами широкая 450-метровая река, отделяющая нас от селения. Пятая река на нашем пути.

Батальон к рассвету был вполне го-

тов к бою, а пока что танки скрывались и маскировались в густых прибрежных зарослях дубняка.

Мы должны были сегодня поддерживать соседнее левое соединение, задача которого совпадала с нашей.

Ранняя разведка. Глаза уже не слепит вчерашняя вьюга. Ночью ярко светила луна, крепчал мороз. Пушистой иней разукрасил дубки и редкие сосны, точно накрыл их маскировочным халатом. Ватой иней покрылись даже стволы деревьев, что поближе к танкам, видимо, машины дохнули на них своим теплом.

Оставив машины в укрытии, мы прокрались в предутреннем тумане на самый берег расстилавшейся перед нами реки. В бинокли видны на той стороне смутные очертания штабелей дров и бревен, как бы оставшихся от осеннего сплава. Наверняка, это настоящие, а частично и ложные укрепления немцев. В небо упираются две высокие водонапорные, вновь построенные вышки — посты наблюдения. Еле уловимые испарения из-под земли и в обрывах противоположного берега — дыхание блиндажей и деревянно-земляных укреплений фашистов.

Я смотрю на смуглое лицо майора Максимова. Он же отвел от глаз бинокль и теперь с каким-то безразличием поглядывал в сторону своими серыми глазами. Но вот эти глаза оживились, заиграли внутренним огоньком.

— Пойдемте, — сказал он.

Все отползли назад. У майора уже готово решение:

— Попросим артиллеристов устроить утренний концерт — ударить по всем этим крысиным норам, сбить наблюдательные вышки. Легкими и средними машинами без настила атакуем берег. Вышло же у нас вчера как будто неплохо.

Майор Максимов смелый и решительный командир. В атаку с первыми машинами он пойдет сам. С тяжелыми машинами он оставил комиссара Жарченко.

Как и задумали, артиллеристы устроили сокрушительный огневой налет на противоположный берег, а танкисты вместе с пехотой под эту артиллерийскую музыку бросились из лесных укрытий на лед. По фарватеру реки были разложены противотанко-

вые мины, прозванные за свой внешний вид «блинами».

— «Блинами» смотрите не обедаться, — предупредил напоследок танкистов майор Максимов.

Мин немцы не успели ни закопать, ни заморозить, а только наспех разбросали по льду. Саперы, ехавшие на машинах, быстро спрыгивали на лед и смело сдвигали в стороны зеленые диски фугасов.

Минную преграду немцы старались дополнить ожесточенным артиллерийским и минометным огнем прямо по застывшей реке. Но мины и легкие снаряды не пробивали толстого ледяного покрова. Танки, прикрывая пехоту, сообщая с ней продолжали мчаться на противоположный берег. Но вот немцы бросили последнее, что они имели, — бомбардировочную авиацию. На бомбежку заходят пять «Юнкерсов».

Одна за другой летят на лед тяжелые фугаски. Грандиозные взрывы, от которых гудит весь берег и поднимается дурманящий звон в ушах. Но танки ловили интервалы между заходами самолетов и, лавируя по льду среди лунок от разрывов и мин, проскакивали вперед. Уже видно, как карабкаются они на вражеский берег. Лишь одну среднюю машину подловили стервятники и то не прямым попаданием. Бомба разорвалась в нескольких метрах впереди мчащегося танка. Фонтан воды обрушился на машину, ослепил танкистов, и водитель машины, не успев отвернуть в сторону танк, с разгону влетел в полынью. Машина все же не провалилась, она села в воду только задней частью. Весь экипаж остался невредимым.

...На том берегу разыгрался жаркий, ожесточенный бой танков с противотанковой артиллерией.

Перед нами — последняя, самая важная линия немцев в системе мощных оборонительных сооружений. Враг ни за что не хотел отдавать ее, изрыгая на нас целые потоки артиллерийского, минометного и пулеметного огня. Все двухкилометровое пространство между рекой и поселком представляло собой паучью сеть из мин, проволочных заграждений и ДЗОТов. Все это рвалось, стреляло, несло смерть, но танки совместно с пехотой неотступно продвигались дальше в двухсторонний обход фашистского узла сопротивления.

На поле боя беспомощно крутились на одном месте первые наши машины, подорвавшиеся на минах, пораженные снарядами.

До чего же досадно, что там нет сейчас наших КВ! Им нипочем ни минные «блины», ни противотанковые «огурчики»! Река и авиация нас пока не пускали.

Но и отсюда, с расстояния в семь километров, наши «мамонты» своими «хоботами»-пушками разворачивали немецкие укрепления, вбивали в землю фашистских автоматчиков.

Бой длился целый день. За это время наши зенитчики сбили два бомбардировщика, после чего остальные уже не появлялись. В 18 часов дня майор Максимов при огневой поддержке всего танкового батальона ворвался с пехотным и саперным десантом в селение и станцию. Пехотинцы пулеметами, штыками и ручными гранатами добивали сопротивлявшихся фашистов.

Селение и станция в наших руках. По вновь сооруженной переправе тяжелые машины подтянулись к батальону.

Откуда-то из-под земли, из-за сугробов, из леса бежали к нам навстречу местные жители.

— Пришли, родимые! — говорили они, плача от радости.

Мужчин почти не видно. Сплющ женшины с малыми ребятами, оборванными, исчахшими, измазанными глиной и землей после долгого пребывания в землянках.

Большинство домов уцелело, хозяйки расходились по своим родным углам. На самом краю деревни, в той стороне, откуда мы вошли, вместо хаты одно пепелище, с еще чадящими головнями. На груде кирпичей сидела, обхватив голову руками, рыдающая женщина. Вокруг нее пятеро ребят. Самая взрослая, лет десяти, девочка держит на руках малышку и успокаивает мать. Остальные трое беззаботно ковыряются в пепле и греются возле маленьких костров, старательно раздувая их. У мальчугана в руках печеная картошка.

Я подошел к женщине и заговорил; она испуганно подняла голову. Заплаканное, скорбное белое лицо новгородской женщины.

— Здесь жили? — спрашиваю.

— Нет, не жила уже три месяца,— тихо ответила она.

— Как же так?

— Немцы прогнали, моя хата крайняя и значит такая несчастная. Они в ней пушку поставили, село закрывать.

Я увидел вокруг разваленного дома целые горы снарядных гильз и много изуродованных немецких трупов. Крайняя хата была превращена фашистами в главный оборонительный бастион. Я вспомнил, что мы основную силу огня из-за речки обрушили именно на эту окраину. Мы взорвали сидевших здесь немецких артиллеристов на их же снарядах. Дом разрушен. Но что ж делаешь, — война есть война. Это то же, что и с разобранной деревней... По бревнам и балкам домов колхозников мы совершили успешный ледовый марш и зашли в тыл к немцам. По развалинам крайней хаты мы ворвались в целое селение, освободили его от немецких извергов, будем продолжать освобождать все новые и новые населенные пункты. За это нам будут благодарны десятки и сотни тысяч советских женщин и детей.

— Я понимаю... иначе нельзя, — сказала женщина. Она знала, кто истинный виновник гибели ее жилья.

С ней и ее ребятами мы перешли в соседний теплый дом. Разговорились.

Лицо Александры Семеновны Боровой теперь выражало суровую решительность, а не скорбь и бессилие, как это показалось мне на улице. Серые глаза горели гневом, и только плечи как-то подергивало иногда, будто от внутреннего толчка.

У Александры Семеновны четверо собственных ребят: Зина 10 лет, Валентина 7 лет, с завязанной правой ручкой — ранена во время немецкой бомбежки, Тоня 5 лет и Вова 3 лет. Да еще пятый — приемыш Сима.

Три месяца назад фашисты прогнали ее из собственного дома, да еще преследовали как жену красноармейца. Она скиталась с детьми, голодная и иззябшая, по соседним деревням, жила в лесных землянках. Она, подобно самке-олению, добывающей из-под снега пищу себе и своему детенышу, выкапывала из-под снега снопы и вымолачивала зерна. Только тем и существовала.

В это тяжелое время Александре Семеновне попался на дороге умирающий от голода беспризорный мальчик.

Сердце матери дрогнуло от жалости, она подобрала мальчугана, и с тех пор он в ее семье такой же, как и свои ребята, родной и желанный.

Этот восьмилетний, с красивыми карими глазами, русский мальчуган Сима оживленно разговаривал с танкистами и одновременно был занят дележом среди девчат найденной им печеной картошки.

Отец у Симы убит во время войны в Финляндии, мать погибла от немецкой бомбежки. Сам он из Старой Руссы, в каком-то из городов у него есть бабушка.

— А как зовут ее, твою бабушку?— спросил я.

— Бабушка.

— Нет, имя, отчество?

Сима наморщил лоб.

— Бабушка?! — тихо, растерянно бормотал он.

Танкисты поделились с ребятами сахаром, сухарями и гречневой кашей. Дали честное красноармейское слово, что хата Александры Семеновны будет построена.

— Сами приедем и построим.

На улице меня догнал простоволосый Сима.

— Дядя, а я могу быть танкистом?

— Можно, только ты еще мал, тебя нельзя взять в Красную Армию.

— Нет, можно. У меня все дяди в Красной Армии.

— Какие дяди?

— Это маминны братья: дядя Леня, дядя Ваня, дядя Вася, дядя Кира, дядя Андрияш...

— А фамилия?

— У всех одинаковая — Тимофеевы.

— Ну, Сима, — говорю, — готовься в Красную Армию. Только надо сначала найти твоих дядей.

...Всюду следы жестокости, разрушения, смерти. На глазах у всего населения фашистами расстрелян колхозник Попов Константин Арсеньевич. Всенародно на площади высечена розгами Елизавета Афанасьева за то, что ее дети играли на улице найденным патроном.

Гордо ходят вокруг машин окруженные колхозниками танкисты и пехотинцы, — они освободили тысячи советских людей из фашистского плена. С омерзением смотрят они на

валяющиеся вокруг скрюченные трупы немцев.

При занятии одного только Юрьева убито 140 немцев. Полностью уничтожен штаб батальона 502-го стрелкового полка. Захвачены все документы. Взято исправных пушек разных систем 14, автоматов — 93, винтовок — 297, минометов — 11, противотанковых ружей — 7, автомашин — 60, мотоциклов — 9, лошадей — 39, три склада при станции с боеприпасами, обмундированием и продуктами.

Так развернулись первые бои с фашистами, таковы первые трофеи.

VIII. «МАМОНТЫ» ПОШЛИ В АТАКУ

Теперь, когда прорвано последнее звено вражеской обороны, нам особенно дорога была каждая минута — надо было безостановочно преследовать врага, не давать ему никакой передышки. Но дороги и каждая капля горючего, каждый патрон и снаряд, без которых мы не могли продвигаться вперед.

Вот это-то как раз нас и задерживало. Цистерны с горючим и боеприпасами находились еще на последней переправе. Они должны были вот-вот подойти.

...Прямо на дороге встречено боевое питание для танков. Бойцы, несмотря ни на какую темень, все делали на ощупь. Они привычными движениями растягивали шланги, отвинчивали пробки, набивали кассеты тяжелыми снарядами. Делается все очень быстро, сноровисто. Каждому хочется захватить побольше, опередить другого. Никогда люди так не жадничают при раздаче консервов, сухарей, сахара, как при получении боеприпасов.

— Что, тебе лишнего снаряда на немца жалко? — с обидой упрекал начальника боепитания командир танка Калининцев.

Танкисты с КВ таскали боеприпасы с каким-то особым азартом, точно они никогда не видели снарядов. Они готовы были пихать снаряды за пазуху. Заряжающий Калининцева, Соловьев, стоял с двумя снарядами на руках, как с младенцами. Класть уже было некуда.

Танкисты с нетерпением ожидали хорошего горячего боя.

Майор Максимов, созвав команди-

ров экипажей, рассказал обстановку: немцы бежали в следующее селение С., но там, видимо, были остановлены подброшенными им резервными войсками и теперь готовятся к обороне. Задача — проломить их оборону и гнать дальше.

Астахов со своими машинами на первом этапе боя опять во втором эшелоне. Потом видно будет, где окажется нужней всего КВ.

...Незадолго до рассвета белые танки-мамонты и танки-малютки, облепленные и окруженные со всех сторон одетыми в маскировочные халаты пехотинцами и автоматчиками, двинулись в бой.

Перед селением открылось чистое поле. Тут немцы встретили нас огнем противотанковой артиллерии. Первые разрывы вражеских снарядов послужили сигналом к развертыванию.

Слежу за ходом боя с наблюдательного пункта пехотного командира: метким выстрелом немецкой пушки снесло башню одной из малых головных машин. Еще у двух подбиты гусеницы. Немцы видят свой успех, усиливают минометный и автоматный огонь по нашей пехоте. Бойцы залегают, танки стараются рассредоточиться...

Временная заминка в наших рядах становится слишком явной, чтобы ее не мог не заметить противник. Когда наши машины бросаются вперед, увлекая за собой пехоту, немцы засыпают их градом снарядов и мин, изолируя от пехоты. Немецкие роты с визгом и ревом пошли в контратаку.

В воздухе взвились две зеленые ракеты. Наконец-то долгожданный сигнал — вызов танкам КВ!

От моторного гула КВ содрогнулись земля и воздух. Из-за перелеска около дороги вырвались и пошли вперед развернутым строем танки-крепости. Немцы шквалом сплошного огня обрушились на них, но где там! Сухопутные броненосцы неумолимо двигались вперед через это огненное море.

Ободрилась и наша пехота: прикрываясь стальной грудью опередивших ее танков, она перекатами начала продвигаться дальше. На астаховской правифланговой машине взметнулся вверх белый диск люка. Три раза сверкнул красный флажок: «Третья машина, врывайся в деревню».

Третья машина лейтенанта Чиликина окуталась черным дымом. Затем до

нашего слуха долетел взрыв полного газа. И вот стальная мощная крепость с легкостью танкетки помчалась на третьей скорости прямо в лоб немцам.

Сильный бинокль позволял прекрасно видеть, как заматались в разные стороны ошеломленные немецкие артиллеристы. Они ведь били, они попадали, но это какое-то непробиваемое чудовище! Оно продолжает мчаться вперед и вот-вот раздавит их своею тяжестью. Танк врывается в околицу, делает разворот вправо и начинает давить фашистские противотанковые орудия вместе с уцелевшей в ровиках прислужгой.

Грохот разрывов вражеских мин и снарядов заглушен грохотом выстрелов танковых пушек, бьющих по новым и новым огненным точкам противника. От времени до времени появляется из-за домов и деревьев свирепствующая там чиликинская машина. Даже надпись видна: «С Новым годом!»

С Новым годом поздравили нас рабочие-кировцы!

Надписи «С Новым годом» — с одной стороны танковых башен, и «За Родину, за Сталина!» — с другой, мелькают на поле боя все чаще и чаще. Танки врзались в расположение немецкой пехоты, только что пытавшейся переходить в контратаку, и теперь утюжили ее с фланга на фланг, вминая в снег не успевающих отбегать бандитов.

Все пять КВ через четверть часа уже были в деревне и вместе с пехотой громили там немцев, застрявших в амбарах, на чердаках. Еще через четверть часа мы все были в деревне. А танки продолжали преследование противника дальше.

Перепуганная немчура в ужасе перед нашими танками убегала сломя голову в тыл. В последующих двух деревнях танкам не было оказано никакого сопротивления. Они прошли там триумфальным маршем. Слышно было только, как впереди гулко раздавались короткие очереди или одиночные выстрелы танковых пулеметов. Это наши добывали отставших и, видимо, перегруженных награбленным добром бандитов.

С утра мы продвинулись еще на 15 километров. Танки подходили вплотную к крупному населенному пункту и же-

лезнодорожному узлу, который немцы еще на самых подступах должны были наверняка защищать с особым остервенением. О крепком оборонительном противотанковом поясе в этом месте сообщила и наша разведка.

Астахов весь сиял.

— Плечи хоть немного расправились, настоящее дело почувствовали, — с удовлетворением говорил он.

Торжествовали и командиры остальных машин — Ефимов, Чиликин, Калинин, Гомозов. Экипажи старались пошире приоткрыть люки, чтобы явить всему свету свои, хоть и чумазы, но довольные, улыбающиеся физиономии, перекинуться лишним бойким словом с друзьями из соседней машины.

— Женя! — кричит Константинов во все горло из водительского люка Дормидонтову. — Скажи чего-нибудь там насчет немецких иллюзий.

— Никакой иллюзии — одни контузии! — отвечает под общий смех Дормидонтов.

...Рота получила на ходу новую, весьма ответственную задачу: клещами обхватить деревню Л. и, не ввязываясь там в бой с противником, прорваться на пять километров вперед, захватить железнодорожную и шоссеиную магистрали, по которым уже подтягивались колонны немецких подкреплений.

Майор Максимов садится в один из КВ. Двумя машинами он будет обходить деревню слева. Астахов с тремя — справа. Соединятся на дороге за деревней в тылу у немцев.

Деревня и в самом деле оказалась сплошным деревянно-земляным укреплением, каждое из которых имело мощные огневые средства от пулеметов до крупнокалиберных минометов и орудий.

— Крепкий сухарь. Если в лоб — зубы поломать можно. Верный вариант предложили танкисты, — говорит пехотный командир.

Идея обхода, сама по себе очень несложная, принадлежала Максиму с Астаховым. Дело ясное — овладеть сразу коммуникацией армейского масштаба это все равно что перерезать артерии в живом организме. Ради этого можно пожертвовать даже ближайшей, совершенно естественной задачей — блокировкой населенного пункта. Им займутся остальные машины батальона и то только с целью втя-

нуть в бой и отвлечь внимание от обходящих фланги машин.

Бой сразу же принял жестокий характер. С нашей стороны это была демонстрация, немцы же старались во что бы то ни стало преградить нам путь наступления. Немецкая противотанковая артиллерия создавала настоящие огневые валы сопротивления. Снаряды с воем и визгом рвались на небольшой открытой площади, чуть не в метре друг от друга. Происходила страшная артиллерийская драка пушек, стреляющих из танков, и пушек, стреляющих по танкам. А в это время совершалось совсем незаметное, но самое главное дело — проникновение тяжелых танков в тыл к немцам.

Вот уже и первый радиосигнал-донесение: «Деревню обошли, продвигаемся дальше».

По этим сигналам и по сведениям, идущим от пехотных начальников, можно было безотрывно следить за разворачиванием событий дальше. А события были таковы:

На всю пятерку КВ обрушилась было артиллерия одного из селений, находящегося справа от дороги. Этого танкисты не ожидали. Немедленно вязываться в бой—означало отказаться от выполнения задачи, имеющей армейский интерес. Майор Максимов и Астахов снова разделились: две машины под командой майора уходят вперед, три оставшиеся, под командой Астахова, подавляют деревню, мешающую продвижению.

Завязалась горячая схватка с артиллерией. Командиры орудий всех машин, повернув башни вправо, чуть ли не батарейным залпом били по ДЗОТам противника. Но ведь танки умеют не только бить, но и давить.

— Вперед! — скомандовал флажком Астахов, и тройка двинулась на деревню, на окончательное подавление немцев.

С ходу били из орудий и пулеметов по огненным точкам врага. Но вот из придорожных кюветов на танки, как саранча, стали бросаться небольшие группы пехотинцев—истребителей танков. Одни пускали по смотровым щелям ракеты для ослепления экипажа, другие на спине волокли тяжелые ящики с фугасами. Очевидно, это и есть «ударные пехотные отряды».

— Ага! По инструкции! — сообщают пулеметчики. — Сейчас мы по-

кажем, что и мы ее знаем не хуже вашего!

По истребителям дали несколько пулеметных очередей. Сразу же срезало половину расчетов. Но они все-таки подползли вплотную к танкам, и пулеметом нельзя было их достать из-за мертвого пространства. Тогда танкисты начали забрасывать их из люков ручными гранатами—«лимончиками», и это сразу расчистило место вокруг машин.

На танк Астахова удалось взобраться одному из истребителей. Радист Калиничева Шишов дал по нему такую меткую и красивую пулеметную очередь, что, по словам экипажа, немца с танка «как корова языком слизнула».

Все три «мамонта» продолжали двигаться вперед и давить в глубоком снегу фашистов. Трупы их устилали пройденный путь танков.

Вот уже и сами ДЗОТы, противотанковые пушки. Но под стальными лапами белых чудовищ все хрустит, как лесной валежник.

Раздавив по три-четыре ДЗОТа с десятками фашистов, застрявших в них, танки пустились догонять свои машины.

Те были далеко, — слишком увлеклись продвижением. Перескочив железную дорогу, они умчались на семь километров вперед по шоссе. Немцы перебрасывали там в это время до полка мотопехоты.

— Разворот влево! — скомандовал второй машине Максимов, и оба танка, как баррикадой, перегородили шоссе. Дорогу.

Командиры орудий мигом сообразили, что надо делать. Пока танки крутились налево, башни на 90 градусов повернули направо, — пушками на мотокolonну. Не понадобилось никакой команды и для того, чтобы открыть беглый артиллерийский огонь по перепуганным насмерть фашистам.

— Это был для них большой сюрприз, — рассказывал после майор Максимов. — Когда от первых залпов взорвались вместе с пехотой головные машины, то на остальных грузовиках ошеломленные немцы замерли, не зная, что делать дальше. Это как раз нам и нужно было, чтобы продолжать свое дело.

Мотокolonна, кое-как развернувшись, вынуждена была удрать обрат-

но, оставив девять разбитых грузовиков и несколько сот убитых и раненых фашистов.

В это же самое время Астахов со своими машинами, окончательно оседлав железную и шоссейную дороги, вел на них бой пять часов без передышки. Он не пропустил никуда ни одного поезда, ни одной автомашины.

Танк Гомозова стоял на самом железнодорожном переезде и вел огонь в оба конца железной дороги. Бой был явно успешным, и все-таки Гомозов остался почему-то недоволен.

— На что сердитесь? — спрашиваю Гомозова.

— Некрасивый бой получился.

— Какой же вам там красоты не хватало?

— Бронепоезд фашистский на меня было сунулся, а я, как дурак, залез на переезд и ни с места. Да еще пятток выстрелов дал в его сторону. Колеса ли обломать об меня побоялся или выстрелы повлияли, а только удрал назад и больше его не было видно. Слугнул я его зря. А какая бы драка красивая получилась! Танк с бронепоездом! Да разве доведется теперь еще раз так встретиться, — сокрушался Гомозов.

...Из боя вернулась машина Чиликина, так храбро сражавшаяся на дороге вместе с майором.

Бросаюсь к закопченным и опаленным разрывами люкам. В черной утробе машины вдруг мелькнули, как комья снега, пучки марли.

— Ранены?!

Из башни вынимали командира танка лейтенанта Чиликина с забинтованной и окровавленной головой. Но Чиликин, — очень сильный и рослый танкист, — увидев свет и вздохнув полной грудью, сразу ожил.

— Я сам, — тихо сказал он и, опираясь на плечи товарищей, стал на собственные ноги.

В голову был ранен и его командир орудия Мещанчиков. Осколки вражеского снаряда вырвали их обоих из строя, когда они открывали люк.

...Героически держался сегодня рядом с машиной командира роты Астахова экипаж Калиничева. В составе звена сухопутных броненосцев Калиничев устоял под напором и артиллерии и истребительных противотанковых фашистских отрядов. Восемнадцать раз Калиничев атаковал за день

фашистскую пехоту и все-таки захваченную дорогу не отдал обратно немцам. Искусный водитель его Дормидонтов выделял на поле такие головокружительные пируэты, что фашистские орудийные наводчики не успевали ловить его на панораму.

К концу боевого дня машина Калиничева пришла к сборному пункту со странным грузом: к выхлопным трубам на танке были плотно привязаны ремнями два человека: к одной — раненый, в одних носках, красноармеец, к другой — тоже раненый, но в больших русских валенках, фашист.

— Что это значит? — недоумевали бойцы.

— Переобуться их привез, ребята. Там не успели сделать! — ответил Дормидонтов. На одной поляне, где недавно происходил бой и где наступило некоторое затишье, Дормидонтов заметил ползущего по снегу раненого красноармейца. Только он подумал, как бы помочь этому бойцу, как из-за кустов вдруг выскочил и побежал к раненому долговязый сухой немец. Дормидонтов крикнул радисту Шишову:

— Стреляй гада!

Но немец набросился на раненого бойца, и у них завязалась рукопашная схватка. Стрелять было нельзя — убьешь красноармейца. Дормидонтов вне себя от злости на полном газу рванулся к месту борьбы.

Фашист уже успел стянуть с полуживого бойца его большие серые валенки и теперь торопливо натягивал их на ноги, сбросив рваные опорки.

— Коля, дорогой, не подведи, не упусти дьявола! — крикнул Дормидонтов.

Шишов видел, что красноармеец еще жив, но надо выждать, когда фашист отделится от него. Обувшийся в краденые валенки бандит поднялся и уже сделал два прыжка к кустикам. Но длинная звучная трель шишовского пулемета уложила его в сугроб.

— Забрать на машину раненого бойца! — отдал приказание младшему механику-водителю Соловьеву командир машины.

— И немца тоже! — крикнул Дормидонтов.

— Это зачем еще?

— На нем же наши валенки!

— Верно, забрать и его.

Дормидонтов завернул машину. Соловьев с Шишовым выскочили из люков, торопливо подхватили раненого красноармейца и немца. Писарев пристегнул их к разным трубам, и машина примчала их вот теперь сюда, в безопасное место, — переобуваться.

...Валенки были немедленно возвращены по принадлежности их настоящему хозяину — красноармейцу Нестеренко. Фашистскому же бандиту сделано серьезное внушение не повторять таких вещей больше никогда в жизни...

Боевая задача по перехвату немецких авто- и железнодорожных магистралей была выполнена. Нас сменили на этом ответственном посту подопевшие части нашей пехоты.

Сколько радости, веселых шуток, разговоров было бы теперь среди танкистов! Но сегодня не до торжества — из боя не вернулся лейтенант Астахов.

Я припоминаю его красивое лицо с упрямым лбом и серыми ясными глазами, — весь путь нашего знакомства с ним от заводского цеха, где он собирал свой танк, до исходного рубежа для атаки.

— Неужели погиб?

IX. СМЕРТЬ КОМИССАРА ХАРЧЕНКО

Замещать Астахова в сегодняшнем бою будет комиссар батальона Харченко. Эта весть мгновенно облетела все экипажи, приунывшие после потери любимого командира.

— Сам комиссар будет командовать нами! — оживленно передавали танкисты друг другу эту новость.

Сразу повысилось настроение, спорнее закипела подготовительная работа к предстоящему бою. Все прекрасно знали, что такое быть под командой этого бравого комиссара.

— За всех в танке умеет работать: хочешь — машину поведет, хочешь — стрелять из орудия будет.

— В Финляндии танковой ротой командовал.

— Оттуда-то и орден Красной Звезды.

— Девять ранений осколками в голову имел. Три, говорят, еще не вынули...

Комиссару Харченко, бывшему слесарю Донбасса с Константиновки, всего 35 лет, но он совсем седой, с глу-

бокими морщинами на лице. Тяжелое ранение в Финляндии оставило свой след. Но игривые синие глаза и румянец на щеках от крепкого морозца молодят комиссара.

Он был человеком, влюбленным в слесарное дело, в станок, в мотор, в боевую машину. Перед началом боев несколько дней назад он облазил вместе с помощником по технической части Бушковым и проверил лично сам все до одной машины, да еще успел починить патефон хозяйкиной дочке Насте в деревне, где стояли биваком.

И сейчас он снова возле машин, с которыми предстоит идти в бой. Оставалось 30 минут до выхода машин на исходный рубеж для наступления. Харченко позвал к своей машине все экипажи.

— Я командую вашей ротой, все знают? — хриповатым голосом спросил он.

— Знаем, знаем, товарищ комиссар, — бодро отвечали танкисты.

— Замечания, которые я сделал в машинах, все запомнили?

— Запомнили.

— Все исправили?

— Исправили.

— Чтобы мне драться сегодня в три, в четыре, нет, в десять раз злее вчерашнего! Во-первых, надо расквитаться за Астахова и его храбрый экипаж. Во-вторых, надо уложить не меньше сотни фрицев за двоих наших раненых Чиликина и Мешанчикова... У вас, товарищи, с вашими машинками уже есть славные дела. Ради славных кировцев, давших нам эти замечательные машинки, ради всех рабочих и колхозников, которые нам прислали подарки, ради Сталина давайте умножим эти дела! По машинам марш! — командовал он и сам сел в машину Ефимова.

Когда комиссар упомянул о полученных подарках, каждый танкист с волнением вспомнил день их раздачи. Сколько нежности, ласки, любви было в письмах, вложенных в посылки!

«Бейте фашистов беспощадно, деритесь храбро. Мы скоро приедем к вам на помощь», — писали двое учеников из средней школы, с Урала.

«На вас вся надежда, вам вся наша любовь и почтение», — написано детской рукой со слов неграмотного старика - колхозника из Челябинской области. Свое почтение старик подкре-

пил оригинальным подарком, попавшим как раз в руки комиссара Харченко. Это был большой кусок замороженного теста. Привезший подарки мастер цеха Челябинского завода тов. Попов рассказал, что у старика на сборном пункте сначала не приняли этот подарок. Ему пришлось пожаловаться на это в обком партии. На Новый год этот подарок был вскрыт комиссаром в присутствии танкистов. В тесте оказался замороженный жареный гусь, а в животе у гуся... поллитра водки.

Потехи было не только на наш батальон, но и на все соседние части.

Комиссар Харченко, показывая гуся, сказал тогда:

— Чуετε, что это такое? Это кровная любовь, это преданность, объяснить которую даже слов нехватает. На эти подарки мы ответим уральцам своими подарками — боевыми успехами на фронте.

И комиссар весело добавил:

— А уж старик-уралец может быть уверен, что за одного замороженного гуся — сто замороженных фрицев будет обеспечено!

...КВ ушли в бой. Они целый день сражались на подступах к крупному населенному пункту, истребляли живую силу врага, пытавшегося несколько раз контратаковать наши войска. Танкисты с особым искусством утюжили залегшую в снегу немецкую пехоту. Фашистские стрелки и пулеметчики не успевали удирать от налетавших на них танков. В рыхлом снегу они тонули, как в глубокой тине, — вытащит одну ногу, застревает другая. А тут-то их как раз и настигает карающая стальная громада советского «мамонта», вдавливая всем своим 50-тонным весом не только в снег, но и в землю.

Машина комиссара всем подавала пример. Да и вел ее самый лучший водитель — Константинов.

Во время боя в башню слева ударил тяжелый немецкий снаряд. Он оглушил, контузил командира орудия Кустова и радиста Ведищева. Тогда, чтобы не прекращался пушечный огонь танка по пойманной цели — крупному блиндажу, комиссар сам стал за орудие и дал десяток выстрелов, пока не уничтожил мешающую продвижению огневую точку.

Но вот в одном месте танки двинулись совместно с пехотой на штурм сильно укрепленного рубежа немцев. Надо было от имени танкистов обратиться к пехотинцам с коротким призывом не отставать, взять совместным ударом немецкие укрепления во что бы то ни стало.

Комиссар Харченко откинул верхний люк.

— Вперед! За нами, храбрые пехотинцы! Смерть фашистским гадам! — крикнул он.

Фашистский снаряд со звоном разорвался на командирской машине. Люк сразу захлопнулся. Комиссар умолк. Машина в тот же миг рванулась в атаку, и пехотинцы, видя, что комиссар уже повел их на штурм, с криками «ура» ринулись за четверкой могучих танков.

В двадцатиминутной схватке решился исход боя. Танки свободно дефилировали по немецким блиндажам и окопам, пехотинцы прикалывали штыками сопротивляющихся фашистов.

— Вот это танкисты! — восхищались пехотинцы храбростью боевых друзей.

— Вот это славная пехота! — возторгались танкисты.

— А комиссар-то, комиссар-то какой! Герой настоящий!

...Танки вышли из боя и возвращались на сборный пункт для заправки и пополнения боекомплектом.

Головная машина, как показалось мне, почему-то шла очень тихо и вяло, а из откинутого люка пока не видно было веселого лица комиссара, и никому не понравилась эта медленная, тягучая походка танков, будто потерпевших серьезную аварию.

— Что случилось? — тревожно крикнули мы, бросаясь навстречу.

Но голоса наши потонули в гуле моторов, как птичий голос во время грозы. Машины стали и тут же были заглушены, как по команде. Танкисты разом показались из люков и неуклюжими движениями начали снимать с себя кожаные шлемы.

И вот в сумеречной тишине прозвучали скорбные слова какого-то командира:

— Товарищи! У нас нет больше нашего комиссара!

Я видел, как плакали люди, не боящиеся смерти. Комиссар Харченко был

Х. ДВОЕ СУТОК В ОСАЖДЕННОМ ТАНКЕ

убит разрывом снаряда в открытом люке в тот момент, когда он призывал пехотинцев не отставать от танков, взять немецкие укрепления совместным решительным штурмом. Его слова, прогремевшие по всему полю, — «Смерть фашистским гадам!» — были последними его словами.

Уже мертвый, комиссар вел бойцов в атаку. Механик-водитель Константинов умчал тело комиссара вперед: люди видели, как белоснежная комиссарская машина, словно вихрь, врывается в глубину немецкой обороны, сокрушая все на своем пути. В танке лежало бездыханное тело Харченко, но он оживал в том боевом вдохновении, которое охватило бойцов. Константинов понимал, что никто еще не знает о смерти комиссара — все думают, что он жив и показывает своим примером, как нужно драться. И механик-водитель, стиснув зубы, бросал машину с недвижно лежащим комиссаром в самые опасные места. За ним, за танком комиссара, следовали другие машины, и эта сила была столь неукротимой, что через час с лишним от немецкого укрепленного пояса остались лишь обломки.

...Вечером состоялись похороны комиссара. Над могилой командир батальона Максимов призывал бойцов к беспощадному мщению немцам за смерть любимого комиссара.

— Я лишился своего лучшего помощника, изумительного большевика-комиссара. Но я уверен, что в каждого из вас он успел влить долю своих замечательных качеств, которые вы и проявите в предстоящих боях!

— Я клянусь быть таким, как наш комиссар! — торжественно произнес водитель Константинов.

Троекратный оружейный салют проводил комиссара в могилу.

В этот день подали заявления в партию отличившиеся в боях с врагами родины Большунов, Тендитный, Кононов, Гордеев. О приеме в члены партии подали заявления и Константинов, Гомозов, Кустов.

На смену погибшему большевику-комиссару в партию пришли им же воспитанные преданнейшие молодые патриоты нашей родины. За смерть героя-комиссара они отомстят стократно!

Командование батальона принимает все меры к тому, чтобы найти танк командира Астахова. Но идут уже вторые сутки, а его нигде нет, нет и на поле боя, где его видели в последний раз.

— Неужели подбили и увели к себе немцы?

Снова и снова посылали разведку вперед — к линии обороны немцев, но результатов никаких.

Машины снова ходили в бой, возвращались из боя, и всякий раз первым вопросом вернувшегося экипажа было: «Не слышно ли что про командира?»

Младший механик-водитель Кнутов переживал эту потерю особенно остро. Он и не скрывал своих чувств: Кнутов молча отходил к своей машине, облакачивался на гусеницу и, застынув вместе с нею, тихо плакал. В машине остался его лучший друг, с которым он служил все время в одной части, — Леонид Киреев. Они очень любили друг друга. Даже письма домой писали сообща. Припоминается, как в теплушке от завода к фронту они лежали на нарах рядом и о чем-то подолгу говорили.

Так же, как и вчера, снова вернувшись из боя, стоял Кнутов около своей машины и грустил. Товарищи приглашали его обедать — есть вкусные подогретые консервы, но он упорно от всего отказывался.

И вдруг радостная весть:

— Живы астаховцы!

Кнутов побежал на командный пункт. Сюда сбежались уже многие. В окружении танкистов перед командиром сидели на подстеленном брезенте черные, худые, с провалившимися глазами раненный в руку Приданников и водитель Астахова Тендитный.

Они рассказали:

— Машина в позавчерашнем бою вырвалась далеко на фланг немецкой линии обороны и оттуда вела удачный фланкирующий огонь по всему переднему краю. Но вот тяжелым вражеским снарядом разбито ведущее колесо. Машина вертится на месте. Увидев это, немцы обрушили на нас огонь всех своих батарей. В машине целый час стоял сплошной гром от

ударяющихся о броню и рвущихся снарядами. Заглох мотор, застопорилась пушка. От своих войск нас скрывала роща, и мы не могли подать никакого сигнала. Наконец немцы прекратили артиллерийский огонь и чуть ли не целым батальоном с гранатами и фугасами бросились к нашему танку.

— Только со ста метров стреляйте! — несколько раз предупредил всех Астахов.

Три наших пулемета, наведенные на немцев, молчали. Ребята выгадывали метр за метром, секунду за секундой, чтобы побольше скосить.

В танк полетели первые ручные гранаты, и мы, точно по сговору, обрушили на фашистов трехствольный пулеметный залп. Немцы залегли, но продолжали подбираться ползком.

Мы били их поодиночке. Проволялись так несколько часов, старались не тратить много патронов, каждый сознавал, что теперь в каждом патроне — наша жизнь.

К вечеру немцы откатились на двести метров в свою сторону. Астахов приказал Кирееву:

— Покидай танк, ползи к своим, проси о помощи.

Старший сержант Киреев, забрав пяток ручных гранат, открыл осторожно люк и осмотрелся. Кругом тишина. Он соскользнул на снег, завернул за машину и пропал безмолвно в ночной темноте.

Ночью немцы небольшими группами подкрадывались к танку, но близко не подходили. Нас очень удивляла их свехосторожность, ведь темнота же им помогает, почему они не хотят ни поджигать, ни взрывать танка?

— К себе увезти собираются, — догадались мы.

Занималось утро, но о Кирееве ничего не было слышно. Астахов снова приказал:

— Приданников и Тендитный, готовьтесь уходить к своим. Задание то же, что и Кирееву.

— Товарищ командир, разрешите остаться с вами до конца и погибнуть, если нужно, — попросили мы Астахова. Но ведь вы знаете, какой он...

— Вот этого как раз и не нужно — погибать. Хватит вот нас двоих с Махалевым. Уходите!

Вооружившись гранатами, мы тихонько покинули машину. Метров

двести на животах ползли к лесу, а как попали в рощу, пустились по компасу бегом в свою сторону. Вот мы уже и здесь...

К подбитому танку снарядили небольшую экспедицию из трех человек, среди которых был и Тендитный. Она должна была выбрать подходы буксировочных танков к машине Астахова. А кроме того, экспедиции поручалось пробраться в самый подбитый танк с мешком продуктов для Астахова и Махалева.

Командир батальона майор Максимов написал Астахову записку: «Товарищ Астахов, гордимся вашим поведением. Мы поможем. Ночью или завтра эвакуируем. Держитесь. Будьте здоровы. Максимов».

Старший сержант Кнутов подошел к комиссару тов. Щербак и попросил включить и его в экспедицию. Комиссар разрешил Кнутову снаряжаться и идти к танку.

Экспедиция ушла в сторону немцев. Немцы открывали суматошный пулеметный огонь всякий раз, как только замечали движение на горизонте. Всю ночь они перекрестным огнем пулеметов, а иногда и выстрелами из минометов, прикрывали подход к танку. Танкисты заметили, что немцы проводили в это время вокруг подбитого танка какие-то странные инженерные работы.

— Что бы это значило?

С наступлением утра немцев на поле почему-то совсем не стало, — вокруг танка не было ни души.

Командир батальона решил, несмотря ни на что, приступить к эвакуации танка. Прошло уже 48 часов, как танк находится во вражеском окружении... И вот, когда буксировочные танки готовились выскочить на помощь Астахову из рощи, в которой они притаились, точно из-под земли вырос сам Астахов.

— Товарищ командир, откуда?

— Из машины.

— А мы к ней.

— Нельзя!

— Как нельзя?

— Сейчас нельзя, погибнете. Танк заминирован.

И Астахов рассказал: всю ночь немцы работали вокруг его машины, закладывали в отдалении от нее (а не под нее) ящики с фугасами. Астахов разгадал тогда их коварный за-

мысел: немцы хотели подорвать не его подбитую машину, а те, которые должны обязательно притти сюда для буксировки.

«Надо предупредить своих», — решил Астахов и отослал с этой целью последнего члена экипажа Махалева.

Оставшись один, Астахов заметил, что из рощи к нему все-таки намереваются подойти буксировочные машины. Немцы в это время нарочно спрятались, чтобы не мешать подходу танков к месту своей гибели.

Астахов принимает последнее решение: покинуть танк. Это очень тяжело — бросить родную машину. Он никогда бы этого не сделал, но ради спасения других машин и многих жизней дорогих ему товарищей он все же покинул машину, предварительно испортив оружие и забрав с собой последний пулемет. Он во-время приполз к буксировочным танкам и предупредил их о грозящей опасности.

Через некоторое время появился и Махалев. С помощью специального подразделения саперов удалось немного позднее благополучно эвакуировать подбитую машину. Хитрая затея фашистов, благодаря бдительности и смелости командира машины, с позором провалилась.

Через несколько часов после этого, к великой радости всех экипажей с КВ, а особенно Кнутава, нашелся и пятый член экипажа — старший сержант Киреев. Отправленный с заданием командира, он сбился с пути и двое суток бродил по лесу, не зная, на своей ли он территории или в тылу у немцев. Санитары одного из стрелковых полков подобрали в лесу легко раненного в ноги Киреева.

За двое суток своего пребывания в самом логове врага экипаж Астахова истребил более сотни фашистов. А до того, как он был подбит, раздавил две батареи, стоявшие на открытых позициях, и разрушил снарядами четыре ДЗОТа.

И вот все бойцы снова в сборе. Сидят в большой хате на полу на брезенте и любовно чистят механизмы танкового оружия. Точь-в-точь такими я их видел в цехе Кировского завода на сборке танков.

Сидели они тогда и перебирали да смазывали пулеметы, проверяли электроаппаратами различные танковые приборы.

— Ну, как, будут работать? — дружески спросил зашедший в цех тов. Зальцман.

— Будьте уверены, товарищ Зальцман. Раз из ваших рук, да в наши руки — заработают классически!

XI. ВПЕРЕД, СО ЗНАМЕНЕМ СОВЕТОВ

В освобожденных деревнях и селах нас первыми встречают партизаны. Немцы еще не выбиты из деревни, ворвавшиеся в нее танки с пехотой крушат последние точки сопротивления, с чердаков и из подвалов еще продолжают палить фашисты, а уж откуда ни возьмись, рядом с танками, плечом к плечу с пехотинцами появляются люди с автоматами, гранатами и пулеметами в руках. Это — местные партизаны. Они помогают войскам выковыривать и уничтожать остатки фашистской нечисти.

Они знают все закоулки, погреба и подвалы деревни и давят фашистов, точно клопов морят в собственной избе, в давно знакомых пазах и щелях.

Деревня очищена. К группе партизан подбегает наш Беланчевадзе.

— Шатерчик! — кричит он молодому мужчине в черном пиджаке, отдающему какие-то распоряжения.

Мужчина обернулся и долгим испытующим взглядом посмотрел на Беланчевадзе. Затем он весь вдруг загорелся, с детским восторгом воскликнул:

— Николка! Ты ли это?!

Друзья расцеловались. Бывшие студенты Московского технологического института узнали друг друга. Ласково звучит старая институтская кличка «Шатерчик».

— Так ты партизан, значит, Шатерчик? — спрашивает Беланчевадзе.

— Как видишь. Даже комиссар отряда. Вот познакомься, командир отряда.

— Анатолий, — подавая руку Беланчевадзе, представился командир отряда, невысокий, круглолицый, с командирской выправкой мужчина, с немецким автоматом за спиной.

— Где же вы побывать успели? — допытывался Беланчевадзе.

— Вот здесь и были, — широким жестом вокруг показал комиссар. — Вам продвигаться помогали.

— Как, нашим танкам?

— Вот именно. Тоня! Галя! Борис! Митя! — крикнул комиссар, и к нему подбежали молодые партизаны и партизанки.

— Вот они как раз переходили фронт, разведали и порекомендовали вам путь, по которому вы сюда и добрались.

Мы сбросили рукавицы и крепко-накрепко с благодарностью пожгли руки нашим молодым друзьям.

Трое из них оказались «сродни» нашим танкистам — бывшие шоферы, трактористы. А Тоня — бывшая швея, ныне лучшая автоматчица отряда.

— Мастерича художественной строчки по немцам! — шутливо рекомендовал ее комиссар.

Партизаны рассказали о своих героических делах в тылу у немцев. У них погиб первый командир отряда, бывший директор маслозавода тов. Томсон. Зато его смерть жестоко отомщена: отрядом убиты сотни фашистов.

Когда убили командира отряда, пожилой партизан-колхозник тов. С. поставил себе целью добыть поруганное тело командира из деревни и похоронить его. Тов. С. пробрался в деревню, нашел там, вблизи немецкого штаба, еще неубранный труп командира. Он забросал гранатами окна штаба, а сам во время суматохи увез на салазках тело командира. Любимый всеми командир был торжественно похоронен в лесу, в присутствии всего отряда.

...В освобожденном нами селе Подборовье состоялось собрание колхозников совместно с танкистами. Выбрали депутатов в сельский совет.

К одной из уцелевших от немецкого разгрома хате пришли советские люди, пробывшие более трех месяцев под игом фашистских вандалов. Большинство среди них — женщины. Немало стариков и ребят. Мужчины на войне.

Как и в былое время, стол президиума накрыт красной материей. На столе — портрет товарища Сталина.

Перед выборами депутатов в сельсовет прочитали акт о зверствах, учиненных фашистами в Подборовье.

Гневно звучит в морозном воздухе

голос чтеца Чебыкина — радиста партизанского отряда.

«...Немцами сожжено за время своего властвования 78 домов. Расстреляно и повешено 42 человека: Демичев Иван Федорович — председатель сельсовета, Демичева Надежда Федоровна — активистка сельсовета, Сергухина Александра Тимофеевна, Иванова Валентина Николаевна, Захарова Степанида Яковлевна, Кушнарев Николай Васильевич...»

Бойцы сжимали кулаки. Казалось, вот-вот без приказа и команды сорвутся они с места, бросятся к машинам и умчатся снова в бой — стрелять, давить, крушить ненавистных палачей и разбойников, мстить за поруганную честь советских граждан.

Говорит жена красноармейца Карпычева. Плача и волнуясь от радости, она искренне приносит бойцам Красной Армии слова благодарности за подаренную ей и ее односельчанам свободу.

— Мы все время надеялись, что снова увидим белый свет и вас, наши родные. Знали, что нас освободят. И вот он! Он! Наш освободитель! — взволнованно воскликнула она, указывая на портрет Сталина.

— Вы ведь поди прямо от него под наше Подборовье-то подкатили? — кивая на портрет, спросила у ближнего танкиста старушка.

И танкист не без гордости, конечно, подтвердил, что их действительно послал сюда товарищ Сталин.

Собрание выбрало депутатов в сельский совет: Карпычеву, активно помогавшую партизанам за все время немецкой оккупации, 52-летнего Алексева, догола ограбленного немцами, Демичева — бывшего члена правления колхоза и партизана-радиста Чебыкина.

На имя товарища Сталина было составлено и всеми колхозниками подписано трогательное благодарственное письмо, которое заканчивалось словами:

«...И еще раз низко кланяется Вам, товарищ Сталин, вся наша округа со всеми селами и деревнями, колхозами и хуторами.

И несчетно раз шлем благодарение Вам, нашему отцу-освободителю, за то, что сбросил с нас трижды проклятую фашистскую немчуру.

Живи веки вечные наш дорогой и родимый Сталин!

Пускай живет и крепнет и бьет врагов нещадно и днем и ночью, и на земле и на небе, и на воде и под водой наша могучая Красная Армия!»

Вновь восторжествовало алое, всепобеждающее знамя Советов.

— Да здравствует советская власть! — воскликнул кто-то.

— Да здравствует великий Советский Союз! — откликнулись десятки голосов.

И троекратное наше «ура» разнеслось по всей округе, по лесам и долинам и покатилося вперед, в сторону немцев, как грозное предупреждение о скорой и окончательной их гибели.

Северо-западный фронт

Слово о матери-родине

Благословен тот день и час,
Когда раскинулась коврами
Земля, которую Тарас
Босыми исходил ногами,
Земля, которую Тарас
Горючими омыл слезами.

Благословенно в болях ран
Степей раздолье, ширь степная,
Плывущая, как океан,
Херсона стены окаймляя,
Свой молодой, девичий стан
К Днепру могучему склоняя.

Благословенна будь в веках,
Как солнце в глуби небосвода,
Как птичий голос в облаках,
Ты, песня, — скорбь и смех народа.
Отвагу будишь ты в сердцах,
Когда нависла непогода.

Благословенны вы, следы,
Несмытые волной тревожной,
Мечтателя Сковороды,
Бредущего с сумой дорожной
На поиски живой воды
Своей дорогой непреложной.

Благословен мечей стальных
Огонь — отчизны честь и слава,
И топот конников лихих,
И моря пенная держава,
И «Энеиды» колкий стих,
И тихие сады Полтавы.

Как гром, звучащие в века
Шевченка строки огневые,
И молот мудрого Франка,
И струны Лысенка живые,
И лавр бессмертного венка
Вкруг Заньковецкой, вкруг Марии.

И труд, и пот благословен,
И все плоды земного сада,
И кленов придорожных плен,
И строгий огонек лампы,
И вдоль седых кремлевских стен —
Знамен багряная ограда.

Благословенна синь озер,
И Псёл, и терпкий дух полынный,
Народ, которого не стер
И не сотрет наскок звериный.
Благословенна меж сестер
Та, что зовется Украиной!

Кто глубину днепровских вод
Расплещет хитростью лукавой,
Кто клады, что сберег народ,
Расхитит силою неправой,
Кто сердца самый чистый плод
Отравит черною отравой?

Настанет день, настанет час,
И разольется вновь медами
Земля, которую Тарас
Своими освятил делами,
Земля, которую Тарас
Своими окрылил словами.

Ужель судьба погибнуть ей,
Потопленной в крови багровой,
Когда зовет и шум ветвей
На правый бой, на бой суровый,
Когда жива она в своей
Семье — великой, вольной, новой?

Как опадут ее цветы,
Когда настало время сева,
Когда, с низин до высоты,
Лисицы брешут на щиты,
И кличет Див с вершины древа?

Кто посмеется над струной,
Где скрыта память о Баяне,
Кто запахи травы степной
Погасит в гнилом тумане,
Кто гробовою пеленой
Оденет Киев наш и Канев?

Рокочет Днепр, шумит Сула,
В Карпатах отзвук отдается,
И зов подольского села
К Путивлю древнему несется.
Иль совы заклюют орла?
Нет, правда кривде не сдастся!

Дрофы

Рассказ

1

Выпал глубокий снег не только в степной части Крыма, но и на южном берегу тоже, однако дрофы, степные птицы, обычно зимующие в Крыму, не хотели этому верить. Перелетев через горный хребет, они кружились над побережьем стаями в несколько штук, но иногда и в одиночку, отбиваясь от стай, — в поисках незащищенной земли, где могли бы поспастись неделю — другую, пока не стаял бы снег.

Напрасно, — не было ни клочка, не закутанного в белый саван.

Вытянув ноги и шеи, огромные, серые, на широких черных, с исподу белых, крыльях они носились даже и над морем, точно решившись в отчаяньи перемахнуть через все море к берегам Анатолии, однако пораженные неоглядностью моря возвращались снова к неприютному пляжу, облизанному слабым прибоем.

Они замечали в горах темные полосы и неслись, шумно рассекая холодный плотный воздух, туда, но эти полосы были обрывы, отвесные скаты голых скал, на которых можно было кое-где присесть для отдыха, но не встать: на этих обрывах не рос даже и мох.

Выбиваясь из сил, дрофы садились прямо на снег не только в лесу на полянах, но даже и невдалеке от людского жилья: они теряли уже представление об опасности от людей, потрясенные катастрофой, грозившей им всем смертью от голода.

Не от холода, потому что холодно не было. Циклон, принесший сюда снежные тучи, сменился затишьем.

Небо было чистое, высокое, зеленоватое над горами, где садилось уже солнце.

По шоссе вдоль берега моря, на довольно значительной, впрочем, высоте над ним, шла небольшая легковая машина, которая везла двух немецких штабных офицеров — майора и оберлейтенанта.

По шоссе тут часто ходили грузовики и легковые автомобили, — снег был достаточно примят, густого леса по обеим сторонам не было, — только кусты от пней срубленных деревьев, поэтому, несмотря на извилистость, шоссе, хотя и не на всех участках, все-таки было видно и взад и вперед. Около татарской деревни километрах в двух, на спуске к морю, офицеры немецкие заметили толпу мужчин и женщин с лопатами — там чистили снег с дороги.

— Какой первобытный народ эти татары, — ффа! — сказал, презрительно сморщив холодное лицо, оберлейтенант. — И не то чтобы ленивый, но совершенно ничего не умеет делать!

— Ничего, мы их научим работать, — процедил сквозь зубы майор, стряхивая пепел с папиросы, и добавил значительно: — Я говорю «мы», — германцы, так как не допускаю даже и мысли, чтобы Крым был отдан этим мамалыжникам-румынам!

— Действительно, подумать только: отдать такую страну чорт знает кому! — несколько деланно возмутился оберлейтенант. — Пусть, конечно, тешатся надеждами, но мы не такие дуруни.

— Как только стает снег, надо будет поохотиться на диких коз и оле-

ней в этих горах, — сказал майор, мечтательно вглядываясь сквозь окошко в вечеряющие, подернутые уже синими тенями леса на горах.

— Я слышал, что здесь много развели муфлонов, а ведь шкуры этих диких баранов превосходны для полушубков, — поддержал его обер-лейтенант.

— Да, этот вопрос нужно поднять в штабе неотложно, чтобы не предупредили нас ни мамалыжники, ни итальяшки... Тут даже и белки и куницы есть в этих лесах, а я имею сердце заядлого охотника и не могу никак выбрать времени для охоты, — пожалел себя майор, докуривая папиросу.

Как раз в это время он заметил тяжело и низко пролетевшую мимо дрофу и крикнул шоферу:

— Стой! Дикий гусь!..

Майор был грузноват, но выскочил из машины с большой легкостью и тут же выстрелил из револьвера, не целясь, в том направлении, куда летела дрофа. До нее было уже далеко. Мгновенье... и она скрылась за деревьями, но майор выпустил еще две пули ей вслед просто так, с досады.

Обер-лейтенант тоже вышел и тоже вынул из кобуры свой револьвер, оглядываясь, не налетит ли еще дичь, и сказал в утешение майору:

— Охотиться с револьверами в руках можно только за партизанами.

Но майор был безутешен.

— Экая досада! — вскрикнул он. — Конечно, если бы было у меня в руках ружье, то... А что касается этих здешних партизан, то вы сами знаете, как они притихли, когда мы повесили их укрывателя лесника!.. Вон они где летят, эти дикие гуси, — над морем! — показал он рукой на стаю дроф, действительно тянувших далеко внизу над самым морем: они высматривали оттуда место на берегу, где бы можно было им усесться на ночь.

Оглянувшись кругом и увидев, что «диких гусей» поблизости больше нигде незаметно, майор сказал весьма рассерженно и твердо:

— Нет, эту превосходную базу для нашего натиска на Индию мамалыжники не получат!

При этом он сделал энергичный жест в сторону Батуми, потом еще энергичнее, так как наступили уже сумерки,

втиснулся в машину. И шофер приготовился уже тронуться дальше, когда неожиданно из-за поворота шоссе показались двое подростков с дубовыми толстыми дубинками в руках; через плечо у одного из них была перекинута дрофа, которую он держал за длинную шею.

— Ага, — торжествующе сказал майор. — Вот он тот самый гусь, в которого я стрелял! — И выскочил из машины снова.

2

Для отряда партизан, скрывавшегося в горах, глубокий снег внезапно не был: отряд этот состоял в большинстве из местных людей, отлично знавших, что снег в Крыму хотя и недолго держится, но выпадает ежегодно. К зиме вообще отряд приготовился с осени, — все в землянках были сыты, запасы были вплоть до апреля, одеты были все тепло. Однако глубокий снег затруднял действия отряда, не имевшего лыж. Бушевавшая в лесах несколько дней подряд метель мало того, что замела все тропинки, она завалила местами и балки так, что в них можно было утонуть с головой.

В то же время до партизан дошел слух, что десантный отряд, переправившись через пролив с Таманского полуострова, вышиб немцев и румын из Керчи, занял ее и движется глубже в Крым.

Чтобы проверить этот радостный слух, и были посланы начальником отряда двое подростков на берег моря, к ближайшей из татарских деревень.

Конечно, ожидалось, что должны начаться передвижения сил оккупантов по шоссе на восток, навстречу войскам Красной Армии, и начальник отряда планировал, что можно было предпринять партизанам по части минирования дорог, взрыва мостов, нападения на обозы и прочего, что могло тормозить действия врагов.

Подростки — Митя и Васюк — не один раз уже ходили в разведку осенью. Это были сметливые и крепкие ребята. Перед тем как выпал снег, они также вдвоем ходили в разведку и принесли очень важные сведения, сообразно с которыми отряд сделал засаду ночью на лесном участке шоссе, подбил на заре гранатами два танка и пять автомашин с людьми и бое-

припасами и захватил пулеметы и несколько ящиков патронов к ним, не считая автоматов и другого оружия.

Ожидали тогда, что немцы пошлют с разных сторон в горы карательные отряды, и приготовились к решительным боям, но, углубившись на несколько километров в горные леса, карательный отряд в тот же день повернул обратно: оставаться на ночь здесь явно сочли опасным и ограничились только тем, что ограбили домик лесника и сожгли его.

С одной из гор, на которой именно и были землянки партизан, привыкли видеть в бинокль на лесной просеке беленький домик лесника Акима Семеныча, обстоятельного человека, с которыми держали связь. Все леса на горах, — до двадцати тысяч гектаров, — были заповедником, и подобных домиков в разных местах разбросано было около десятка. Аким Семеныч жил ближе других к береговому шоссе. У него была семья, хозяйство — корова, телка, свиньи. И вот домик этот горел, — это видели, и всем было ясно, что зажгли его немцы. О том, что закололи свиней и увели корову и телку, догадаться было нетрудно. Но только в этот день Васюк и Митя увидели, подойдя близко к пепелищу, полузасыпанному снегом, что сделали с самим Акимом Семенычем и его семьей.

Всегда такой неторопливый и в движениях и в словах, сильный с виду, высокий человек, рыжебородый, лет пятидесяти пяти, давний житель леса, больше чем кто-либо другой знавший все его тайны, он неподвижно висел теперь на суку большого бука, склонив голову набок. Руки его были связаны сзади; босые ноги почти касались снега, а около них были частые лисьи следы. Линялая розовая рубаха замерзла в запорошенных снегом складках, и на ней заметны были белые полосы птичьего помета.

Лисьи следы особенно густо перекрещивались около развалин сгоревшего домика и сарая, и когда юные разведчики подобрались к ним поближе, то отшатнулись: жена лесника, не старая еще женщина, — ее звали Аксиньей, — и трое ребят, — старшей девочке было на вид лет двенадцать, — заживо сожжены были тут карателями, и теперь на останках их пиروвали по ночам лисицы, — те самые,

которые пробегали под босыми ногами повешенного лесника, пока не трогая их — оставляя их про запас.

Аким Семеныч был охотник, как все лесники, но стрелять в заповеднике строго запрещалось, чтобы не пугать его обитателей, однако охотиться на лис разрешалось, так как они истребляли молодняк диких коз и муфлонов (волки, как и шакалы, в Крыму не водятся). На лис лесники ставили тут капканы, и несколько десятков их за свою долгую жизнь в лесу поймал Аким Семеныч, — теперь на лисьей улице был праздник.

Митя и Васюк были так поражены увиденным, что ничего не сказали друг другу и только крепче сжали свои толстые дубины, которыми при ходьбе щупали, сколь глубокий снег.

Митя был немного старше Васюка, — почти шестнадцати лет, он же был и за старшего в разведках. Оба родились в одном городе, — здешнем, и учились до войны в одной школе. От товарищей своих детских игр, татар, они научились говорить по-татарски и по общему — оба кареглазые, чернобровые — могли сойти за татарских парней. Это было тоже очень на руку отряду: в деревнях разведчиков принимали за своих даже старики.

В ближайшей к лесной сторожке татарской деревне узнали они, что лесника и жену его долго пытали и мучили немцы, чтобы добиться от них, где обосновались партизаны, но ничего не добились. Вместе с тем в деревне царило радостное возбуждение: все там таинственно улыбались, подмигивая на восток к Феодосии и Керчи. Кто-то уверял даже, что Красная Армия теперь уже в Карасубазаре; можно было и не верить этому, но важно было то, что об этом говорилось с ярким сверканием глаз. Стороной удалось кое-что важное узнать и насчет движения войск на восток.

Направляясь уже обратно, молодые разведчики чувствовали себя разбухшими: им казалось, что и на засыпанной снегом земле своей они занимают несравненно больше места, чем раньше. Нужно было только так же удачно войти с шоссе в лес; за дорогами и даже тропинками, которые протоптали в снегу дровосеки из деревни, скрытно наблюдали немецкие солдаты.

Разведчики пробирались по обочине шоссе, выжидая, когда стемнеет на-

столько, что можно будет, хоронясь за пышными дубовыми кустами, не обронившими еще своих тяжелых листьев, проскользнуть в балку и по краю ее выйти к нужной тропинке до наступления ночи. Ночь обещала быть светлой, и заблудиться они не могли. На дрофу, сидевшую по самые крылья в снегу, они наткнулись неожиданно для себя.

— Смотри! Дрофа! — крикнул Васюк, а Митя уже пустил в нее свою дубинку как раз в тот момент, когда она силилась подняться.

— Еще дрофа! — возбужденно, но уже тише, сказал Васюк, кивая в сторону летевшей невдалеке от них другой дрофы, в то время как Митя вытаскивал из снега убитую.

Тут-то и раздалась с шоссе три револьверных выстрела один за другим, и юнцы вопросительно посмотрели друг на друга.

Стрелять могли только немцы и только в них, между тем отсюда не видно было шоссе, значит, не видно и немцев. Но если не видели немцев они, значит, не видели и их немцы, — в кого же те стреляли?

Был момент смертельной опасности, когда нельзя было двинуться с места, чтобы себя не обнаружить, и все замерло в обоих, но Митю озарила вдруг догадка, что немцы стреляли в ту самую дрофу, которая пролетела, и, когда он высказал эту догадку, пробудилось в обоих мальчишеское любопытство удачливых охотников к охотникам неумелым. Вот тогда-то, взвалив дрофу на плечи, Митя первым двинулся на шоссе, а Васюк, не спросив даже его, зачем это, пошел за ним.

3

Сама очевидность была против торжествующего восклицания толстого немецкого майора: и лейтенант и шофер видели, что дичь не была убита, что она скрылась где-то далеко, откуда ни в коем случае не могла быть принесена так мгновенно; но чересчур сильно хотелось майору, чтобы было именно так, до того сильно, что он забыл и о времени и о пространстве.

— Ага, мальчишка, давай мой гусь!

Он смотрел весело на Митю, протягивая к нему руку в коричневой перчатке.

— Это не гусь, — это дрофа! — не-

вольно улыбнувшись такому незнанию немцем обыкновенных вещей, заметил Васюк, но Митя с большой готовностью скинул с плеча дрофу и протянул майору, сказав в тон ему весело:

— Мы же это видели, как вы стреляли!.. Вот куда попали, глядите, — в голову!

И хотя майор стрелял вслед дрофе и при самой счастливой случайности в голову ей попасть никак не мог, он тем не менее оживленно показывал лейтенанту разбитую тяжелой дубиной голову дрофы и раза три повторил с чувством:

— Вот это — выстрел!

— Однако эта птица — не гусь, — она больше гуся, — сказал лейтенант.

— Не гусь?.. Да, вы правы, — она гораздо больше гуся... Колоссальная птица! Мне не приходилось никогда охотиться за подобными птицами, — раздумывал вслух майор, взяв дрофу за шею и попробовав на вытянутой руке ее вес. — В ней не меньше как двенадцать кило!.. Мальчишка, — обратился он к Мите, — это есть не гусь, а?

— Хотя называют так — дрофа, но все равно, — весело ответил Митя, — считается даже куда лучше всякого гуся!.. Что перепел, что дрофа — одного вкуса мясо.

— Ага! Вкусный мясо!.. Дрофа! — торжествующе подхватил майор и, еще раз попробовав тяжесть дичи и полюбовавшись ею, начал укладывать ее в машину.

Он занес уже ногу, чтобы сесть на свое место, но счел нужным спросить все-таки:

— Мальчишка! Откуда идет, а?

— Оттуда вон, — беспечно ответил Васюк, — показав рукой вниз, где работал и уже расходился народ.

— Дорогу прочищали там, — еще беспечнее, и светло улыбаясь при этом, подтвердил Митя.

— А-а... Куда идет? — снова спросил майор.

Митя только успел назвать деревню, как Васюк вскрикнул:

— Еще две дрофы!

Усталые до изнеможения, две дрофы тянули снизу в лес и шарахнулись, заметив людей на шоссе, однако не быстро, в том направлении, откуда только что пришли юные партизаны.

— О-о, я не могу, нет!.. Я имею

сердце охотника! — рьяно закричал майор, выхватывая револьвер.

Лейтенант тоже выскочил из машины и вытащил револьвер, хотя не говорил о своем охотничьем сердце, но выстрелить не удалось все же ни тому, ни другому: дрофы как-то мгновенно пропали из глаз, — ведь местность была очень изрезанная, гористая.

— Сели, — вдохновенно сказал Митя и даже присел сам для наглядности, глядя на лейтенанта.

— Ага! Да, да! Они сели! — подхватил майор и первым двинулся от машины туда, за шоссе, в направлении полета дроф.

За ним пошел и лейтенант, а за ними обоими Митя и Васюк, как идут за охотниками загонщики дичи. Только шофер, человек уже по пятому десятку, дисциплинированный и молчаливый, остался сидеть в машине и дожидаться господ офицеров с новыми двумя необыкновенно огромными птицами, каких никогда раньше не приходилось ему видеть.

Между тем темнело быстро, хотя и ехать уже оставалось недалеко, — километров десять, до ближайшего города, на берегу моря, а дорога была расчищена.

Чтобы русские мальчишки не спугнули дичи, майор пошел было вперед сам, вместе с лейтенантом, но скоро устал проваливаться чуть не на каждом шагу в снег по колено и послал вперед «мальчишек».

Васюк и Митя вполне добросовестно вглядывались сквозь кусты в заволоченные сумерками полянки и привычно шли довольно быстро, прокладывая следы для немцев, однако дроф не было видно.

— Ну, ну, мальчишка, а? Где твой дроф? — время от времени спрашивал пыхтящий от усталости майор, а лейтенант ничего не спрашивал, но посма-

тривал иногда на Митю, как старшего из двух ребят, подозрительно.

Это заметил Митя. Он видел и то, что отошли они уже довольно далеко от шоссе и что темнело достаточно для того, чтобы им шаркнуть в сторону той самой тропинки, по которой они шли сюда утром, обогнув сожженную сторожку лесника.

Он выразительно поглядел на Васюка, пригнуллся вдруг и сказал тихо майору:

— Сидят!

Он остановился, присел и показал рукою вперед, где что-то темнело невысокое среди кустов и двустебельчатое. Что именно темнело, трудно уж было разобрать, но Митя, а за ним и Васюк быстро отодвинулись в сторону, пропуская вперед охотников, которым надо было присесть тоже и прицелиться, чтобы не промахнуться.

И сначала майор, уловивший по направлению митиной руки цель, за ним лейтенант действительно присели, выдвинувшись вперед и выставив свои револьверы, а Митя сзади, размахнувшись, изо всей силы ударил майора по голове дубиной.

Удар Васюка по голове лейтенанта запоздал на момент, тот успел выстрелить, но только в куст перед собою, и тут же свалился на спину майора.

И несколько раз еще, heckая, как на трудной работе, широко размахиваясь, опускали разведчики свои дубинки на головы тех, кто, быть может, приказывал так недавно пытаться и вешать лесника Акима Семеныча и заживо сжечь в пылающей сторожке его трех ребятшек и жену Аксинью.

Взяв потом револьверы убитых немцев и бумаги, какие нашлись у них в карманах, Васюк и Митя пошли к знакомой им тропинке, уверенные в том, что наступающая ночь приостановит погоню за ними, а к утру они выберутся уже к своим землянкам.

Подвиг

Моторы запели, и звезды бледнеют и гаснут.
Поля проплывают холодной туманной пустыней.
И в небе рассветном у края маячит неясно,
Как остров средь моря, просвет лазорево-синий.

Вцепился в крыло самолета надломленный стебель,
И ветер срывает его, он звенит, не слетая,
И кажется странно знакомым полет этот в небе,
Как старая сказка, как детства мечта золотая.

Мелькает земля под крылом, горизонта касаясь,
Как чаша большая, налитая грустью ненастья,
Здесь грезил он часто, что в небо взлетает, как аист,
И крыльями мерит полнеба, полмира, полсчастья.

Суровые ветры в полете его обвевали,
Легко и свободно парил он орлом над горами,
Лазурь рассекая, врезаясь в туманные дали,
В горючие ливни, в полдневное жгучее пламя.

Встречал он рассветы над морем лазоревым, южным,
И полюс полночный его леденил сединою.
Трудом стала греза, труд — подвигом общим и дружным.
Шли годы, и вдруг июнь разразился войною.

И весь кругозор под крылом задымился от зарев,
И в небо высоко взлетали стальные зарницы,
И в небе кружили, налетом зловещим ударив,
Как вестники смерти, чужие, враждебные птицы.

Земля разрывалась под скрежет железа и стали,
Сжимала в объятьях холодных своих поднебесье,
А он, пролетая сквозь синие светлые дали,
Все грезил про детство свое, про родное Полесье.

За белым туманом вставало село над рекою,
Как будто из чащи лесной вырывалось на волю,
И старая мать из окна замахала рукою
И мальчика кличет его из далекого поля.

Вилась огородом тропинка к реке, и у кручи
Качалась на привязи лодка в зеленой осоке,
А дальше луга, и леса, и вишневые тучи
Вставали, как сон, отраженные в речке глубокой.

В приказе вдруг вспыхнуло все, что забылось, погасло;
Замшелая, старая хата, и лес, и болото,
И детские грезы, и сказок червонное свясло...
...А стебель осенний звенит на крыле самолета.

На этой дороге, знакомой ему с малолетства,
Найдет он, что нужно, без карты и даже вслепую,
И смотрит он вниз, как взрослые смотрят на детство,
На старую сказку, наивную, но дорогую.

Он видит: проходят отряды, скользят мотоциклы,
И стелется пыль по дороге извилистой, длинной.
И кажется, хата знакомая ниже поникла,
Опутана проволокой, словно куст паутиной.

У ветхого тына стоят офицеры штабные,
И с удочкой в лодке сидит ординарец их в шлеме.
Чужие, незваные гости, налетчики злые
Насильничают, издеваются злобно над всеми.

Пускай испытают враги его смелость и силу!
Пусть грянет над ними за их преступленья расплата!
И смотрит он пристально вниз, и в глазах зарябило,
И мнится ему: мать-старуха выходит из хаты.

И вспыхнуло сердце, как сноп золотой обмолота
На черном току, вдруг охваченный пламенем жгучим.
Он кружит над хатой в виражах крутого полета,
Сквозь проблески солнца, сквозь ветер вишневый и тучи.

О детство, прощай, догорай огневою грозой!
Прощайте, знакомые стены замшелого сруба!
И смотрит он вниз — и он видит внизу под собою
Одно пепелище и дымные черные клубы.

Он видит, как хата родимая тлеет, сгорая,
И зарево в небе к нему простирает объятья.
Он вновь пролетает и шепчет: «О мать дорогая,
Откликнись, жива ль ты осталась? Хотел бы узнать я!»

И слышит он голос, ворвавшийся в клекот мотора,
То матери голос: «Тебя я увидела в небе!
Ударь же скорей на врага с голубого простора...»
...Звенит о крыло самолета надломленный стебель.

Перевел с украинского М. ЗЕНКЕВИЧ

Партизанская баллада

В беззвездную, темную ночь листопада
В степях партизанская сложилась баллада,
И с ветром она долетела ко мне.
Пусть эхом летит она на перегоны!
Гремят эшелоны, идут эшелоны
В осенней, холодной ночной тишине.

В беззвездные ночи не спит Украина
И слышит, как мерзлая стынет равнина,
Как чьи-то шаги все шуршат по жнивью,
И слышит, как полем и яром — низами
Идут партизаны, идут партизаны
Сражаться за родину, волю свою.

Стоит часовой на мосту, замерзая,
И падает с неба крупа снеговая,
Засыпала плечи, винтовку и шлем.
Стоит часовой на мосту, коченея,
А стужа все злее, а ночь все темнее,
И небо от туч почернело совсем.

И как привиденья, скользя в отдаленьи,
На мост выползают какие-то тени,
Вот ветер взметнулся — и смел их долой.
Лишь рельсы звенят, и грохочут вагоны,
Гремят эшелоны, летят эшелоны,
И полночь встречает их стужей и мглой.

Октябрьскою ночью беззвездной, безлунной
Все ближе, все громче их грохот чугунный,
Колеса гремят, проклиная свой путь,
Как будто скрипят проржавевшие кости
В тоске по погосте и в ярости, в злости
Спешат поскорее на мост повернуть.

Темнеет октябрьская степь молчаливо.
Вдруг вспыхнуло небо от молнии взрыва.
Октябрь украинский сверкает без звезд!
Лежит часовой, партизаном сраженный,
Гремят эшелоны, летят эшелоны
Низринуться в пропасть под взорванный мост.

В беззвездные ночи не спит Украина
И слышит, как мерзлая стынет равнина,
Как чьи-то шаги все шуршат по жнивью,
И слышит, как полем и яром — низами
Идут партизаны, идут партизаны
Сражаться за родину, волю свою.

Перевел с украинского М. ЗЕНКЕВИЧ

Потерянная и возвращенная родина¹

ГЛАВА V

Я жил без пристанища, каждый день меняя ночлеги. Обосноваться на постоянное житье нельзя было без паспорта.

За паспортом меня направила Клавдия в фотографию «Русь».

— Спросите там Ивана Семеновича. Маленький, кругленький, с малиновым лицом. Злющий! Но это только на вид, а по характеру — ангел.

Иван Семенович назывался официально — «Паспортное бюро, Московского комитета», а для краткости — «Техника».

«Ангел», выслушав пароль, провел меня в заднюю комнату.

— Ну-с, вам что, собственно, надо? Если фальшивку, то сейчас же изготовлю, бланки у меня настоящие, от писарей из градоначальства... Имя, фамилию можете выбрать себе по вкусу. А если надо копию, то будет дело посложней.

Я тогда еще не был посвящен в паспортные тонкости, и ответ мой изумил Ивана Семеновича:

— То есть как это так вам безразлично? Вы будете на нелегальной работе? Ну, если на нелегальной, то нужна копия. Разницу вы понимаете? Положим, заматают вас на явке или на сходке какой, или просто по недоразумению обыскивают, — у вас при себе ничего нет, ищут у вас на квартире — ничего! Ну и выпустили бы. Да, вначале позвольте паспортик проверим: кем, когда выдан. Справляются по месту выдачи, а у вас фальшивочка, сочиненная мной по вдохновению. Потому и на запрос идет ответ: такого-то числа, за та-

ким-то номером, такому-то лицу, такой-то полицейской частью паспорт не выдавался. Вот вы и у праздника. И начинают вас, раба божьего, держать и начинают вашей биографией интересоваться. Понимаете? Из-за любого пустяка вы с фальшивкой можете оказаться, как на раскаленной сковороде, извините. А вот когда я вам впишу в паспортный бланк имя, фамилию, номер паспорта, дату выдачи и все иное с какого-нибудь настоящего паспорта, это и будет копия. Обыкновенно просим у сочувствующего, но такого, чтоб не жил в городе, где вы будете жить, и на родине у себя не оставался, где паспорт выдан, а значился бы в отлучке. Тогда, положим, вас взяли — полиция телеграфно справляется: «Выдан ли такому, тогда-то и прочее», а оттуда: «Действительно, за таким-то номером, тогда-то выдан». И дело в шляпе. Вас могут и отпустить, если еще к чему не придерутся. Поняли?

— Давайте копию.

— Копию ждать придется. Копия не от меня зависит, а от подходящего случая. Надо, чтоб человек навернулся. Наведывайтесь. Справляйтесь.

В его рабочей комнате было душно, и я сказал:

— Спиртом очень у вас пахнет.

«Ангел» вспылил:

— Мало же вы понимаете, — в фотографиях всегда спиртом пахнет! Вы вот что, голубчик, лучше не наведывайтесь ко мне и не справляйтесь понапрасну, я сам дам знать через явку.

Но истинно он был ангел: ему сейчас же стало жалко, что он меня обидел. Как будто отвечая на какие-то свои мысли, он махнул рукой:

— А, черт их подери, поймели бы вы постоянно дело с этими писарями

¹ См. «Октябрь», № 1, 1941 г.

из градоначальства, потаскали бы их по кабакам, пришлось бы вам доставать через них паспортные бланки! У вас не только нос — калоши бы сильными стали, и от шапки водкой стало бы пахнуть. Не обижайтесь, но ходить зря ко мне не надо. Вы скажите Клавдиньке, секретарше вашего района, чтоб она прямо людей ко мне не направляла, а заходил бы кто-нибудь один. Фотография, правда, что проходной двор, а все-таки не очень конспиративно, если много товарищей будут знать обо мне.

— А может быть, конспиративней, что к вам не ходит все время один и тот же человек, а все разные. Впрочем, ваше дело. До свидания.

— Подождите, временно фальшивку мы вам смастерим. Нельзя совсем без документа. Говорите, как вам нравится назваться?

Оказалось это не так легко — выбрать себе имя и фамилию «по вкусу». Я назвал несколько имен и фамилий. Иван Семенович их отвел: «К вам они не подходят, — кажутся неестественными».

— Да ведь, Иван Семенович, настоящее-то имя достается человеку при появлении его на свет.

— Ну, это уж, голубчик, мистика. С детства имя дали, значит, выбрали самое подходящее, а начнешь после выдумывать, нищи тогда закономерное. Это, голубчик, то же соотношение, как у художественного творчества с действительностью; действительность может чудить, как ей вздумается, и всему в ней будем верить, а в искусстве верим только закономерному. Хотите — Аркадий Николаевич Вихрев?

Вихрева я отклонил. Набатова тоже. Отклонил и Голубеева. И Ландышева отклонил.

— Ну, голубчик, придумайте сами. Я вам не приказчик из магазина готового платья, — рассердился Иван Семенович.

— А что если возьмем простое, скажем — Иван Иванович Иванов?

— Это пересол. Это сразу видно: придумано нарочно. Иван Ивановичей Ивановых не бывает.

— Пусть будет не Иванов, а Иван Иванович Николаев.

— Нельзя. Николаев есть уже, город Николаев. А Иван Иванович... это — поза. Нет, не годится.

— Ну, давайте — Иван Сергеевич.

— Нельзя. Это — Тургенев.

Наконец мы сошлись на «Иване Николаевиче Сергееве».

— Пожалуй, это сойдет, сочетание не стилизованное.

Заполнив бланк и посадив печать, Иван Семенович полюбовался:

— Здорово вышло. А теперь слушайте: фальшивку эту надо прописать. И посему с кочевого образа жизни перейти на оседлый. Предписывается вам ряд предосторожностей. Извольте комнату себе подыскать непременно во втором серпуховском участке. Поняли? И запомните: во втором. А почему? Государственная тайна. Когда снимете комнату и вручите задаток, отдайте фальшивку хозяйке для прописки. И под каким-нибудь предлогом удалитесь; не живите в этой комнате, скажите хозяйке: «Тетка, мол, неожиданно скончалась, уезжаю хоронить» или вас самих живым на небо за добродетель дня на три берут, что-нибудь в этом роде. И ждите. Я уж сам справлюсь, прописали ли вас. Если что не так, вы в комнату не явитесь. А если все сойдет благополучно, появляйтесь и в скорости перемените местожительство; тогда уже прописанный паспорт можете прописать в любом месте, и ваша фальшивка с двумя прописками будет иметь благородную видимость. Поняли? Так и действуйте.

Ночевки мне доставала Клавдия большей частью у интеллигентов с весом и положением. По вечерам меня встречали с любезностью принужденной, натянутой, угрюмой. По утрам же провозжали с облегчением: и долг перед революцией выполнен, и обошлось благополучно. Но, впрочем, одной заботы не скрывали: как бы не пришел еще раз. «Калошки вот эти ваши, а вот эти наши. Я к тому предупреждаю, что ошибетесь, — не будет случая встретиться, переменить». И в глазах у провожающего тревога: выйдет, мол, он от меня, а у ворот его и спаюют, вот тогда и спрашивай свои калошки.

* * *

Партийную работу мне предложили в Замоскворецком районе, который я хорошо знал. Мне предоставили выбор — работать пропагандистом или организатором. Я выбрал последнее. Мне достался Кожевнический подрайон — с отсталым рабочим населением.

Скоро я убедился, что надо быть в своем подрайоне и организатором, и пропагандистом. Так называемая «коллегия пропагандистов» при районном комитете состояла всего из одного человека.

Единственной опорой моих связей в подрайоне оказался Тимофей, у которого мы с Клавдией, в первый день моего приезда в Москву, спрятали оружие.

Скоро кроме адреса Тимофея мне удалось раздобыть своими силами еще два адреса с двух различных предприятий подрайона. Я побывал по этим адресам. По одному из них нашел жилого рабочего-подпольщика — ветерана пятого года. Он обрадовался появлению организатора и обещал устроить мне встречу с несколькими рабочими с его завода.

По другому адресу меня ждал юнец, пылкий, жаждущий дела.

— Мне большевики, знаете, очень нравятся, — сказал он восторженно. — Вы, пожалуйста, отличие между большевиками и меньшевиками расскажите. Дядя мой говорил, что большевики хотят большего, а меньшевики меньшего. Ну, я знаю, это не так. А просто большевики будут как-то побойчей.

Расширить, расширить связи — вот что мне надо сейчас делать. Я положил себе неперемный зарок — проникнуть на все заводы подрайона, знакомиться с людьми, присматриваться к ним, взвешивать, представлять их, как надо, зажигать друг о друга, как из кремней выбивают искры, ударяя один о другой. Эта цель была ясная и небольшая, да и нелегкая.

Мне весело стало ходить по улицам. И ветерок со мной о чем-то шептался. И ночью звезды светили глубоко в мое сердце. И мне мечталось, что мы скоро станем неодолимой силой. Мне мечталось закалить в себе упорство, верность, постоянство. Да о чем только не мечталось! Я был как в полете на крепких крыльях. Морозы стояли хрустящие, скрипел воздух, небо леденело и покрывалось бледностью. А в моей душе была весна. Что же это такое? Откуда такое счастье заливает все мое существо?

— Приехал сегодня Сундук из Питера, — шепнула мне на комитетской явке Клавдия, — про вас спрашивал. Его направляют к нам в Замоскворечье

как члена Московского комитета, руководить нашим районным комитетом.

Сундук назначил мне свидание на ранний утренний час: «Когда слезка потише». Встретиться было условлено не на явке, а на квартире у профессора Селиверстова.

К моменту свидания с Сундуком я хотел отдать себе отчет: каково же наше положение? Мне хотелось все трезво и без всяких прикрас изобразить Сундуку: от нашей организации остались одни клочья, и политическая жизнь в районе разбрызгалась на отдельные замкнутые озера или даже бочажки, мало сообщающиеся друг с другом, общего пульса не стало. Я был очень озабочен, но какой-то особенной, взмывающей озабоченностью.

Когда я шел к Клавдии, на улице было хлопотливое оживление. Зимний покой чуть тронуло оттепелью. Под крышами кое-где натекали сосульки. Снег на мостовой пожелтел. С заборов слетали стайками на тротуар чиркающие воробьи и тут же, вспугнутые, вскидывались опять вверх. В небе то загорались, то потухали просини весны. Меня обгоняли и попадались навстречу школьники. Они как будто торопились говорить и смеяться, прерывая друг друга, вскрикивая, пересякая в разговоре с одной темы на другую. И мне казалось, что моя бодрая озабоченность чем-то родственна счастью, которым озарены подростки; такое же ощущение далекой манящей дороги впереди, бесконечной и обещающей неведомое. А в тревогах и заботах у них и у меня такое же чистое, ничем не омраченное сознание своего бескорыстия и надежда: все преодолется, все опять улыбнется.

Сундук встретил меня сурово. Я этого не ждал. Думалось, войду, увижу, и мы бросимся друг к другу. А он, пригнувшись несколько к столу, за который мы сели, прищурился как-то, смахнул крошки со скатерти себе на ладонь и говорит:

— Так-с, товарищ Павел! Не дело делаете! Вы риском забавляетесь. Наши работники должны беречь организацию, значит, и себя беречь. А вы первым делом к левым побежали. Зачем? А что это за махаевец?

Я был потрясен обидой. Сундук заметил и вдруг перешел на «ты».

— Знаешь, как рабочие этого махаевца зовут? Сенька Вытряхай. Он болтун, трепач, а Павел с ним, видите ли, теоретические споры открывает, вот уж для тебя — самое подходящее дело после побега. Вытряхай везде рассказывает про тебя, хвалится знакомствами среди подпольщиков. Ты переменишь подрайон, из Кожевнического пойдешь в Голутвинский, а то как бы этот Сенька Вытряхай не провалил тебя. А что у тебя с Василием? Кто из вас на кого влияет?

Аграфена принесла чай.

Когда Клавдия разливала, из-за расплывчатого бегущего облачка пробилась вдруг косо сверкающий луч солнца, и в этом луче заиграл пар от чая.

— Смотри какой веселый луч! — сказал Сундук, а потом потянулся к чайнику, приподнял крышечку и вдохнул в себя аромат чая. — Отлично, хорошо! — Сундук засмеялся и извиняющимся тоном прибавил: — Я чай пить очень люблю.

Он произносил по-старомосковски: «чайпить» — в одно слово.

Сундук стал расспрашивать меня, что и как в подрайоне. Слушая, он изредка потихоньку вставлял: «Так, так, так!», весь светился и смотрел мне в глаза.

— Так как же этот парнишка о большевиках-то сказал? Что они будут побойчей? — Сундук захохотал: — Нет, не говори: этот парнишка не дурак. Конечно, ничего еще не смыслит, но хочет сам по себе додуматься и составить свое собственное понятие. А молодой, говоришь? Вот видишь, и новые люди к нам подсыпают. Ничего, дело совсем не в одних ветеранах пятого года. Пойдет дело, пойдет.

Сундук заходил по комнате спокойным, ровным шагом. Но чувствовалось, что он весь бурлил от наполнявшей его нетерпеливой силы. Это было в нем не волнение, а нетерпение. Как будто слышалось в нем стучанье пущенного мотора. Как бывает: сотрясается у пристани пароход в ожидании сигнала к отплытию; все в нем ходуное ходит, дрожит весь остов, а какая-то спокойная, уверенная сила медлит, не дает сигнала, но он уж весь работает и ждет, готовый тронуться против волн и ветра.

И вот Сундук стал рассуждать вслух сам с собой, будто один, что и как дальше делать.

Когда он искал и взвешивал, становился мягче, суровость уходила, всякое сомнение делалось позволенным: что ж, допустим, взвесим. Он вошел в какой-то спокойный, ровный дух. Видел все препятствия, будущие неудачи и... был спокоен. В нем чувствовалась уравновешенное мужество и ясная, светлая невозмутимость — лучшее душевное состояние для уверенного выбора решений. Это как в пасмурные летние дни, при бушующем ветре, выдаются мгновения ясности и тишины, когда все предметы предстают в своих точных границах и очертаниях.

Я смотрел на Сундука, слушал его и вдруг ощутил, что мной незаметно овладело какое-то новое чувство, совсем отличное от той радостной озабоченности, на которой я поймал себя при встрече со школьниками. Это было чувство ответственности, ничем неизмеримой... ответственности перед будущим, перед собственной совестью, перед всеми людьми, перед тем великим, с чем я дерзнул слить свою жизнь.

И как только стало ясным для меня это чувство, что-то воскресло в памяти, раз уже бывшее со мной... Но что именно? Вот-вот встанет оно, и все до конца будет ясно! И я вспомнил такое же, когда-то испытанное мной, резкое ощущение ответственности. Когда же и по какому поводу оно было? И что я вижу теперь нового в моем друге Сундуке сравнительно с тем, что в нем известно мне? И в голосе его, и в походке, и во всем его душевном строе?

Да, да! Это самое и есть... Нашел, нашел! Я так загорелся от своей догадки, что сейчас же спросил Сундука:

— Ты видел Ленина? Неужели ты успел съездить за границу?

Я был уверен, что Сундук обрадуется моей догадке, моей проницательности.

— Это же видно, Сундук. Ты как-то весь светишься...

— Что это за выспрашиванье? — тихо, но очень гневно сказал Сундук. — Да и как я мог бы за эти восемь-девять дней съездить за границу и вернуться?

У Сундука сорвалось резкое бранное слово, и он велел мне «от догадок

воздержаться». Я понял Сундука и не обиделся. Говорить вслух о таком, даже и меж собой, нельзя — стены могут слышать. Но у меня осталось убеждение, что я все-таки угадал: Сундук приехал сюда, озаренный недавней встречей с Лениным.

Мне вспомнилось, как я сам в первый раз видел Ленина в январе 1906 года на заседании лекторской группы при Московском комитете. Это было на частной квартире, в большой комнате; я притаился в уголке вдали от всех и смотрел на Ленина.

В моей душе все было торжественно, приподнято. Я не мог бы произнести ни слова, если бы потребовалось говорить. Меня оскорбляли у других их обыкновенные слова, шутки, смех, чаепитие. Ленин побыл недолго и говорил немного. Когда он кончил, я не нашел в себе ни одного движения, чтобы как-нибудь выразить то, что меня взволновало. Да я и не знал, что во мне... Когда он уехал, я поспешил уйти. И только оставшись один, я ощутил, как много произошло во мне и как происшедшее значительно для меня. Бесстрашие, бесстрашие мысли — вот какое ощущение осталось у меня от его слов. Бесстрашие, которое ничем смутить или потрясти невозможно. Его мысль, могучая и торжествующая в своей силе, уверенно ищет и настигает с быстротой и хладнокровием всякий намек на иллюзию, на мираж, рассеивает всякий туман и ставит нас лицом к лицу перед суровой, очищенной правдой. И тогда все предметы, все положения, все соотношения предстают в точных очертаниях и границах, как в спокойном, ясном свете солнечного дня. И это бесстрашие мысли я ощутил как моральный призыв, — новый тогда для меня, — как призыв к постоянно настороженному чувству ответственности перед нашим делом за каждый ложный, иллюзорный шаг. Долго я ходил после этого измененный внутренне и внешне. Внутренне полный строгой сосредоточенности, а внешне бессознательно подражающий голосу и жестам Ленина.

После того как Сундук выбрал меня за ненужные догадки, мы все трое — он, я и Клавдия — замолчали. Сундук как будто куда-то далеко от нас ушел. Мне думалось, что он в этот момент представляет себе недавнюю встречу где-то далеко отсюда.

Лицо его было вдохновенно и вместе сурово.

— Вот что, ребяташки, — наконец проговорил он, — нам предстоит огромную гору своротить. Организации-то, по существу, в районе нет, одни ярлыки остались. Но люди живы же. Вот мы всем перетруску и сделаем, перебор такой произведем: кто жив, кто мет, кто гнильцой тронулся — гнильцу срежем; кто совсем отпал — вышибем от нас начисто. Начнем с того, что попробуем восстановить наш комитет в районе. И поставим перед ним, то есть перед собой, новые задачи. Вначале соберем предварительное совещание. Вот вам обоим мои поручения: Василия позвать, он косит на левый глаз, но, может быть, на деле будет с нами. Мишу от Доброва и Набольца позвать, с этим риск — ничего не предскажешь, как поступит, но, думаю, он еще жив для нас. И еще сходи ты, Павел, попробуй привлечь к работе старого замоскворецкого ветерана, потомственного наборщика, Связкина Ефима Ивановича. Это столп Пречистинских рабочих курсов был когда-то, он меньшевиком — все книжки о революции сорок восьмого года прочел, глаза голубые, поступь тихая, как будто в туфлях ходит, но честнейший — знаешь его?

— Как же мне его, Сундук, не знать, — он меня в начале пятого года к партийной работе привлек.

— Значит, он твой крестный, а крестник взял да и в большевики вышел. Не везет Ефиму Ивановичу. Он и то мне жаловался: скольких, говорит, я молодых в партию втянул; а они почти все в большевиках ходят. Попробуем его. Сейчас многие старые размежовки меняются. Мы привлечем всех, кто способен бороться за партию. А кто окажется неспособен, пусть даже из самых zapравских наших, тех к чорту от нас вышибем без всякой жалости. Нам надо все делать трезвей, расчетливей, спокойней, смелей и быстрее. Эти боевые качества в себе закаляй. Как видишь, что надо сделать, и видишь, что ты в силах это сделать, то немедленно и делай. Это как на войне — каждая наша ошибка и промедление будет для неприятеля перевес. А каждый быстрый меткий наш удар значит для нас перевес. А неудачи? Неудач, конечно, у нас сейчас будет охапка. Приготовьтесь к этому.

И даже ошибиться — не беда. Только в одном нам сейчас ошибаться нельзя, это — в общем курсе нашем. Вот я Ленина-то слушал, слушал... Чего вы засмеялись? Ах, шут вас задери! Проговорился? Ну, да вы и так узнали, что я видел его. Это я так, по привычке конспирировал. Его уже и нет там, где мы с ним виделись. Вот и говорю, смотрел, смотрел на Ленина и вспомнил, что прочитал я однажды в стихах Баратынского о Гёте: «Он чувствовал трав прозябанье». Это должно сказать про Ленина. Он-то и чувствует, как произрастает в народе зерно, как семена подземные соками наливаются и как они начинают к солнцу на поверхность вылезать. Мы с тобой сорняк всякий видим, заполонил сорняк все поле. Ан этому сорняку сохнуть пора пришла. И мы не чуем, что новое из земли поднимается. А Ленин чувствует. Сорняки не отвлекают его глаза от правильной перспективы. Вот от этой-то ленинской перспективы нам отклоняться и нельзя. Итак, за дело: создаем заново районный комитет, зовем на это всех, кто жив, и ставим перед собой большую задачу. А какую — это там поговорим, там и увидите.

Затем Сундук обратился к Клавдии:

— Мне надо кое-что сказать Павлу. Оставьте нас вдвоем.

На такую прямооту при подпольной работе не обижались. Клавдия вышла.

— Вот, Павел, тебе двенадцать рублей. Это будет у тебя, и у меня тоже, месячный бюджет. Пока что двенадцать целковых на рыло. Больше Московский комитет в этом месяце на профессиональных подпольщиков дать не может. И смотри, никому об этом ни слова. Ни даже Клавдии. Гляди веселей и держись аркадским принципом.

— Мне этого будет довольно. Я нашел хорошую столовую для фельдшерц, меня туда впустили раз, не спросили, а теперь пускают как старого знакомого, — восемнадцать копеек обед, с гарантией против ожирения. Не говори Клавдии.

— Не скажу. Только ты не увлекайся сбедами у профессора. Избегай лучше, а то развентиться можешь. Appetit не должен быть любопытным. Надейся на свой обед, а не на профессорский. До свиданья. Паспорт Волайтиса я сдал Клавдии.

Сундук поспешил сейчас же уйти.

На моей памяти, кажется, все руководители районной работой были всегда в одном похожи друг на друга: говорили только самое нужное и, сказавши, что нужно, быстро исчезали. Очевидно, сама подпольная работа так воспитывала.

А у меня был деловой предлог остаться. Но если бы этого предлога и не было, все равно едва ли смог бы я уйти. После нашей первой встречи, в первый день моего приезда, у меня не было случая побыть с Клавдией вместе без других.

Теперь нам с нею надо было отправить по почте в Мезень Марии Федоровне «проходные свидетельства» Конвайтиса и Волайтиса.

— У меня заготовлена новая книжка «Шиповника». Я принесу ее сейчас.

Клавдия не позвала меня с собой за книжкой в свою комнату, а оставила одного ждать ее в столовой. Мне показалось, что она избегала оставаться со мною вдвоем. Вернувшись с книжкой, она позвала Агашу.

— Агаша, накрывайте на стол и зовите папу обедать. Павел, вы, конечно, пообедаете с нами?

— Нет.

— Почему?

— Я... я обедал.

— Так рано уже обедали?

— То есть я спешу, чтоб не опоздать к обеду.

— Напрасно не хотите остаться. Очень огорчите папу.

«Огорчите папу» — это меня резануло: что-то с Клавдией произошло.

Когда мы стали заделывать свидетельства между неразрезанных листов сборника «Шиповник», наши руки коснулись друг друга. Я сжал ей пальцы. Она отдернула руку и отошла на несколько шагов:

— Заделывайте сами или отойдите, справлюсь без вашей помощи.

— Что произошло, Клавдия? Что я сделал? Почему вы так переменились?

— Переменилась? Вот как? Значит, вы убеждены, что я была другой? Какая же это я была другая? Я никогда не терпела пошлостей. И всегда была такая. И не менялась никогда.

— Но, Клавдия, между нами, кажется...

— Ничего не было между нами. Я была, может быть, наивна и думала, что вы непохожи на тысячи пошляков, которые спешат вообразить...

Скажите, значит, вы в эти дни ходили и думали, бог знает что вы вообразили... Разве нельзя обрадоваться товарищу, который вырвался из ссылки, и разве нельзя с ним как-то быть... Ну, вы поймете меня — поймите же как следует, не пошло поймите. Это ужасно. Ужасно!

Какая она негодующая! Как искренне оскорблена и удивлена. Но ведь, кажется, эта девушка поцеловала меня в вечер нашей первой встречи? Или это мне снилось? И мы ведь с нею шли вместе по Александровскому саду, и нам с нею светила луна.

— Слушайте, Павел, вы должны знать еще одно...

— Я все знаю... Мне больше ничего не надо знать.

— Нет, надо. Вы опять что-то не так понимаете... А я хочу вам сказать, что вчера отправила купцу Лужникову сто рублей. Эти деньги нам доставила лекторская группа при Московском комитете, это — чистая выручка от двух лекций о чартистском движении.

Вошел Иван Матвеевич. Я не мог и не хотел ни о чем говорить. Мне надо было скорей, скорей остаться одному.

— Я уйду, Иван Матвеевич, простите.

Иван Матвеевич расхохотался:

— Поссорились. И вам, Павел, пошло. Наша Клавдинька особа крутая, капризная, упрямая. Это она вам мстит за то, что хорошо приняла вас в первый день, когда вы приехали, и долго будет мстить. Да вы не убегайте. Павел, так яростно. Я вам про нее кое-что расскажу. Нет, уж вы, Клавдинька, протестуйте, не протестуйте, я расскажу. Знаете, Павел, она и революционеркой стала только из упрямства.

— Ты, папа, говоришь всегда и всем, что у нас с тобой разрешена проблема отцов и детей, а сам упрямышься и все хочешь, чтоб я занималась тем, что тебе хочется.

— Ну, конечно, ты упрямая! Я помню, Павел, когда в Москве появились книжки Гамсуна, она не хотела его читать: «Все читают, а я не буду». И так три года не читала, пока с Гамсуне не стали говорить меньше. Тогда и прочла. Так же у нее и с подпольем: когда революция была на вершине волны, Клавдия говорила, что главное для человека — самосовершен-

ствование, спала на досках и ухаживала за заразной больной — женой водозова, отвращение в себе побеждала и любовь к человеку в себе воспитывала. А как начали все критиковать революцию, засела за марксистские книжки и стала большевичкой.

— Ты, папа, все сочиняешь и все не так толкуешь.

— Ну, вот подите ж, конечно, отец облыжно на дочь родную клеветает!

Когда я вышел от них, я как будто провалился в глубокую пустую яму или будто плыл в какой-то черной мгле. Было что-то унижительное и оскорбительное в том, что я поверил в счастье, а его не было. Я прошел по Александровскому саду, по той дорожке, где мы проходили с Клавдией в первый вечер. Я сел на скамью и без дум смотрел на зубцы кремлевской стены. Тучи плыли низко, и дул сырой ветер. Городской шум и говор лился непрерывно, не затихая ни на мгновение.

Я сказал себе, что мне нужно сейчас ровное, светлое, ясное душевное состояние, при котором я мог бы спокойно владеть всеми своими способностями и силами. У Клавдии я решил не бывать... Не совсем, конечно, не бывать, — приду, если понадобится для дела. Но я и сам понимал, как шатко это решение и как велика оставленная мной для себя лазейка. Я остановился у витрины книжного магазина. Затем вошел и спросил «Воспитание воли» Жюлья Пэйю. Первый раз я прочел эту книжку, когда мне было 16 лет, и она надолго зарядила меня энергией и бодростью. Мне захотелось сегодня же на ночевке прочитать несколько страниц из нее перед сном, с тем чтоб с утра подняться в бодрой, деловой вооруженности. Так будет хорошо. Нехорошо только, что у меня осталось на целый месяц 10 рублей 40 копеек. Пэйю стоил 1 рубль 60 копеек, то есть целых восемь обедов у фельдшерки.

Никуда мне не хотелось идти, ни кого не хотелось видеть, ни о чем не хотелось думать. Наступила уже ночь, а я остался среди пустынных, холодных, темных улиц. Я пропустил час, когда можно было явиться на ночевку. Вспомнив об этом, я заволновался. Сундук ведь говорил об ответственности, а я подвергаю себя риску, оставаясь ночью вне ночлега.

Теперь уж я думал только о том, как выйти из положения, в которое я себя поставил. Мне показалось, что конспиративней всего будет, если я отправлюсь на Тверской бульвар. Это было место свиданий, и там целую ночь сновали люди, не возбуждая подозрений полиции.

Как только я присел на скамью у памятника Пушкину, ко мне подошел человек, закутанный в обрывки интеллигентской одежды и всякого многостильного тряпья, почти босой:

— Лорд, одолжите двугривенный на скудную и паскудную пропитацию или же, по моему усмотрению, на сладкий миг выпиванья одной пол-стаканца.

Я дал. Он сел рядом на скамью.

— Может быть, лорд предложит мне сигару, сигарету или, попросту, папиросенцию из махорки марки «лопухенция одноза»?

Я дал ему папироску. Он продолжал:

— Чем же я за это могу удружить вам, лорд? Зная большой свет и здешнюю аристократию, я могу вам только дать несколько наставлений, полезных в бульварном обиходе. Видите вон ту малолетнюю деву, лет пятнадцать, что тоскует на скамейке? Остерегитесь приглашать ее с собой, если пришли сюда для этих целей. Один здешний популярный Дон-Хуан, пардон, весьма заразный, только что имел с ней пылающее рандеву и благородно отбыл, обещав трешницу. Предупреждаю, остерегитесь: дева теперь... не гигиенична.

Я замкнулся в свои мысли и не отвечал ему. Не знаю, долго или нет мы так просидели молча. Но вдруг он дернул меня за рукав:

— Смотрите. Дон-Хуан сдержал слово, принес трешницу, но при расчете их... настигла mater dolorosa, что значит по-латыни «мать скорбящая». Слушайте! Происходит довольно лирическая сцена...

Я взглянул. Девушка была уже не одна: около нее сидела пожилая женщина и, плача, причитала:

— Дочка, детьнь ты моя, как ты решилась, на то ли я тебя растила?

— Мамонька, не плачь, я хотела, чтоб тебе легче было... Чтоб прокормить нас было...

— Повешусь, вот те крест повешусь... На то ли я тебя растила...

Я поднялся и пошел прочь. Я шел, с ненавистью смотря на горделивые громады зданий. Мне стало стыдно за свою недавнюю печаль.

* * *

Мы начали готовиться к созыву районного комитета. На явку, в квартире известного циркового клоуна, Клавдия пригласила Михаила. Оделся Миша для этого случая во все праздничное: черный пиджак, на ногах лакированные ботинки с серыми гамашами, а под пиджаком чесучевая, вышитая гладью, русская рубашка, подпоясанная шелковым поясом с кистями, выпущенными из-под пиджака почти до колен.

Клавдия представила Мишу знаменитому клоуну, который мимоходом завернул в комнату, где мы сидели. Миша очень учтиво поднялся и со сдержанным достоинством протянул руку хозяину квартиры, отрекомендовавшись: «Михаил-рабочий». Клоун как будто пропустил это мимо ушей и пошел из комнаты, но вдруг с порога повернулся и спросил Мишу:

— Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?

— Ничего. Я рабочий и этим горжусь.

— А я клоун и тоже этим горжусь. Я не тунеядец, милостивый государь! — и клоун ушел разгневанный.

— Зачем вы это сделали, Миша? — сказала Клавдия.

— Я его не обижал, — ответил Миша, — но они все думают, что если человек хорошо одет, то он уже не рабочий.

— Ну, это, Миша, у вас пунктик.

Клавдия предложила Мише стать организатором одного из подрайонов. Миша слушал улыбаясь. Когда Клавдия кончила, он молчал.

— Что же вы, Миша, не согласны, что ль? Организация вам оказывает огромное доверие.

Миша рассмеялся:

— Клавдия, вы одна или с Павлом вместе этот стратегический план придумали? Спасти меня доверием? Я читал даже где-то, что такой есть старый еще подход — доверием обращать на правый путь.

И Миша снова рассмеялся.

— Что же это вы так со мной больно простецки рассчитали повернуть? Я ведь не ребенок. Неужели вы меня за одно приняли с этим самым

махаевцем? А я его не иначе, как Сенька Вытряхай, зову, он же пустой, он же с глинкой. Правда, кровь в нем горячая: дела хочет. А ведь что вы предлагаете? Я что-то в этом ничего не вижу... Делать-то что? Что же, опять кружки да кружки, пропаганда да пропаганда... Да еще говорите — легальные возможности? И выходит — пока ничего путного, яркого, большого...

Как мы ни убеждали Мишу, он на все отвечал одной отговоркой:

— Это еще надо посмотреть. Не гнет меня что-то. Вообще, ничего меня не веселит. Я и эту пиджачную пару, и ботинки лаковые—все к чорту бы бросил, если бы дело какое увлекательное взамен появилось, а то зедь... Да что там говорить, одно слово, как я читал у Скабичевского в «История литературы», «безвременье!» Я теперь думаю заняться литературой... Очерки, например, из рабочей жизни писать... Я два уже написал, да мне оба из газеты назад вернули... Сказали: «не о том пишете».

— Я вас научу, Миша, о чем писать.

— О чем, Павел?

— Поговорим с Сундуком. Приходите на наше совещание.

Миша так весь и загорелся. Но от совещания стал отказываться:

— Занят я очень. Сейчас на заводе здорово работаю.

— И что же, Миша, веселит вас эта работа или не веселит?

— Это как сказать — не соврать бы. Врут об этом много: мол, труд — радость. А я сам знаю, радость он или тягость. Да вот на-днях... Дело-то, понимаете, если подумать, из-за пустяков вышло. К нам в мастерскую главный инженер приходил, с мастером разговаривал, на меня же взглянул, как на шкаф, прищурился и ничего в глазах не выразил, будто неживое место перед ним. А я и на работе одет прилично. Мастер при нем велел мне одну обточку сделать. Я и обозлился! Ляпанул им! Сделал так, что плюнуть хочется. Вот тебе: труд — радость. Мастер взял это у меня, взвесил на руке, улыбнулся и тихо в сторонке мне говорит:

— Ты чего это, Мишка, угорел?

Вижу, понял меня. А громко сказал:

— Хорошо, говорит, идите, Михаил, на свое место, все в порядке.

Сам-то он такой мастерище — Ша-

ляпин в своем деле! У меня был с ним случай: я тоже одну обточку делал; такую штучку выточил, думаю: вот это искусство! Радуюсь! Думаю: руки у тебя, Мишка, золотые, умри — лучше не сделаешь! Несу, иду к мастеру. Он осмотрел и говорит: «Кто же это делал, топором, што ль? Рабочнички, говорит, вы еловые-ольховые». Это у него поговорка: еловые-ольховые. «У тебя, говорит, видно, у самого башка не с того конца затесана. Дай-ка, говорит, я тебе покажу, как надо делать!» И показал! Я ахнул. Ну и чорт! Ну и башка! Ну и руки! Ну и глаз! «Прямо, говорит, ты Шаляпин!» А он смеется: «А чем нет? Чем не Шаляпин?» Гордится очень своим мастерством. И ты его можешь не в работе не замечать и даже обидеть можешь, он будет посмеиваться в усы, вроде будто сказать хочет: трепись, а посмотри, как я тебя на работе утру. А уж если на работе его тронуть, закипит, как кипятик, бросит все и уйдет. Мы, конечно, народ поменьше, не такие Шаляпины, как он. У нас в мастерстве утешенья нет.

Когда Михаил ушел, Клавдия сказала:

— Кажется, неудача, Павел? Теперь за вами — привлечь Связкина.

У Связкина, когда мне открыли дверь, поле зрения застлали сундуки и дерюжечки. Коридор квартиры весь был из сундуков, кованых жестью, и из дерюжечек самых пестрых рисунков, видимо, домотканых. Ефим Иванович со мной расцеловался. Авдотья Степановна, жена Ефима Ивановича, как увидела меня, так сейчас же заплакала:

— Приехал, родной ты мой, приехал... А сынок-то мой, Витенька-то, упованье-то мое...

— Ну, будет, Дуняша, — остановил жену Связкин.

— ... в земле сырой лежит, в могиле свет мой, упованье мое!

— Умер Виктор, объясняют, от белокрытия... Шариков каких-то в крови нехватало... До третьего курса медицинского факультета дошел... Доктором был бы... Не пил, не курил...

— И не в отца пошел...

— Да, не в меня... Политикой не занимался... В науку погрузился...

— И не уберегли мы его, несчастные теперь остались с Ефимом, старики-сироты...

— Теперь ничего нам с Авдотьей Степановной больше не надо... И нечем больше мне теперь дорожить...

Меня усадили за стол. День был воскресный: Авдотья Степановна накрыла на стол кремовую скатерть своего вязанья, постелила узорчатые дорожки, тоже своей вязки, разложила против каждого для подставки под прибор клеенчатые кружочки. Ефим Иванович принес кипящий старенький, чуть покосившийся медный самоварчик. Все было здесь скромненько, чистенько и полно беспредельной порядочности. В углу у окна стоял письменный столик, на нем этажерочка с книгами. Я посмотрел корешки: о профессиональном движении в Англии, о кооперации в Бельгии, об аграрном вопросе в Дании, о революции 48 года во Франции. Все это так знакомо, так напоминает первые месяцы революции 1905 года и первые наши беседы с Ефимом Ивановичем, когда он вел наш ученический марксистский кружок. Как будто ничто в жизни Ефима Ивановича не изменилось. А над книжками кнопками прикреплены к стене две открытки, портреты Августа Бебеля и Г. В. Плеханова; они расположены веерообразно, сходясь под одной кнопкой внизу и расходясь сверху.

— Карточки и книжки рассматриваешь? Уж сколько раз я Ефиму Ивановичу говорю: убери, не такое теперь время выставлять это все на вид. А он нарочно: «Я, говорит, им всем назло, пусть смотрят. Во что, говорит, в юности верил, за то и теперь жизнь отдам».

— Ну, ну, ты уж пошла разговаривать. И то сказать, конечно, чего мне и кого бояться? Никого я теперь, чертей, их не боюсь, мерзавцев, жизнь кругом всю исковеркали, подлецы... Откушай, Павел, пирожка нашего воскресного... с вязигой, очень вкусно.

За годы, что я знал Ефима Ивановича, у него только больше стало седины. В остальном он не менялся. Все такой же косою проробор, так же гладко причесан, из кармашка верхнего все так же торчит гребеночка. Все та же аккуратно подстриженная борода, все те же очки в грубой оправе, тот же чистенький румянец на свежих, хорошо вымытых щечках. Та же куртка «венгерка», никогда не застегивающаяся, а под ней черного сатина рубашка

с высоким стоячим воротником, с черным галстуком и подпоясанная широким кожаным ремнем. Все это одеяние было принятым мундиром у передовых наборщиков в Москве перед девятысот пятым годом.

Я не решился сразу заговорить с Ефимом Ивановичем о наших районных делах. Повод дала Авдотья Степановна:

— Думаешь, постарел наш Ефим Иванович? Какое там! Все такой же прыткий, неуступчивый.

— Скажи лучше, Дуняша, принципиальный! — поправил жену Связкин.

— Тридцать годов был на одном месте и вдруг ушел. Хозяин теперь ходит за ним, кланяется, зовет обратно, а Ефим Иванович уперся, не хочет.

— Дело, Павел, принципиальное. Я от имени рабочих объяснялся с хозяином и с директором типографии как делегат. А хозяин меня запанибрата на «ты», а директор взял за талию: «Мы, говорит, с Ефимом Ивановичем договоримся». Я, значит, их обоих и одернул: поставил на место, чтоб уважали личность делегата от рабочих и чтоб не фамильярничали. И разругался. Требувал извинений. Не захотели — ушел. Теперь извиняются, а я уж не уступлю. И им урок, и нашим товарищам воспитательный пример.

— Пусть хозяин поищет такого другого, как Ефим Иванович! Такой метранпаж, как Ефим Иванович, один на всю Москву, и жалованье такое, как Ефиму Ивановичу, ни одному метранпажу в Москве не дают, — вставила Авдотья Степановна.

Я похвалил Ефима Ивановича и повернул разговор на наши теперешние дела. Он задумался. Авдотья Степановна поняла, что ей надо молчать, и сидела, не проронив ни слова, но не отрывая глаз от мужа. Наконец Ефим Иванович вздохнул тяжело и сказал:

— Приду к вам на заседание. А дальше увидим. Только скажи Ванюше Дроздову—он у вас теперь Сундук зовется? — чтоб по-деловому вопросы ставил. Мы по практике судить будем, а не по словам.

Перед тем, как мне уйти, Авдотья Степановна начала рыться в комод. Ефим Иванович строго на нее прикрикнул:

— Опять в комод полезла! Опять слезы!

Авдотья Степановна достала фотографию своего сына, Виктора, и протянула ее мне молча, не в силах от слез выговорить что-нибудь. Ефим Иванович тоже заволновался:

— Красивый был он у нас, умный. Вот что, Павел, ты мне вроде как сын духовный. Я тебя к марксизму привлек. Самое меньшее — ты мне крестник. А любим мы тебя, как сына. Позволь я тебе преподнесу карточку Вити. Согласна, Авдотья Степановна?

Ефим Иванович надписал на обороте карточки: «С печалью об утрате родного сына, с надеждой и радостью за сына духовного от любящих тебя, как свое родное дитя, стариков Связкиных».

Авдотья Степановна с печалью в голосе, но мне показалось как-то очень довольная, рассказала мне, что моей матери в Москве давно нет.

— Плоха она стала, плоха. Ноги почти совсем не ходят. В деревню жить переехала. Ну, да мы тут за тобой, как за родным сыном, походим. Почаще только к нам заглядывай и не стесняйся, коли что надо.

Я попросил Ефима Ивановича, не достанет ли он мне какой-нибудь литературный заработок. Как старший наборщик он был связан с людьми из журналов и книгоиздательств. У меня была мечта избавить партийную организацию от необходимости содержать меня. Двенадцать рублей, которые мне передал Сундук, были для комитета деньгами немалыми при теперешнем положении.

Ефим Иванович спросил:

— А ты французский знаешь? Тут целая группа наших товарищей переводит большой труд Жореса о французской революции, по печатному листу на человека раздают. Поговорю о тебе.

Когда мы были в передней у двери, то Ефим Иванович обнял меня, расцеловал, а Авдотья Степановна перекрестила. Я подумал: как только позволят дела, надо съездить в деревню и увидеть мать.

ГЛАВА VI

И вот наступил тревожный день. Я проснулся очень рано, и, как только открыл глаза, первая мысль засветилась во мне: сегодня должно собраться наше совещание. Сердце забилося.

В этот день с утра я был в хлопотах. Мне пришлось забежать на Тверской в темное, полуподвальное помещение каксго-то маленького вятского издательства, адрес которого мне накануне прислал Ефим Иванович. Там мне дали перевести с французского отрывок Жореса по пятнадцати рублей за печатный лист и выдали авансом три рубля.

Перед вечером, запершись в уборной третьеразрядного трактирчика, я тщательно сбыскал все свои карманы и уничтожил записочки и заметки, которые хоть как-нибудь могли дать намек на мои подпольные дела.

Когда я вышел из трактира, звонили ко всенощной. Была суббота. Старушки и барышни спешили в церковь. У паперти мученика Климента на Пятницкой толпились хулиганствующие подростки и нищие. Напротив, у ворот полицейской части, тоже было оживленно: то и дело городские пристаскивали и подвозили на извозчиках пьяных.

Я свернул в переулочек по направлению к Малой Татарской. Подойдя куда мне надо было, — к деревянному одноэтажному флигелечку на высоком каменном фундаменте, я с противоположной стороны улицы несколько последил за флигельком. Меня немного смутили три одиночные мужские фигуры. Одна из них сидела на лавочке у калитки соседнего с флигелем дома; две другие поодиночке бродили возле.

Не проследили ли нас? Во всяком случае, нельзя было поворачивать назад, — надо войти во флигель и предупредить наших об опасности.

Ход во флигель был со двора. Мне открыла владелица флигеля, Степанида Амвросиевна. Я сказал пароль.

Сундук и Клавдия были уже там. «Мы пришли первые, как нам и полагается», — сказал Сундук.

Я рассказал о фигурах, бродящих по улице. Клавдия заволновалась:

— Надо расходиться. Видите, Сундук, я вам говорила. Я тоже заметила этих шпииков около дома.

Сундук рассмеялся:

— Если бы шпиики, то не стали бы торчать около дома на виду. Кстати, Павел, зайдите завтра на городскую явку, получите экземплярчик «Инструкции филерам московского охранного отделения». Нам удалось добыть и

размножить. Не мешает нашим товарищам хорошенько изучить, — для самособорны.

Пришедшие вслед за мною Михаил и Василий подтвердили, что странные одиночные фигуры все еще маячат около дома. Клавдия заговорила об отмене заседания. Сундук возражал:

— А было ли у нас хоть раз за последние два года собрание районного комитета, чтобы оно прошло спокойно до конца, чтобы шпики не подкарауливали нас?..

Степанида Амвросиевна тоже вставила свое слово:

— Больше года уже, как у меня по субботам комитет собирается. И никакого, не сглазить бы, несчастия ни разу не случилось.

Мне показалось, что Клавдия волнуется из-за меня. И мне это было неприятно. Я взглянул на нее, когда говорил Сундук, и она как будто угадала мои мысли. Она не стала больше спорить с Сундуком.

Пришел Тимофей, тот самый, у которого мы с Клавдией спрятали оружие и с детьми которого я подружился. Пришел Ефим Иванович. Пришел представитель лекторской группы при Московском комитете. Пришел рабочий, старый подпольщик из моего подрайона. Нас набралось уже девять человек. Сундук спросил:

— Разойтись, товарищи, или нет? Тут некоторые опасаются, что нас проследили.

Послышались протесты:

— Этак мы никогда не сможем собраться.

Сундук проголосовал. Большинство решило не расходиться.

Степанида Амвросиевна рассадил нас вокруг длинного чайного стола. Ее тетушка, крепкая старушка, позвала из кухни:

— Клики, Степаша, кого из мужчин самоварчик захватить.

Сундук водрузил на конце стола самовар. Степанида Амвросиевна разлила всем чай и пригласила не погнущаться домашним печеньем.

Сундук отвел меня в уголок и шепнул:

— Я подсчитал: ты, Клавдия, Тимофей и я, только четверо надежных из девяти. Мишка, Василий и товарищ из лекторской группы могут податься налево. Связки может качнуться

направо. А как твой ветеран пятого года?

— Колеблется, близок к левым.

— Вот и строй с такими. Вот и восстанавливай, вот и закрепляй! Прямо как на болоте, каждую кочечку испробуй, не увязнуть бы. А когда-то все они один к одному были, соколы, — ведь шесть кондовых пролетариев из девяти. Ну что ж поделата, для начала из этих сотворим, как пить дать, сотворим!

Сундук засмеялся, потер руки, отошел от меня, сел к столу и начал доклад. Стихло позвякивание чайных ложечек. Степанида Амвросиевна, чуть касаясь крышки чайника, только глазами спрашивала то у того, то у другого: налить или не налить? Самовар перестал шуметь.

— Я буду говорить коротко. Может быть, нас ждут шпики на улице и арест. Самое главное вот что: состоялась за границей всероссийская конференция партии! Живем, товарищи! Главное постановление конференции — бороться за наши старые революционные цели и укреплять партию «как она сложилась в революционную эпоху». Мы получили второй номер центрального органа партии со статьей Ленина, она озаглавлена «На дороге». Так вот на дороге, товарищи!

Василий громко сказал: «Хорошо!»

Я взглянул на Ефима Ивановича. Он напустил на себя равнодушный вид. У него это всегда было знаком, что он не одобряет оратора. Сундук продолжал:

— Наметим сейчас, что нам делать в районе. Главное что? Враги хоронят партию. Возьмем в Москве: первое — готовится в Московской судебной палате большой процесс нескольких десятков членов нашей московской организации; второе — здесь в Москве вышел гнусный, подлый сборник «Вехи», где богатая интеллигенция отрекается от революции и от собственно русского народа за то, что он «революционен». Все неустойчивые и слабые от нас бегут. Но мы существуем и будем бороться, будем побеждать. Главное, надо научиться спокойно, хладнокровно, терпеливо, настойчиво воспитывать наших людей и укреплять наши штабы. Это главное. А делать нам сейчас же надо вот что: мы можем в близком будущем сделать несколько крупных выступлений с ле

гальной, открытой трибуны: предстоит у нас в Москве первый съезд фабрично-заводских врачей и представителей промышленности; будет допущена рабочая делегация. Понимаете?

На этот раз Ефим Иванович одобрительно зашевелился. А Василий разочарованно и порицающе махнул рукой. Сундук продолжал:

— Мы на этом съезде на всю Россию скажем свое собственное слово. А готовы мы к этому? Ведь делегацию надо создать, выбрать ее надо! Надо, чтоб все рабочие знали, зачем ее посылаем. Для этого нам нужно партийную организацию воссоздать. А нас преследуют, травят. Слежка такая, что нам нельзя проникать на предприятия. Мы не можем говорить с рабочими, нам нигде нельзя собраться. Главное, сейчас же создать перелом, прогнать уныние, встряхнуть своих людей. Я предлагаю провести митинги протеста против суда над нашими товарищами.

Ефим Иванович спокойно спросил: — Где же проведете? На луне?

Сундук рассмеялся:

— Эй-богу, не на луне, — у фабричных ворот проведем двухминутные летучки, двухминутные!

Ефим Иванович спросил:

— А что успеете сказать?

— Скажем, что революция живет, партия живет, и призовем всех к борьбе в наших рядах за неурезанные наши требования.

— Положим, в две минуты успеешь. А кто же приготовит эти митинги? — опять вмешался Ефим Иванович.

— Ну, хоть одного-то рабочего, нашего человека, на большинстве предприятий найдем. Главное, чтоб он до поры до времени молчал и предупредил только самых своих, а за четверть часа до окончания работ пустил слух среди надежных, честных людей, что, мол, задержитесь у ворот на минутку, когда выйдете из завода, будет, мол, оратор, как в пятом году. Тут и получится мобилизация всех, кто о нас помнит, кто почитает пятый год. А остальные останутся у ворот из любопытства. Тут и нужны огненные короткие слова, чтоб всем запали, всех взбудоражили, всеми запомнились. А на другой день после митингов мы возьмемся за работу, восстановим хоть маленькие организации на

заводах, создадим настоящий районный комитет, будем готовить выборы делегации на съезд фабрично-заводских врачей.

Только помните, товарищи, про эти выступления: это не шаг к восстанию, не шаг к нарастанию массового движения. Времена такие, что мы идем не к подъему, движение сбывает. Наши летучие митинги — это один из приемов нашей организационной работы для укрепления нелегального нашего подпольного аппарата, с тем чтобы через него лучше влиять на легальную работу и направлять ее, как нам надо. Поэтому, товарищи, строжайше запрещается при митингах вступать в какие-либо столкновения с полицией, а особенно, конечно, запрещается стрелять. Вот я и кончил, товарищи. Вот это и надо сейчас же решить.

Мне стало так легко, когда я выслушал Сундука. Вот в этот же миг, встать бы — говорить больше не о чем, кажется? — и идти бы действовать, как он сказал, ведь все так ясно, и все так нужно, и иначе быть не может.

Я оглядел других. Все сидели в раздумьи. Кто смотрел вниз на скатерть, уставившись в одну точку, кто старательно размешивал ложечкой сахар в стакане, кто рассматривал пятнышко у себя на рукаве. Никто не глядел друг другу в глаза. Очевидно, каждый, как на острие, устанавливал, определял свою точку опоры, спрашивал себя и боялся, что спугнет искренность с самим собой, если взглянет другому в глаза и испытает на себе влияние товарища.

Поняла ли что Степанида Амвросиевна из слов Сундука? Наверное, ничего. Но она была возбуждена и насторожена, как вспугнутая птица, приготовившаяся вспорхнуть. Она обводила глазами всех, как бы ища ответа, как будто хотела крикнуть: ну что же вы, ну скорее же разверните крылья, взвейтесь и летите скорей, зачем же медлите?!

— Налейте мне, Степанида Амвросиевна, чайку, — попросил Ефим Иванович, — от речи Сундука у меня в горле пересохло.

Ефим Иванович снял очки, протер их, не торопясь, снова надел и принял от хозяйки стакан. Мне показалось, руки Степаниды подрагивали, ее жгло

любопытство: как же пойдет дальше? Она верила каждому из нас и каждому, видно, сочувствовала.

Ефим Иванович заговорил раздумчиво и плавно, медлительно и мягко, любовно ко всем, а особенно к Сундуку.

Тон и вид Ефима Ивановича показывали, что он и не собирается кого-нибудь убеждать, что это ему и не надо, что ему достаточно только растолковать всем нам, и мы пойдем, а поняв, уж убедимся сами, лишь бы только поняли:

— Как же можно, почти не имея доступа на предприятия, оповестить и приготовить людей? Как сделать, чтоб оратора сейчас же не забрал городской, который дежурит у фабричных ворот? Как можно задержать у ворот большую массу людей? Что можно успеть сказать в две-три минуты? И как могут люди вслушиваться в какие-то аргументы оратора, когда городской будет свистать тревогу, когда сейчас же из всех щелей выползут все соглядатаи, когда каждый рабочий будет оборачиваться назад и ждать, не скажут ли на свисток городского казачки с плетями, и в толпе будут шептаться, что из конторы уже звонят по телефону в охранку? А затем, как отступить? Как разбежаться на глазах у полиции? Как спасти оратора? Ведь это же, товарищи, почти равносильно тому, что мы провоцируем самих себя на полный разгром.

Ефим Иванович нарисовал перед нами точную картину, как все это произойдет и чем каждый раз будет заканчиваться. Меткие черты, детали, правдивые, из жизни схваченные штрихи, словечки, так живо все сливалось в неотразимый аргумент; какой простой, ясный, спокойный, уверенный в себе здравый смысл, неотразимый здравый смысл!

Общая сосредоточенность стала еще мрачней. Ведь мы сейчас не отвлеченные вопросы решаем каждый про себя. Мы вроде как на поле битвы, на передовой линии огня, и где-то близко перед нами неприятель, и наше каждое маневрирование может быть им замечено и использовано. Мы ведь сейчас отступаем почти по открытой местности. А неприятель занял господствующие холмы. Мы под обстрелом свертываемся, рассыпанными кучками и поодиночке, используя каждое

прикрытие, каждую ложбинку, ямку, рытвину, кустик, камень, пень. А вот сейчас нам говорят, что нужно подняться, встать и сделать под огнем перебежку от одного прикрития к другому. Надо все учесть, все примерить, все высмотреть. Ефим Иванович сделал паузу и молча наблюдал нашу сосредоточенность; сомнения, пожалуй, нет, слушатели были в его руках. И тогда он нанес удар:

— Не подсказала ли тебе, Сундук, твое предложение какая-нибудь отравленная провокаторская подсказка? Об этом тоже в наше время стоит, товарищи, задуматься.

Слова эти прозвучали, как будто кто хлестнул плетью. Мне стало так больно, что лучше бы не жить. Казалось, толкают к последней грани отчаяния, неверия, подозрения. Ефим Иванович все это разгадал и поспешил разъяснить:

— Меня надо понимать, что это только так выходит объективно, а не то, чтобы Сундук нарочно, сознательно придумал такое.

Сундук в это время, наклонившись к Степаниде, рассматривал с нею серебряный подстаканник, ему одному поставленный, в отличие от других. Он на мгновение только отвлекся от подстаканника:

— Вали, Связкин, без извинений, не стесняйся.

Клавдия покраснела до пунцовости. Пониманию, от обиды за Сундука и сказала глухо, едва слышно; от застенчивости она охрипла:

— А как же раньше? Устраивали же летучие митинги у ворот?

— Когда?

— Еще год тому назад.

— Всего год! А эпоха, эпоха уже другая! — торжествовал Ефим Иванович.

— А что предлагаете на место этого? — спросил ветеран пятого года из моего подрайона. У Ефима Ивановича в ответ были наготове трафареты:

— Сейчас историческая тенденция такова, что, при состоявшейся сделке буржуазии с царизмом, рабочий класс исторически вынужден защищать в рамках нового режима прежде всего свои права на коалиции, то есть права объединяться в союзы и прочее. Поэтому непреодолимое стихийное стремление многомиллионных масс должно вылиться в сбор петиций, от-

стаивающих право рабочих на объединение.

Мой ветеран спросил:

— А что такое петиция?

Ефим Иванович запнулся, но потом вспомнил книжечки со своей полки и ответил:

— История Англии и других парламентских стран знает примеры...

Я его перебил и объяснил ветерану громко:

— Петиция — просьба, прошение.

— Выходит, прошение предлагаешь, Ефим, подавать? — И ветеран добавил, не дожидаясь ответа: — Рассуждения у тебя ядовитые и храбрые, а предложения трусливые.

Ефим Иванович не обиделся на ветерана. Он повернулся к Сундуку и попросил:

— Расскажи ему, Дроздов, какой я трус и как мы под пули ходили в пятом году.

Сундук сейчас же поторопился «поддержать» Ефима Ивановича:

— Ефим Иванович ни пуль, ни нагаек, ни тюрем действительно не боялся.

Связкин вставил:

— И хозяев тоже.

Сундук подтвердил:

— Не боялся и хозяев. Он только, наш Ефим Иванович, боялся всегда своих меньшевистских идей и был всегда от них в зависимости, а это уж они, а не его личная трусость, заставляли его бояться хозяев и жандармов.

После Ефима Ивановича говорил Василий. Ему хотелось высказать сразу все: и личную обиду за то, что взял от него оружие, и возмущение тактикой, предложенной Сундуком. Он торопился, горячился, перебивая самого себя, волновался:

— Сундук просит: только не стреляйте, только не вступайте, избави бог, в драку с полицией, будьте вежливы! Легальщина вас заела! Митинги у ворот под носом полиции — это хорошо! Но что ж, поднимем такую бучу, а для чего? Для того, видите ли, чтоб вежливость свою показать и чтоб лучше подготовиться к легальному съезду, то есть к блошиной возне, к выступлению на конференции фабрично-заводских врачей. Это, как говорится, обещал кровопролитие, а кончил тем, что чижику съел. Где наши принципы? Где наша непримиримость?

Где наша революционность, я вас спрашиваю? Где энтузиазм, где беспощадная боевая стремительность, где?..

Василия перебил Тимофей:

— Будет зря кричать. Криком не возьмешь. Мы будем держаться, как Сундук сказал. Мы ему верим.

Связкин на слова Тимофея деланно трагически развел руками:

— Значит, своего в голове ничего нет, а как Сундук прикажет?

— А ты чего, Ефим, петушишься? У тебя, небось, своего в голове много! Сам, поди, бегал к своим профессорам спрашиваться. А по-нашему, дело ясно: на рожон лезть не надо, но и сложа руки сидеть не годится. Вот и считайте, что я речь произнес.

— Позвольте теперь кратко мне сказать, — встрепенул лектор. Он разобрал «преимущества и недостатки всех высказанных здесь соображений». И сделал это не без огня. Когда же дошел до выводов, то, устал ли он, или не нашел в себе ни к чему предпочтения, но стал как-то равнодушен и закончил речь при общем безразличии, однако с сознанием исполненного долга.

После его речи, как по уговору, многие посмотрели на часы. Связкин сказал:

— Мне нужно точно, минута в минуту, быть по одному делу в одном месте. Я вынужден уйти. Если будете голосовать, считайте, что я против предложения Сундука.

После ухода Связкина пришлось говорить Михаилу. Его вызвал Сундук:

— А что скажет Миша?

Михаил, видно, колебался:

— Ты, Василий, как стихи читаешь. Это ни к чему. А Связкин, как псалтирь дьякон возглашает. По-моему, митинги у ворот — это хорошо, это расшевелит. Но как потом закрепить дело, не вижу.

Сундук перебил его:

— Придется после митингов прокламацию выпустить о партии. Лучше тебя никто не напишет... Тебе и поручим... Вот и закрепляй.

Миша растерялся:

— А я никогда прокламаций не писал.

Приглашенный из лекторской группы сказал:

— Прокламацию поручили написать мне, как литератору.

— А наш Миша! — воскликнул Сундук. — Он тоже литератор. Верно ведь, Павел, наш Миша — литератор? И этот литератор, уж будьте покойны, знает, каким языком говорить с рабочими. Так мы и решим: Мише писать прокламацию.

Миша запылал радостным огнем. Он с благодарностью и дружеской нежностью поглядел на меня и на Клавдию: «Это вы, мол, сказали Сундуку, что я пишу».

Михаил преобразился. Публичное признание его литератором было для него неизведанным счастьем.

— Мишка поставлен на свою полку, — шепнул Сундук.

Теперь подходило говорить мне. Сундук подбодрил меня:

— Размахнись, размахнись, Павлуша!

Ветеран пятого года проворчал:

— Многовато говорим. На Тимофее бы и покончить. Он все сказал: на рожон не лезть и сложа руки не сидеть.

Мне хотелось вначале пересказать доводы наших противников справа и слева в самом убедительном, в самом сильном их логическом строе, очищенном от частных исток, чтоб все видели, как нам насквозь понятны истоки их мнений, а затем уж взглянуть на все эти доводы со стороны, поднявшись над ними выше, и отместить их, как ненужную ветошь. Но только я сказал первые фразы, как позвонили. Это был неожиданный, непредусмотренный звонок.

— Ко мне никто не должен быть, по субботам я никому к себе не разрешаю. Отговариваюсь, что, мол, ко всенощной ухожу. Что ж делать-то теперь, скажите мне, милые?

Сундук поднял руку:

— Останьтесь, товарищи, на местах. Вы в гостях у Степаниды Амвросиевны по случаю того, что завтра воскресенье. А вы, Степаша, бегите скорей отворять, чтоб не заподозрили замешательства.

Степанида ушла. Сундук шопотом предложил:

— Проверьте, товарищи, нет ли в карманах адресов, записок, нелегальщины какой.

Клавдия спросила меня:

— Паспорт у вас есть, наконец, Павел?

Степанида Амвросиевна ввела... Ефима Ивановича.

— Я вернулся, товарищи, предупредить... Уходите-ка скорей, на улице около дома подозрительные...

— Сам-то ты зачем вернулся? Засыплешься, — сказал Сундук.

— А как же иначе вас было предупредить? Ну, а засыплюсь, так уж заодно со всеми. За компанию хромой пляшет.

Решено было расходиться поодиночке и попарно через короткие промежутки.

В первой паре Сундук назначил идти Василию и Мише.

— Первая пара разведывательная. Вы оба легальные. Риск для вас меньше. А напоретесь на арест, дайте как-нибудь знать. Ну, затяните, что ль, песню. Нет, нет, Степанида, через занавесочку не выглядывайте во двор, вас будто ничто не касается.

Хотел в первой паре идти Тимофей, но Сундук удержал:

— Обожди! Прояснится после первой пары, у тебя ребятишки.

Перед уходом первой пары Сундук предложил голосовать решение по его докладу. Сундук, Клавдия, Тимофей и я голосовали за митинг с теми целями, как изложил Сундук.

— Из девяти четыре «за» — меньшинство! — сказал Связкин торжествующе.

— Что? Четыре только? — спросил Миша, вернувшись из передней в пальто и шапке. — Тогда присоедините к ним и мой голос.

— Давайте уж и мой к ним, — сказал ветеран пятого года.

Немного обиженный, немного равнодушный, посланец лекторской группы «воздержался».

— А я против. Решительно против! Был и останусь против, — объявил Связкин.

— Василий, как ты? — спросил Сундук.

Но Василий был уже в передней, на пороге выходной двери. Сундук догнал его.

— Обойдетесь без меня, у вас и так шесть из девяти.

— Верно, — сказал Сундук, — шесть из девяти. Значит, принято. Пойдите, товарищи! Завтра через явку сообщим, кому, где, у каких ворот выступать и через кого держать связь с назначенными заводами. В эти дни

короткие явки будут каждое утро для постоянной связи. Я буду на явке часа два, и каждому будет указана своя очередь, когда придеть ко мне. Мое только к вам напоследок напутствие: прорывайтесь через все чортовы заграждения, лишь бы вас услышало как можно больше людей! Как бережем себя всегда, так там будем бешено рисковать собой: к массам ведь прорываемся! Там всякий риск оправдывает себя. Рискуйте очертя голову и не щадя себя! Смелей, товарищи!

Василий задержался у двери и слушал Сундука, мне показалось, с восхищеньем. Сундук заметил это и спросил его:

— Вася, ты не голосовал с нами. Но дисциплине-то подчинишься?

— Спросил тоже! Конечно, подчинюсь.

— Ну, увидим. Нет, постоя минутку, не открывай дверь. — Сундук взял Василия за плечи, обнял. — Васька, помни мое слово: хороший ты парень, но последнее мое слово к тебе: одумайся, брось пить, во-первых, а во-вторых...

Василий перебил его:

— А во-вторых, нотации мне не читай. Я сам с усам. Прощай.

— Ну и дурак! Прощай.

Во вторую пару Сундук назначил себя и меня:

— Раз прошла первая пара, разведывательная, повидимому, благополучно, надо спешить убрать скорей нелегалных, Павла и меня. Выйдем, Павел, вместе и сейчас же разойдемся поодиночке.

Но я намеренно замешкался, сделал вид, что потерял шапку. Мне тяжело было оставлять Клавдию. Сундук рассердился на мою медлительность:

— Пойдешь после, а со мной выйдет Связкин.

Связкин был уже у самой двери, как вдруг обернулся, хотел что-то сказать, но не нашелся и неожиданно потрепал меня за ухо, очевидно в знак нежности.

Затем ушли ветеран и Тимофей. Я все еще будто бы искал шапку, которую запрягал к себе в карман. Следующим попросил отпустить посланца лекторской группы. Клавдия требовала, чтобы с ним шел я, а я уговаривал итти ее. Она, смеясь, сказала:

— Я должна сойти с корабля последней.

Пришлось лектору итти одному. Он, кажется, не был огорчен.

Мы постояли немного в передней. Послушали: снаружи все тихо, только что-то хрустнуло в оконной раме от мороза. Клавдия и Степанида Амвросиевна от волнения сдерживали дыхание. Клавдия шопотом сказала:

— Ну, выходим и мы.

В сенях, уже у самой внешней двери, мы услышали со двора скрип ступенек: кто-то поднимался по крылечку.

— Назад, в комнаты,—прошептала я.

Мы вернулись и сейчас же сбросили пальто.

— Паспорт у вас, надеюсь, уже прописан? — спросила Клавдия.

— Нет.

— До сих пор не собрались? Знай бы это Сундук, он не пустил бы вас на наше совещание. Покажите мне, какой у вас паспорт.

Я достал из кармана и подал свою фальшивку Клавдии.

Степанида Амвросиевна рассердилась:

— Да бросьте вы паспорт. Унесем скорей посуду, оставим только две чашки, будто мы двое чаевничали и нежились. А Павла спрячем.

Из сеней донесся стук в дверь.

— Куда же деть Павла?

— Лезьте, Павел, сюда вот под столик!

— Какой?

— Да вон, который до земли закрыт зеленой суконной скатертью. И не догадается никто.

Действительно никто не догадался бы, что человеку придет в голову спрятаться под таким малым и узким столиком. На столе стояла под стеклянным колпаком бронзовая литая группа, изображавшая часы, на которые по бокам опирались фарфоровые пастушок и пастушка, а рядом звивался бронзовый конь. Скатерть ниспала по самый пол, даже несколько стелилась по полу. Я поднял край скатерти, заглянул под стол, и сразу вспомнилось детство: интересно под столом прятаться, паутинки висят между стенками выдвижного ящика и углом; я любил в детстве забираться под столы или лежать на гардеробах во впадине, загороженный от всего мира узорчатым карнизом.

— Лезьте скорей, Павел, стучат сильней.

Прятаться, конечно, надо было, и

как можно быстрее, но что-то во мне восприветилось:

— Я не полезу под стол.

— Да почему, Павел? Ведь надо же!

— Не хочу!

— Вы, как мальчик, капризничаете! — сказала Клавдия. Но мне показалось, она была довольна моим, мне самому непонятным, упрямством.

— А они и есть мальчик, — подтвердила Степанида Амвросиевна, — и им кажется, что некрасиво такому bravому молодому человеку да под стол лезть.

— Нет, я не поэтому, конечно. Но это было бы как-то глупо, дешево.

— Некогда рассуждать. Прячьтесь.

Я вошел в соседнюю комнату, в спальню Степаниды Амвросиевны, и просто встал за дверь. Будь что будет!

* * *

— Что же вы не открывали сразу? — спросил околоточный, вошедший с городовым и человеком в штатском, очевидно шпиком.

— Тетушка у нас глухая, старенькая, а мы заговорились за чаем. Гостя у меня дорогая, моей покойной мамашки крестница, профессорская дочка. Селиверстова профессора, небось, слышали?

— Где же у вас люди?

— Прислуга? А у нас людей никаких нет, не держу.

— Выходили, говорят, от вас люди.

— Выходили, может, точно. Да не от нас. У нас наверху, в мезонине, жильцов две семьи, и всегда у них приходящих много.

Шпик и городской стали у двери. Околоточный распорядился:

— Осмотреть все помещение и черный ход.

А сам заглянул в спальню и увидел там ничем не тронутый покой.

Как будто все вещи застыли так, как их положили целые века тому назад. Все было тихо, и только чуть потрескивал фитилек на поплавке в лампаде перед кютом. Околоточный сейчас же повернул назад в столовую. В следующий миг, не знаю как и почему, но я почувствовал, что случилось что-то тревожное. И вдруг слышу спокойный, сдержанный голос Клавдии:

— Пирожка домашнего откусывать не желаете ли?

Зачем, зачем она это говорит? Это ведь переигрыванье, опасное переигрыванье. Я слышу, она переставляет блюдо.

— А назовите, пожалуйста, сударыня, ваше имя, отчество, фамилию. Как попали сюда? С какой целью? Где изволите проживать? Документы, пожалуйста, какие имеете при себе, чтоб удостоверить себя.

Осмотрев документ, помедлив, подумав, околоточный сказал:

— Госпожа Селиверстова, я вас попрошу, пройдемте с нами в часть, здесь неподалеку, на Пятницкой, для проверки, не более как на десять минут. А на вас, сударыня, как домовладелицу, — обратился он к Степаниде Амвросиевне, — я напишу штраф... это... самое... ну, там видно будет... то есть снег плохо счищен на тротуаре... Извещение получите завтра.

Они ушли и увели Клавдию. Арестовали или нет? Но если даже нет, то с ней нельзя будет некоторое время видаться из предосторожности.

* * *

— Зачем она вздумала угощать его пирожками? Ведь он собрался уже уходить. Зачем? Скажите, Степанида Амвросиевна?

— Ах, Павел, если б вы видели, мы так испугались с нею! Ведь все чуть не погибло. Спасибо, Клавдинька сумела во-время найтись. Приподнимите-ка вот это.

Я приподнял блюдо. Под блюдом лежала моя фальшивка, брошенная второпях Клавдией на стол и оставленная там, когда вошел околоточный со своей свитой.

— Я чуть не ахнула, когда он взглянул на стол. Думаю, увидит паспорт. Что тогда, думаю, будет? Все раскроется, начнут обыскивать. А Клавдюша околоточному: «Пирожка не угодно ли?» — приподнимает, смотрю, блюдо; тычет ему перед глазами, чтоб на стол не глянул, а потом ставит блюдо на самый паспорт, — так и прикрыла. А остолопы-то, фараоны-то два, хлопали бельмами и ничего не выдали. Вот ведь как Клавдинька сообразила повернуть! Ну, а теперь, пе-

чальтесь, не печальтесь, а лучше вам остаться переждать, пока они все разойдутся и со двора слезжку снимут. Садитесь к столу, еще чайку выпьем, а может, и Клавдинька явится.

Я сидел молча и досадовал, как досадовал бы всякий, попавший в западню. А Степанида Амвросиевна, обремененная грузом впечатлений, рада была моему молчанию.

— Уж я целый вечер вас всех слушала, слушала, и так умилялась. Послушать и на всех посмотреть для меня — как у праздника побывать. Вы простите, что я так сравниваю: мне с вами тут у стола посидеть, как на торжественной всенощной постоять — так все возвышенно, такая чистота душевная, вроде как поют: «Свете тихий, пришедший на запад солнца и видевший свет вечерний». Ей-богу, и вы вроде каких-то мучеников... в катакомбах. Я читаю сейчас «Камо грядеши». Знаете, я ведь одинокий человек, вдова. Радуюсь на вас и думаю: родись я в древнюю старину или не будь у меня этих ваших суббот, я, может быть, и в монастырь бы ушла, в кельи бы, может, затворилась. И я любила бы монастырские стены вокруг молчаливого сада, тихий звон, высокие деревья возле белой церкви, полумрак под сводами храма, лучи солнца, падающие из узких окон под куполом, разноцветные стекла вверху, аромат ладана, поднимающийся к высям. И любила бы я строгие посты, всякие лишения, какие налагаются на плоть. Светильник мудрости возжигала бы и несла бы его мирянам. Только теперь таких монастырей, праведных и светлых, конечно, нет и не бывает. У них, говорят, теперь разврат, корысть, и светильник их давно погас. Я ведь, Павел, очень несчастна всю свою жизнь. Я была замужем за стариком. Это был грязный человек. Он — муж, а безобразничал со мной, как с купленной. Я один раз его по бестыжей роже ударила. А он стал еще озорней и гаже, как будто добивался, чтоб я его еще раз ударила. Я им, как проказой, брезговать стала. И боялась его, как паука за иконой. Молился он с сопеньем, со вздохами. Я через него узнала всю подлость и грязь жизни. И возненавидела все. Никаких удовольствий в жизни не видала, и мне их не надо. Я полюбила строгую, скромную жизнь. Сижу и

плету кружева. Очень люблю выдумывать разные, все новые рисунки. Ко мне женщины ездят учиться. Я женщина очень сочувствую. А мужчин я не люблю, конечно, кроме ваших товарищей. Это — люди отменные. Я смотрю на вас целый вечер и как роман какой читаю, про богатырей, про дуэли, про сражения или про рыцарей на конях, вроде как передо мной идут ратники на приступ, идут и падают, кровью обливаются, а идут все куда-то на валы, и огонь по ним хлещет. Я после каждой субботы ночи две-три не сплю, и вы все мне наяву снится, особенные, беспокойные; все стремитесь куда-то, все вам не сидится на месте, и я люблю, что вы такие чудные...

— То есть, чудные, вы хотите сказать, Степанида Амвросиевна?

— Нет, чудные! Чудные и отчаянные. Да я ведь дура. Я из разговоров ваших по-своему все беру и понимаю. Толком-то не разбираюсь, что к чему и о чем говорится. Но людей-то, душу-то их, кто к чему устремляется, это я очень угадываю. Вот, например, нынче Ваня Дроздов, Сундук — о митингах. Я не поняла, зачем это надо, но он, как римлянин в «Камо грядеши», все так разумно, все так взвешивает и рукой смело указывает. Простер руку и говорит: «Вот так идите, туда, прямо, смелей, через этот, как он в истории называется, Геликон, что ль, или Рубикон». И всех-то он насквозь понимает. Так хладнокровно все видит, и спокойно смотрит, а сам кипит внутри. Но слушает не то, что у него внутри, а глядит смело, — что перед ним; оттого ничего и не застилает ему ясный его взор. А другие, те слушают, что у них внутри, какое желание бьется, и хотят подогнать все, как им мечтается, а не как по горькой правде складывается. Оттого Ваня Дроздов и может победить какие ни на есть препятствия, а те не могут. Они вроде болезненных, юродивых, все плачут. Вот Связкин, — он говорит, а слышится вроде как стонет и все кого-то о чем-то умоляет. Взять же Василья, — тот иначе, ни на тех, ни на других непохож. Он говорит, и все ему кажется, что он стоит на возвышенности, вроде Лобного места, и все взывает: где доблесть? где честь? где храбрость?.. А им будто все любят-ся и будто у него борода русая,

кафтан на нем малиновый. Всякий из вас по-разному и по-своему. А я на всех смотрю и дивуюсь. Спасибо Ване Дроздову, что он меня к вам привлек. Сам-то он очень такой пристойный, возвышенный и такой величественный, хоть и простой и ходит в сапогах смазных. Ему бы не говорить, а петь бы! Среди народа стал бы и пел бы! И все бы слушали!.. Я и жену его знаю. В Серпухове у Коноплиных на ткацкой фабрике работает. Несчастливая женщина!

— Почему же несчастная?

— Потому — слепая.

— Слепая?

— Не в том смысле слепая, а что не видит, какой около нее человек ходит. Говорят, она будто тоже хочет в вашу партию войти. Да ведь кто хочешь может сказать: буду, мол, в вашей партии! Да не всякому дано быть. Она только может наказание принять за вашу партию, если арестуют, а все равно крыльев ей, как у Вани Дроздова, никогда не иметь, и ей с ним по высотам не летать, уж вы мне в этом поверьте.

Я посмотрел на Степаниду: ресницы черные, предлинные, как опустятся — совсем прихлопнут, спрячут ее взор, а поднимутся — покажут глаза глубокие, темные, как вода под грозовой тучей. Лицо у нее продолговатое, узкое, а нос широкий, в пол-лица; щеки в густом и свежем румянце, лоб смелый, посадка головы горделивая. Много в Степаниде смутного и нерасцветшего.

— Глядите, вижу, на меня и думаете: зачем она? На что такая? Да, правда, куда гожуся? Никуда. Я ведь молодая еще, мне — тридцать. А взгляните: целая прядь седая. Я вам так доверчиво все про себя рассказываю. Клавдинька пришла раньше других, и, угадайте, о ком мы с ней вдвоем тут разговор вели? Не угадаете! О вас, конечно! Она вам хорошо верит. Вы — счастливый!

ГЛАВА VII

Через день, в понедельник, на городской явке, мне дали поручение выступить у ворот Голутвинской мануфактуры, в переулке на Якиманке.

На-днях же я узнал, что Клавдия после допроса отпущена. Но Сундук, опасаясь¹ слежки за Клавдией, реко-

мендовал нам всем соблюдать осторожность, не заходить к ней, не встречаться с нею, а ей самой от работы в организации на время отойти.

За день я побывал в своем новом, Голутвинском, подрайоне на четырех квартирах у рабочих, которые работали в ночных сменах и к полудню успевали выспаться. Они взялись в обед поговорить с нужными людьми с Голутвинской мануфактуры. Все время я с напряжением поддерживал в себе равновесие и куда-то вглубь угнал тревожное ожидание вечера.

Но вечер все-таки подошел. Наступили сумерки. Вспыхнули светлые точки фонарей... Я остановился на Каменном мосту: Кремль был тих, в Дорогомилове догорала последняя полоска зари... Стояла оттепель. Я влился в шумное, оживленное течение вечерней толпы и поплыл в нем, уносимый, как песчинка. А мысли мои были горды: вот, значит, я уже иду, и минуты приближаются; я выйду из этой колеи, отделюсь от этой толпы, сверну, войду в переулок, и произойдет что-то большое, что называют событием, — может быть, частица исторического события. И сердце мое начало стучать.

В переулке было пустынно. Ни одного прохожего. Как на мельнице падает вода в стремнину, — лился гул от веретена на фабрике. Но так как он не умолкал ни на миг и был сплошной, тягучий, то казалось, что это тишина. Ее не нарушало, а скорее, может быть, усиливало ритмическое поныкивание где-то вдали низкой, узенькой жестяной трубы с крышкой наверху.

Я спускался по переулку с Якиманки, по левой стороне, а фабрика была внизу, в конце переулка направо. Ее окна, хоть грязные и стиснутые, как щели, заливали сиянием улицу, — так много их было. Их отсветы ложились полосками на снегу.

Не дойдя до края переулка, я остановился на противоположной стороне от фабрики, нанскось от фабричных ворот, и сел на скамеечку в нише у церковной ограды. Церковь была темна и заперта. Отсюда мне был виден, как на ладони, выход из фабрики. Надо было только ждать. Я посмотрел на часы: до конца работ оставалось еще две минуты. С фабрики лился все тот же сплошной гул станков, и ничто не

предвещало близкого окончания работы. А может быть, я ошибся, и долго еще не будет конца работе? Хорошо бы подождать, хорошо бы отложить это все на завтра, завтра лучше это у меня выйдет. Нет, уж пусть лучше сегодня, сейчас же, скорей, в эту минуту, в этот миг!

Прошла уже минута или нет? Я посмотрел на часы: нет, еще не совсем; протянулось лишь сорок секунд. А где-то, как будто далеко, за какой-то гранью, жила своей обычной жизнью Москва.

Я нащупал в кармане кепку, принесенную затем, чтобы надеть ее, когда выйду говорить. Все готово, только мыслей никаких. О чем говорить буду, как начну, совсем не знаю. Но скорее же, скорее!

— Куда тебя черти-дьяволы несут? — слышался старушечий голос за калиткой соседнего двора. — Ишь ты, за воробьем взвилась. Ну, значит, оттепель постоит, коль кошка играть охоча.

И вдруг возникли и понеслись режущие, звенящие звуки колокола на фабричном дворе, вначале медленные, потом чаще, чаще и перешли в набатную дробь. Мгновенно стих гул станков, и стало как-то холодней в переулке. Я быстро сорвал с себя шапку, сунул ее за пазуху, вытащил из кармана кепку и надвинул ее на лоб. Колокол все еще звучал. И потом сразу смолк, как будто у него разорвалось сердце от волнения и ожидания. На фабрике почувствовалось движение людских масс. Начинать долетать до меня говор. Наконец обе половины ворот распахнулись. Вначале выскочила небольшая группа человек в двадцать—тридцать; выскочила стремительно и тут же у ворот на тротуаре остановилась. Я сорвался с места и побежал через дорогу к воротам. Пока я перебежал мостовую, толпа из ворот пошла дальше широкой волной. Кое-кто останавливался, поджидая, а большинство начало растекаться в стороны. Добежав, я вскочил на тумбу и крикнул во весь голос:

— Товарищи!

Меня сразу окружили кольцом те, что выбежали первой кучкой. Это были предупрежденные о митинге наши и сочувствующие нам. Остальные, из тех, что стали было уходить, остановились.

Я крикнул еще раз: «Товарищи!» — и оглядел толпу: народу около меня собралось уже сотни три-четыре, и все прибывало со двора. Толпа уже заполнила переулок почти во всю его ширину. Рядом так в четвертом, пятом от меня пожилой рабочий, тощий, рыжий, конопатый, в картузе с полуоторванным свисавшим козырьком, одетый в грязную коленкоровую на вате куртку, впился в меня глазами и застыл. В его взгляде было что-то насмешливое и заранее разочарованное. Ну, мол, говори, говори, все это мы уж слышали, нового не скажешь. Я тоже прилип к нему взглядом и никак не мог оторваться от его глаз, пока говорил. Вся толпа для меня не существовала, а хотелось только его взволновать, его привлечь. Так в одну точку я и смотрел, на него одного, во время всей своей двух-трехминутной речи. И я сказал ему от всего сердца, что нет силы, которая может нас с ним победить или остановить, что время не стоит на месте и все на свете за нас с ним, и будут у нас с ним еще дни подъема, торжества и победы, что вешать нам головы не надо, что мы неистребимы и наша партия тверда и непоколебима.

Я видел, как замелькала в его взгляде мысль, — слабыми вначале вспышками, затем разгорелась, отодвинула в стороны его душевный мрак. Он отсунул картузишко на затылок, конопушки около его глаз сдвинулись, засияли, он уж сдерживал идущую из глубины улыбку, как вдруг забеспокоился, оторвался от моего взгляда, оглянулся назад, что-то увидел и крикнул мне:

— Беги, миляк!

За ним закричали сзади:

— Городовые! Товарищи, разбегайтесь!

Дальше я действовал уже по инстинкту. Рассуждать некогда было. Я поднял руку и крикнул:

— Стойте, товарищи! Спокойствие! Закончим!

Мое хладнокровие подействовало на толпу. Кто-то крикнул:

— Без паники!

Другой голос поддержал:

— Больше выдержки. Оратора охраняйте. Не разбегайтесь сразу.

Еще моих две фразы, — я прокричал призыв и лозунг. Мне захлопали. Около меня плотно стали человек сто.

Городовой уже покрикивал в задних рядах:

— Осади, разойдись!

Но, видно, он побаивался втираться в глубь толпы.

— Осади городского! — прокричал мой веснушчатый приятель.

Городового оттерли к воротам. Он засвистал в свисток.

Мы побежали вниз, к каналу, или, по-старомосковски, к Канаве. Побежали густой, сбитой группой. На перекрестке кто-то из наших рабочих командовал разделиться. Одна группа побежала прямо к Канаве, другая побежала направо, в третью, самую малую, включили меня, и мы направились налево, к Калужской площади. Как только мы отделились от двух других групп, все тот же командующий рабочий велел сбавить ходу и идти шагом. Мы слышали свистки и погоню за двумя другими бежавшими группами, от которых мы отделились. Мы сделали заворот за угол. Мне показали проходной двор. Я вошел. Там, в безлюдном и темном уголке, я снял желку, вытащил из-за пазухи каракулевую шапку, одернулся, отряхнулся, застегнулся на все пуговицы, засунул руки в карманы и перешел на походку развалистую, медлительную, как полагается человеку, беззаботно наслаждающемуся вечерним отдыхом.

— И куда же тебя черти-дьяволы носят! И чего ты по чужим дворам, скотина, рыщешь? Кис, кис. Провались ты!

Снова услышал я знакомое старушечье ворчанье. Оказывается, я вышел опять к той же церковной калиточке, около которой я сидел тому назад... вечность... Нет, в самом деле, вечность ли? Впрочем, очень похоже на вечность: давно это было. Я посмотрел на часы: семь минут тому назад это было! Всего семь минут. Да неужели правда, что семь минут? Конечно, семь минут, да и старуха все еще прогуливается со своей кошкой. Как мы не понимаем, что такое время и какое оно вместительное! Как долга и прекрасна жизнь!

Я вышел в переулочек, к той же нише, в которой ждал. У калиток кое-где были люди, шел говор... А и догадливо же товарищи составили маршрут моего отступления: меня искать будут, конечно, уж не здесь. Я прошел неторопливо, волоча ноги, как чело-

век, может быть, обеспеченный недвижимой собственностью, а может быть, большими процентами с капитала. Чего, куда спешить такому!

— Иль случилось что? — спросил я у одной кучки обывателей.

Вот я вышел на Якиманку. Какой-то голос затянул: «Ты, канава, ты, канава, москворецкая вода». Вот я на Каменном мосту. Тих Кремль. Догорела заря над Дорогомилковым. Опять плыву незаметной песчинкой в оживленной вечерней городской толпе.

* * *

На другой день вечером мне надо было выступать в районе Шаболовки на красивом предприятии.

Второй раз идти на дело, связанное с риском, трудней, чем в первый: знаешь уже, как случайна была удача и как легко она могла не быть. Но если второй раз пройдет удачно, то начинаешь верить в удачу. А уж после третьего, четвертого раза появляется вера в себя и в то, что удача тебе покорна, что она сама обязательно придет, когда тебе понадобится, и что тебе надо только быть спокойным и веселым.

С утра мне все не удавалось. Уходя с ночевки, я встретил на улице Сундука, направился было к нему, чтоб узнать, сколько митингов было проведено вчера и удачно ли прошли, но он сделал мне знак не подходить к нему.

Перед тем как заступить послеобеденной смене, я побывал на одной квартире у рабочих красивой фабрики, условился с ними, как им действовать, какой стратегии держаться. А перед моим уходом зашел в эту квартиру дворник, разговорился, пожелал познакомиться со мною и как-то пристально все ко мне приглядывался. Его, правда, скоро выпроводили, но он попался мне на улице неподалеку от ворот фабрики, раскланялся и снова попытался вступить в разговор. Я решил переменить пальто и до самого вечера разыскивал, с кем бы можно было поменяться. У кого была одежда моей получше, те под благовидными предложениями отказывались, видимо, думая, вернется ли, мол, с одеждой. Наконец я облачился в замызганную хламиду образца допотопного времени, с бахромой на рукавах и с

порванными карманами, — даже запасную кепку в них нельзя было спрятать.

Вечером, подходя к фабрике, я безотчетно был убежден, что сегодня буду арестован, и шел, только повинуюсь распространенной у подпольщиков привычке свято выполнять принятое на себя от товарищей поручение. Издали я заметил у фабричных ворот часы и только успел, к своему ужасу, разглядеть, что опоздал, как ворота фабрики распахнулись и на улицу высыпали первые группы рабочих. Растерявшись от несжиданности, я бросился бежать к воротам. Меня отделяло от них не меньше полтора шагов. Побежав, я спохватился, что забыл сменить шапку на кепку, но было уже поздно, к тому же из-за худых карманов в пальто, взятом напрокат, я запрятал кепку очень далеко. На бегу я видел, как вышел из сторожевой будки городской и стал в боевую позу у самых ворот. Очевидно, вчерашние митинги воспользились полицию, и она «приняла меры».

Надо было, вероятно, повернуть назад или броситься в сторону, но бегущему человеку раздумывать и прикидывать некогда. Я на всех парах подлетел к воротам и с разбегу столкнулся нос к носу все с тем же дворником, который заинтересовался мною днем. Вся заранее придуманная нами стратегия рушилась.

К счастью, наши товарищи действовали молниеносно. Между мной и дворником выросла стена. Дворника наши оттолкнули на мостовую, а меня — я не понимал зачем, — втянули в ворота, во двор и сейчас же захлопнули ворота со двора, заперли их, а с ними и калитку. Таким образом я оказался отделенным от городского и от дворника. Толпа во дворе загоготала: очень всем понравился неожиданный маневр.

Но возбужденный всеми этими приключениями и потерявший от всех случившихся неожиданностей внутреннюю сосредоточенность, я проговорил свою двухминутную речь вяло. Пролушала меня равнодушно.

Когда надо было убежать со двора, я вполне оценил ловкость проделанного нашими товарищами приема. Оказалось, что фабричный двор огорожен невысокими заборами, которые граничили с заваленными всяким хламом

пустырями, изрытыми канавами. Отступление наше началось сразу по всей линии заборов: человек сто — двести одновременно перелезли через заборы и растеклись в разные стороны по пустырям. Городовой и дворник проникли на фабричный двор через контору. Городовой свистел, дворник кричал. Но что можно было сделать?

Перед выходом на Калужскую улицу я сунул шапку во внутренний карман пиджака, а оттуда вытащил кепку. Какие-то две бумажки выскочили при этом у меня из кармана. Ветер подхватил их, и они, закружившись, полетели на мостовую. Я забеспокоился: что это за бумажки у меня могли оказаться в кармане? Но не гнаться же за ними в моем положении. На улице была мгла. Керосиновые фонари на Калужской зажигались не все подряд, а с пропуском через один-два.

Истекший день казался мне неудачным. Я был недоволен собой и решил, что не гожусь для летучих митингов, что у меня нет нужной выдержки, нет спокойствия и всегда бодрствующего вдохновения.

Рано утром на явке было сообщено, что по всему району за оба дня митинги прошли удачно. Арестов не было. Столкновение с полицией случилось только одно — за Серпуховской заставой, в Котлах. Городовой накинулся на Мишу и нанес ему своей «селедкой» (шашкой в ножнах) удар по голове, но был «отбит с тяжелыми для себя потерями».

К концу явки Миша, хоть и забинтованный, явился веселый и готовый продолжать выступление.

— А эту самую мою шишку я еще — вот увидите — использую для дела в легальной работе, — у меня есть на этот счет планчишко, если, конечно, нынче вечером не сцапают!

Мне было назначено провести еще два митинга: один у ворот самой большой типографии в Москве, другой у ворот завода Бромлея. О моем вчерашнем недовольстве собой я перестал и думать, как только мне дали поручение. Попробуем взять себя в руки и добиться хладнокровия и такой внутренней спокойной сосредоточенности, чтобы дать в речи всю ясность и весь огонь, какие нужно.

Подготовка митингов, которые на

этот раз предстояло провести, очень меня тревожила. На заводе Бромлея у меня не было никаких личных связей. Надо было в первый раз знакомиться с людьми по адресам, которые я только что получил на явке. А типография была та самая, где работал Ефим Иванович Связкин. Авторитет его там, разумеется, был неоспорим. Как он поведет себя? Поддержит нас или нет? Раз голосовал против митингов, будет, видимо, и подготовке мешать.

Неожиданно для нас на явку пришел Василий:

— Слышал, как идут митинги. Что ж, пожалуй, похоже на работу. Давайте впрягусь и я. Назначьте и мне завод для выступления.

Сундук нахмурился, поворочал губами, вроде как пожевал что-то, пораздумал и потом сказал:

— Одолженье ничье нам не нужно, Васюха. Что ты за червонная краля такая! Свысока рассуждаешь: «Похоже на работу». Если допустить тебя к выступлениям, то как бы не было так, что начали гладью, а кончим гадюю. Давай уж лучше сразу подеремся до крови. Работать и не уважать работу или уважать вполноценно и сомненья разводить — не дело. Ты хочешь работать с нами, а исподтишка левую фракционку сколачивать? Я не позволю тебе это!

Василий пошел на отступную:

— Ну, я не так выразился. Ну, беру назад свои слова.

Но Сундук извинениями не удовлетворился:

— Извинение всегда гроша не стоит, а глядит рублем. Словам твоим, может, и верю, а настроеньям не доверяю. Выступать и говорить от нашего имени перед рабочими тебе не дам. Так и считай, — дело решено и под лавку брошено.

Мне стало жаль Василия. Непримиримость Сундука была, по моему, неуместна. Я попросил дать мне Василия под начало, под мою ответственность. Василий брался сделать всю подготовку к митингу в типографии и у Бромлея. Мне это очень улыбалось. Я не знал, как надо было обойтись со Связкиным. А тут складывалось все даже забавно: правого Связкина будет выпрямлять левый Вася.

Василий надеялся, что Связкин нас не подведет:

— Ты посмотри, как он благородно после райкома держится, хоть и голосовал против. Связкин — честный пролетарий и, конечно, подчинится дисциплине; он сделает все, что вытекает из решения комитета. Он — благородный человек, прямой, честный.

Сундук в конце концов на мои уговоры согласился, но предостерег:

— Твое дело. А мой совет — не очень на благородство полагайся. Сентиментальщины у Васьки много. Держи ухо остро, не захромало бы у тебя дело и на правую и на левую.

Я не ответил Сундуку ничего, но его прибаутки, шуточки показались мне, как когда-то Потапычу, неприятными.

— Павел, — окликнул Сундук, когда я направился прочь, — что ты мрачный? Не нравится тебе что-то? Возьми вот, для тебя шоколадка приготовлена.

Мне это еще больше стало неприятно. Что ж скрывать: я любил шоколад и, отправляясь по вечерам на подпольную работу, когда бывал в кармане свободный двугривенный, покупал плитку шоколаду с молоком и посасывал в мрачные минуты.

Но Сундук протянул мне не шоколадку. Это была записка от Клавдии! Сундук пояснил:

— На ночевке мне дали, тебе передать, это уж прошло через третьи руки.

Клавдия писала: «Я ежедневно в Тургеневской читальне с трех до пяти. Если хотите, приходите. Но разговаривать там не стоит, опасно, — просто повидаемся».

* * *

Помощь Василия освобождала для меня дневное время. Я решил подыскать себе комнату и отдать паспорт на прописку. Мне хотелось легализоваться и после митингов выступать на легальных собраниях при выборах делегатов на конференцию фабрично-заводских врачей. Но все-таки предупреждение Сундука насчет Василия меня беспокоило. Я отправился осмотреть место предстоящих выступлений. Ворота Бромлея выходили на пустынный луг, где сваливали снег. По правую сторону от ворот шел длиннейший корпус; в эту сторону бежать нельзя — нет никаких прикрытий. В сторону луга отступать тоже невозможно, — либо сугробы снега, либо утоптанная от-

крытая дорога, вся на виду; здесь мог действовать даже конный жандарм. Единственный путь для отступления оставался по левую сторону от ворот в узкий переулочек, до угла которого было шагов сто — полтора. Все это меня огорчило.

Диспозиция перед типографией была не лучше. Типография выходила на большую улицу с оживленным движением. Правда, выход для рабочих сделан был в переулочек. Но здесь, на близком расстоянии от выхода из типографии дома были прилеплены тесно друг к другу; ближайший забор был довольно высок, и на нем поверху торчали трех-четырёхдюймовые гвозди, а кое-где виднелось насыпанное толченное стекло. Значит, решающим будет маневрирование самой толпы при отступлении. Надо будет, когда побежим, чтобы оратора долго сопровождала по переулку густая колонна наших людей. Мне очень хотелось пройти самому к Связкину, да и по другим адресам, которые были даны на явке. Но опасение обидеть Василия остановило меня. К тому же я был голоден. Накануне я не ел с самого обеда, вечером же, на ночевке у людей мало любезных, мне не предложили даже чашки чая; а утром явка была очень ранняя, и надо было торопиться.

Когда я подошел в столовой к кассе, денег у меня не оказалось, а ведь у меня должны были оставаться восемь рублей, две бумажки — пятерка и три рубля. Я обыскал все карманы — бумажек не было. Очевидно, это и были те самые бумажки, что вылетели у меня из кармана на Калужской улице, когда я доставал кепку.

Любая из девушек-фельдшерниц, наверное, одолжила бы мне двадцать копеек на обед. Но это так сложно! Я отошел от кассы. Густо покраснел. И, как виноватый, не глядя по сторонам, молча вышел, голодный еще больше, чем был. Разумеется, комнату напечатать не пошел: не было денег на задаток.

До трех часов, назначенных в записке Клавдии, было еще далеко. Я зашел в Третьяковскую галерею погреться. Против картины «Явление Христа народу» стояла кушетка и столик. Я присел и вытащил разрозненные листочки Жореса. С тех пор, как взялся переводить, я постоянно носил с собой чистую бумагу, карандаш, листки

французского текста и работал всюду, где представлялась возможность. Переведенное иногда забывал на ночевках, иногда брал с собой и через явку передавал по несколько страничек Связкиным.

Ко мне подсел человек с седеющей бородой, в яловочных сапогах и в пиджаке. Он долго приглядывался то к картине, то ко мне. Потом спросил:

— Чего это на картине представлено?

Я объяснил.

— А что делает этот солдат или городового? — показал мой собеседник на римского воина.

Я объяснил.

— И почему одни разделись и полезли в воду, а другие стоят в одежде? Стесняются, что ль? А может, боятся? Боятся, говорю, чего? Может, у одних белье нечистое или тело немытое, а то и солдат их страшит; он-то из язычников и, небось, доносить поставлен. А вы что, про нее списываете? Про картину?

— Про нее.

— От себя, по охоте? Или от начальства приказано?

— От начальства.

— Значит, докладывать будете? Понимаю. Картина умственная! Недалеко и до беды. На том простите, до свиданья!

В Тургеневской читальне меня задержала очередь при выдаче книг. Когда я вошел в зал, Клавдия была уже там. К счастью, рядом с нею оказалось свободное место. Я сел в полуоборот к ней и смотрел на ее профиль. Один раз только оглянулась она на меня и чуть-чуть улыбнулась. Протянув руку к словарю, который лежал перед Клавдией, я громко спросил:

— Вам не нужен словарь? Могу воспользоваться?

На записке я написал: «Все идет хорошо. Очень счастлив. Жаль только, что вас нет». Я вернул словарь Клавдии, вложив записку так, чтобы она бросилась ей в глаза. Клавдия, прочитав, быстро написала ответ. И я снова попросил у нее словарь. «При чем тут я? Мне не нравится, что у вас всегда как-то странно перепутано большое, общественное, с мелким, личным». Словарь вернулся к ней с моими горькими словами: «За что вы так нехороши со мной? Вы же сами приглашали меня сюда. Скажите, что

изменилось во мне с тех пор, как я... как я... приехал?»

Клавдия начала было отвечать мне, но к ней обратился сосед, сидевший против нее: «Разрешите на минутку словарь». Клавдия отдала словарь и разорвала начатую записку. Я смотрел на ее профиль и спрашивал себя: отчего она мне так мила? Отчего? И тут же вдруг подумалось: а что если бы я попросил у нее двугривенный на обед? Расстроилась бы она, заплакала, удивилась или рассердилась на такое мелкое, личное? Да, она, наверное, не знает, что такое двугривенный, какая это желанная вещь и как заманчиво обладать ею. Но что значат такие мысли у меня? Неужели она мне чужая? Неужели не дорога, не близка? Нет, уж как-нибудь обойдусь без обеда.

* * *

Вечером мы сошлись с Василием в условленном месте, неподалеку от топографии. Он поручился, что все будет в порядке.

Однако все оказалось не в порядке. Я это сразу почувствовал, когда начался выход рабочих из ворот и когда взобрался на тумбу. Около меня остановилось не больше десятка или двух десятков рабочих. Остальные торопливо разбрелись в стороны.

Растроговав рабочих, ко мне подбежал городской, выскочивший из охранной будки:

— Слезай и пойдем в контору.

Рабочие подле меня растерялись. Василий у ворот пытался задержать толпу. Я крикнул: «Товарищи!»

Городовой схватился за свисток. Тогда Василий бросился к нему, поймал за шнур, сорвал свисток и шнуром связал ему руки. Городовой закричал. Василий, взяв его в охапку, потащил к двери будки, бросил туда и заложил пробой для замка палкой. В толпе кто-то сочувственно засмеялся. А один рабочий сказал:

— Озорство, а не политика. Пойдем, ребята.

Это задело меня, хоть я и был недоволен вмешательством и выходкой Василия, не зная, впрочем, нашелся ли бы сам, как поступить лучше. Я крикнул:

— Стойте, не расходитесь! Два слова, два важнейших слова я скажу вам, и разойдемся. Товарищи, помни-

те пятый год? Скажите, помните?

Из толпы отвечали:

— Не забываем.

Я продолжал:

— Пятый год вернется, товарищи!

— Что делать, скажи? — крикнули из толпы.

Я отвечал, что революция не умерла. Мы не отказываемся от наших основных целей, но используем все новые средства в новой обстановке и что, отступая, мы готовимся к наступлению. Мне кажется, я нашел для этого слова простые и горячие. Те люди, что спешили уйти скорее от ворот, сбавили шаг, колеблясь, уходить или оставаться послушать. Те, что шли медленно и прислушиваясь, остановились. Кто уже стоял, придвинулся ближе ко мне, кто был возле меня, при каждом моем метком слове одобрял и поддерживал меня жестами, восклицаниями, оглядываясь назад и, обращаясь вместе со мною к другим, стоящим сзади, повторял мой призыв. Мне казалось, что говорю не я один, а мы все вместе, и что нас, говорящих, становится все больше, и говорит уже вся толпа, а я только повторяю за нею те мысли, которые владеют всеми и всех нас в одно спяли. Мне казалось, что я лечу на крыльях. Я перестал чувствовать самого себя, свои руки, ноги, перестал слышать свой голос, а будто только слышал голос толпы. А она все прибывала.

Городовой в охранной будке кричал неистово, но голос его глохнул в запертом помещении. Повидимому, городскому удалось, наконец, развязать руки, и он начал громко колотить в окно будки. Кто-то из толпы крикнул Василию:

— Эй, младенец-то твой в люльке заливается! Уйми, утешь, дай соску или покачай его немного!

Василий раскачал тяжелый щит с заводскими объявлениями и привалил его к окну будки. Городовой ахнул и сразу замолчал. Василий махнул рукой:

— Вот и ладно. Покойся, милый прах, до радостного утра.

Кто-то еще крикнул:

— Засни теперь, стервец, не рыдай!

Толпою овладел смех, веселый, радостный, детский и беззаботный, как будто мы все были на гуляньи...

— Продолжай, товарищ! — кричали мне из толпы. — Говори, говори, слушаем. Говори, товарищ!

Но нас уже оцепили. С большой улицы появился отряд полицейских, предводительствуемый приставом. С далекого конца переулка заходили городские, по-двое, по-трое с каждой стороны. Толпа заволновалась. Мне ясно было, что при отступлении потребуются очень сложные маневрирование и что надо прежде всего удерживать массу в полном хладнокровии и под единым контролем. Я постарался произнести последние слова своей речи как можно тверже и спокойней. Несмотря на близость полицейских, толпа стала аплодировать — значит, не растерялась и вполне владеет собой. Я сказал:

— Товарищи, полное спокойствие. Не разбегайтесь в стороны. Тронемся сомкнутой толпой по переулку. Никакой паники. Полицию не задирать! В драку с нею не вступать!

Пристав с полицейскими остановился шагах в двадцати от нас. Толпа спокойно ждала.

— Пошли, товарищи! По переулку идти сомкнутым строем.

Но не успели мы тронуться, как закричал со стороны фабричного двора какой-то знакомый мне голос:

— Провокация, товарищи! Провокация! Назад, товарищи! Не ходите в переулок! Это провокация! Полиция стрелять будет! Назад во двор, товарищи! Берегитесь провокации!

В мгновения, когда определяется устремление большой толпы в ту или иную сторону, нет слова более разрушительного, чем слово «провокация». В пятом году, когда массы были полны сознания своей силы и слабости врагов, на крики «провокация», случалось, откликались смехом недоверия. В столыпинские же времена, когда брат не доверял брату и друг опасался друга, угроза провокации действовала на толпу ошеломляюще.

Толпа сразу вся зашумела. Многие бросились в панике к большой улице, где дорогу преграждала полиция. Другие попятились во двор. Кто-то побежал. Закричали, засвистели. Откуда-то выскочили дворовые сторожа и начали освобождать городского из охранной будки. Наш сомкнутый строй был нарушен. Во время этого короткого всеобщего замешательства я оставался стоять на тумбе, как стоял. Я поднял руку, но ничего не сказал. Те, кто был ближе ко мне, остановились.

Затем я крикнул, чтобы все остались спокойными. Это несколько подействовало на толпу, и, может быть, около меня собралось бы ядро, с которым можно было отступить в порядке. Но в это время Василий пошел вперед, на полицейских, и закричал приставу:

— Назад, сволочь паршивая!

Пристав в ярости скомандовал:

— Бей!

Городовые кинулись на Василия. Тот отбежал шагов на пять назад, выхватил револьвер и выстрелил.

Со двора типографии донесся все тот же знакомый голос. Неужели это голос Связкина?

— Провокация!

Все сорвались с места. Заметались, забегали, засуетились люди. Нечего было и думать о том, чтоб как-то управлять отступлением. Началась паника. Надо было бежать, как придется.

Василий, видимо, понял, что надевал; он спрятал револьвер и начал отходить ко мне. Вокруг нас бежали люди.

Мы с Василием побежали вместе. Нам удалось добежать до высокого забора. Василий пригнулся:

— Лезь, Павел, на меня и махай через забор. А я выше тебя, как-нибудь подтянусь!

Я вспомнил, что забор сверху утыкан гвоздями и посыпан толченым стеклом. Но иного выхода не было. С конца переулка наступали городские с околоточным, а с улицы отряд под командой пристава. Толпа уже вся рассыпалась, как горох. Большинство, видно, повернуло во двор типографии, мы же были отрезаны от толпы, и нас должны были окружить. Я крикнул Василию:

— Влезу без твоей помощи! Карабкайся сам скорей!

Стекла впелись мне в ладонь. Потекла кровь. Чьи-то руки схватили меня за ногу. Я рванулся. Стекло порезало другую ладонь. Ногой я ударил в лицо того, кто держал и не хотел выпустить мою ногу. Я подтянулся сильнее. Стекло сильнее врезалось в ладони. Василий был уже на заборе. Он с силой потянул меня, перегнувшись в сторону переулка. Я не удержался на заборе и полетел через него в сторону двора. Василия же схватили

за руки подбежавшие городовые и перетянули в переулок. А я зацепился штаниной за гвоздь и повис.

Распоров ногу, с окровавленными руками и выпачканным кровью лицом, я скатился с забора и побежал. На бегу вытер лицо платком, — платок покрылся кровью, но я чувствовал, что на лице раны нет. Я выбежал со двора, пересек переулок, параллельный тому, откуда бежал, и нырнул в ворота напротив. Двор, куда я попал, был непроходной. К счастью, на дворе никого не было. Я бросился к сараям. Тут стоял глубокий ларь для мусора. Открыл его, — ларь был пустой. Я влез в него и закрыл над собой крышку.

Мне показалось, долго просидел я в этом грязном ларе. Слышал свистки на улице, крики погони. Чьи-то шаги топали около меня. Кто-то говорил о скрывшемся ораторе. Кровь лила из моих ладоней. Воротник рубахи стал мокрый. Обернув ладонь носовым платком, я концами пальцев потрогал шею: оказалось, она была порезана. Куда я такой риску пойти?

В ларе пахло кислым, и было душно. Меня мутило от слабости. Я бы заснул, забылся, но меня жег и резал, как ножом, животный голод, голод до слез. Было что-то оскорбительное и унижительное в сознании, что я лежу в этом отвратительном ларе. Но ничего, мы все-таки, чорт возьми, окажемся сильнее вас! Я вспомнил, как я не хотел лезть под стол у Степаниды Амвросиевны, и мне стало смешно.

Однако долго оставаться в ларе нельзя. После ужина, перед сном, начнут таскать из квартир отбросы.

Когда я вылез, небо было чистое и звездное. На дворе — ни души. Оглядевшись, я узнал этот дворик. Здесь живут Связкины.

* * *

Авдотья Степановна, как увидела меня в крови, только сказала:

— Павел, сынок!

Она опустила на сундук, покрытый чистой узорчатой дерюжкой, да так и застыла, побелевшая, окаменевшая.

— Промойте скорей раны, — попростил я.

Все необходимое оказалось под рукой.

— И какие же подлецы сделали это с тобой? Крови-то, крови-то...

Связкин пришел домой, когда у меня кровь на шее уже остановилась, ладони были забинтованы и я очень повеселел. Когда он позвонил, Авдотья Степановна приказала мне спрятаться за перегородку: «А то, не дай бог, с кем из приятелей вернулся, он любит из типографии позвать вечером друзей».

Авдотья Степановна не успела сказать мужу, что я у них, как снова позвонили. Пришел махаевец Сеня, по прозвищу Вытряхай.

— Чего тебе, Семен? — спросил Связкин.

— Я об Василии беспокоюсь. Пришел у тебя справиться, кажись, забрали. А будь больше народу, защитили бы.

— Я ничего не знаю. И пошел ты во-свояси от меня!

— Уйду, уйду, Ефим Иванович. Только ты напрасно сердисься. Против тебя я ничего не возражаю, в своей линии ты прав. Рассказывают, ты в кашу им наплевал, отговаривал на митинг итти. Раз ты сказал — надо, все сознательные заранее решили не являться. Ну, а коль остались какие потемней, толку не могло получиться. И шут с ними! Мне только Ваську жалко. Ни за что влип. А будь нас таких, как он, с десятков, мы бы восстание целое заварили, да не велено было им пускать оружие. Они, как называется, мясного не кушают, иначе говоря, вегетарианцы; боевые дружины распустили, не то время, мол. Погонялка-то у них есть, а запрягалки нет. Вот и вышло, по коту — печурка. Киселем и заговелись!

— Вытряхнул все, Сеня? Ну и ступай домой. Ничего я про Василия не знаю.

— Ах, ах, — сказал Сеня, — сорвал им митинг, а теперь всех боишься?

— Ничего я не боюсь. А что я митингу хотел помешать — это дело моего убеждения. И не твоей голове об этом судить.

Сеня Вытряхай удалился. Я вышел из-за перегородки и молча остановился перед Ефимом Ивановичем.

— С нами крестная сила! — попятился Связкин.

— Может быть, опасаетесь, Ефим Иванович? Я уйду.

— Как же тебе, Павел, не стыдно? Неужели у меня ты не найдешь приюта? Я тебя готов грудью своей защищать. Оставайся у меня, сколько хочешь.

— Нет, ты, Ефим, посмотри, как его отделали, глаза бы я тем людям выцарапала, кто его не защитил.

Связкин не ответил ей ни слова. Авдотья Степановна обняла меня:

— Ну, иди садись, кормить буду.

Вспомнилось, как в Архангельске я не захотел остаться ночевать у меньшевика Благова. Мне стало жаль Авдотью Степановну. Что было бы с ней, если бы я прямо сказал, что не хочу сесть за стол с Ефимом Ивановичем и считаю его своим врагом! Я не отказался пойти к столу, но не мог не показать Связкину, что знаю его роль в нашей неудаче.

— У вас, Ефим Иванович, авторитет в типографии большой. Верно, что вы сорвали нам подготовку? И кроме того, во время митинга отозвали своих обратно на двор, а остальных напугали и разогнали?

Связкин посмотрел на меня, погладил бородку и сказал:

— Ну, об этом мы за закуской поговорим. Садись.

Меня взорвала его тупая уверенность в своей правоте.

— Не сяду. Мне пора итти.

Ефим Иванович очень хорошо видел и понимал, что со мною. Он, не волнуясь, не торопясь, взял меня за рукав и посадил.

— Минутку выслушай меня. С твоей точки зрения я виноват, с моей — ты. Ну, что же, борьба есть борьба, так я сказал бы другому. А тебе скажу: ты еще молод, и, ах, сколько еще воды утечет, сколько будет в тебе перемен! А я тебя люблю, и хотелось бы мне, чтоб ты заменил мне сына. Сколько лет я знаю тебя, наблюдал за тобой. Я открыл тебе дорогу к социализму, Павел. Припомни, как мы читали с тобой, что социалисты — наследники великих гуманистов. Они проповедывали терпимость. А мы что с тобой, разойдясь во мнениях, возненавидим друг друга? Благородно ли это будет? Я и сегодня люблю тебя, как любил вчера.

— Сегодня меня чуть не схватили из-за вас.

— Нет, Павел, тебя чуть не схватили потому, что ты следовал плохой тактике, потому что ты забыл марксизм, которому я тебя учил, и идешь на поводу у таких полуанархистов, как Сундук.

Связкин по привычке старого пропагандиста в кружках заговорил обстоятельно, разъясняя каждую деталь в наших разногласиях. Я его почти не слушал. Мне до слез хотелось есть. Но я запретил себе есть. Авдотья Степановна успокоилась: началось, мол, всегдашнее, привычное, заспорили о политике — дело мужское. Она приносила блюдо за блюдом и все ставила ближе ко мне. Незаметно для самого себя я отщипнул горбушечку от французской булки, затем машинально отправил в рот кусок ветчины. А Связкин все говорил. Когда я спохватился, оказалось, что я съел уже всю ветчину. Авдотья Степановна принесла и подвинула ко мне высокую стопку холодных блинов. Я отодвинул их от себя. И не помню, как затем снова придвинул. И только при каком-то уж очень сильном аргументе Ефима Ивановича я заметил, что съел и блины.

Меня клонило ко сну, перед глазами плавали круги тумана, во всем теле была ломота, и мной овладело безразличие ко всему на свете. Но вспомнив, где нахожусь и что Связкин, «порядочный», «благородный» Ефим Иванович, на деле предал меня, — я встрепенулся и сказал, что мне надо немедленно уйти. Ефим Иванович побежал к себе в комнату разыскивать для меня «фильдекосовый шарфик, чтоб закутать шею потеплей».

Я обнял Авдотью Степановну:

— Прощайте, Авдотья Степановна, я вас люблю, как мать.

— А ты карточку-то моего Витюши с собой носишь?

— Что вы, Авдотья Степановна, разве можно? Я человек нелегальный! По карточке, если найдут, до вас доберутся. Она в сохранном месте.

Я выбежал от Связкиных, не дожидаясь, когда вернется Ефим Иванович, нарочно, чтоб избежать прощания с ним.

Какая боль щемит сердце! Какой тяжелый разрыв! На лестнице я вспомнил, что, не желая того, я ведь

обманул Авдотью Степановну: карточку ее сына я по забывчивости так и носил в кармане. Плохой я конспиратор. Лестница была безлюдна. Я достал из кармана фотографию, посмотрел. Кровь, которая замочила мне рубашку, попала и на карточку — на тыловой стороне фотографии, на уголке, расплылось красное пятнышко.

Проходя мимо ларя, в котором я до того прятался, я разорвал карточку и бросил ее в ларь.

На другой день на явке я узнал, что Московский комитет постановил митинги прекратить. Было признано, что они уже дали хорошие результаты, а продолжать их сверх трех-четырех дней было бы нецелесообразно. Неожиданность нашего тактического приема уже прошла, полиция уже приняла меры. Но митинги, ранее назначенные, было предложено все-таки провести.

Сундук не проявил никакого интереса при моем появлении. Но, оказавшись, он меня только и ждал.

— Пойдем, Павел. Нам тут освободили комнату для отдельного разговора с тобой.

Когда мы остались с ним одни, Сундук поставил стул посредине комнаты, посадил меня на него, а сам сел напротив, верхом на стуле, очень близко ко мне, лицом к лицу.

— Ну, расскажи, Павел, совершенно честно, как произошло все на митинге у типографии? Только говори все без утайки, как ты должен говорить перед партией. И давай только факты, а не голубые цветы на воде... Ну, говори.

— Сундук, я виноват в том, что лично не проверил подготовку к митингу, не дал всех нужных указаний, а положился на слова Василия и на партийную дисциплинированность меньшевика Связкина. Я виноват в том, что взял на себя ответственность за Василия, а сам ничего не сделал, чтоб держать его в руках.

— Ты знаешь, Павел, мы обвиняем тебя в большем, чем ты сказал.

— В чем же, Сундук, меня обвиняют и кто?

— Выстрел Василия сыграл на руку полиции и правым легалистам-ликви-

даторам. Авторитет Связкина в типографии теперь возрос. Московский комитет обвиняет тебя в том, что по твоей вине нанесен огромный ущерб политической кампании большой важности.

— Сундук, позволь! Это уж слишком. Вы говорите о последствиях, а не о моих действиях. Не преувеличайте моей вины. Я ее знаю и назвал ее. Я совершил организационный недосмотр, промах, проявил излишнюю доверчивость, может быть, также и несообразительность, обнаружил неопытность, пусть даже неумение. Но разве это имеет такое огромное значение?

— В политике все имеет огромное значение. Если ты отклонился в своей тактике на один миллиметр, течение жизни отнесет тебя на целый километр. Политик шагнул на вершок, а общественное отражение этого шага, его тень, шагнуло на версту. Если ты занимаешься политикой, то какую бы ты ошибку ни совершил, она будет ошибкой политической. Мы как на войне, а на войне за всякую ошибку, за всякий промах кто-нибудь платит гибелью.

Я слушал ошеломленный. Как же это так обрушилась на меня такая тяжесть? У меня ведь на свете ничего нет, кроме нашего дела. Сундук продолжал:

— Ты обижен? Ты думаешь: вот ты проявил много хороших личных качеств—преданность, смелость, талант; мы знаем—ты прекрасно провел два митинга, очень хорошо говорил на третьем, а тебя ругают. Не обидно ли? Но посуди, Павел, какое облегчение делу от того, что у тебя хорошие чувства? Дело ждет от тебя не только умения, воли, настойчивости, но также и успеха. Ты вот голову опустил; я знаю твой характер, ты, небось, уж думаешь, что и в партии быть недостойн, коли совершил ошибку. Да разве пять из нас десяти достойны настоящего звания членов партии? Не по нас с тобой судить о том, каким должен быть член партии. Побывал бы ты у ее снеговых вершин! А мы с тобой только малые винтики. Московский комитет мне поручил разъяснить тебе твою ошибку. Но он поручил также сказать, что ошибку эту Московский комитет тебе прощает. Мы знаем тебя и ценим. Но, Павел, из

всего этого ты должен сделать один вывод:

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат...

Мы своих ценим, но и закаляем крепко. Понял? А если понял, то голову не опускай. За битого двух небитых дают. Сегодня митинг у Бромлея ты проведи, но тебе дается право и отменить, если увидишь, что нельзя. Тебе будет трудно, поэтому возьми с собой на подмогу ветерана из твоего подрайона.

Когда мы вернулись с Сундуком в общую комнату, там были Миша и ветеран пятого года из моего подрайона; с моей легкой руки ему дали теперь конспиративную кличку «Ветеран».

Миша, взволнованный и возбужденный, рассказал нам, что у него на заводе администрация поспешила устроить выборы так называемых «выборщиков» рабочей делегации на съезд фабрично-заводских врачей раньше, чем мы успели сделать митинг у ворот.

— Было у нас собрание честь-честью. Пристав сидел в первом ряду. Чиновник от губернатора читал какие-то разъяснения. У всех входов наставили городовых. Ораторов на каждом шагу останавливали. О митингах у нас рабочие уже все знают, а говорить о них, конечно, нельзя. И все знают, как я на одном митинге шишку получил. Вышел на трибуну без повязки, шишка на лбу огромная, всем видна, как вифлеемская звезда. Чинно, «по инструкции о выборах», коснулся я «узко-профессиональных интересов наемного труда» и сказал, какую работу надо вести для защиты «чисто экономических задач». А к концу и запалил штучку: «Чтобы эта работа была прочней, говорю, надо нам заложить для нее фундамент. Понимаете?» — спрашиваю аудиторию. Аудитория отвечает: «Понимаем». А пристав так важно требует: «Поясните. Непонятно, какой это фундамент». Так и думает, что я скажу прямо: партийную организацию. И он меня сцапает. Я опять к рабочим: «Непонятно? Поясню. Это, говорю, такой фундамент, при кладке которого нам частенько придется набивать себе шишки на лбу». И показал себе на лоб. Ну, конечно, хохот, аплодисменты. Тогда

пристав кричит: «Призываю к порядку!»

Когда замолкли, он ко мне: «Выражайтесь понятней, а то вынужден буду запретить вам продолжать». Я опять к аудитории: «Вам понятно или непонятно?» Мне все кричат: «Поняли, поняли!» Я к приставу: «Видите, они говорят, что им понятно. Это только выше вашего уровня. Таких, говорю, и надо выбирать, что шишку набить себе не боятся».

Ну, и провалили ликвидаторов, а выбрали всех поголовно наших.

* * *

За день я обошел несколько своих старых ночевок и собрал там листочки с переводом Жореса. Отнес их в вятское издательство и получил еще пять рублей.

Вечером, сойдясь с Ветераном на пустыре перед Бромлеем, мы оба заколебались: проводить ли митинг? Перед самыми воротами стояли два конных жандарма; у двух калиток по бокам ворот дежурили городовые. Надо думать, по окрестности были рассыпаны шпики.

— Отмени, Павел. Тут ничего не выйдет. Митинги у ворот — это такая музыка, что день, два, от силы три может сойти, не больше. Ишь, как они приготовились — до зубов! Тут и без митинга нам еле назад продрасться.

Ветеран был, пожалуй, прав. Но у меня и без того было тяжелое чувство от вчерашней неудачи и от утреннего разговора с Сундуком. Мне разрешили провести еще один митинг, в то время как всюду прекратили. Значит, все-таки доверяют моему умению. Доверяют, следовательно, надеются и ждут от меня удачи. А бромлеевцы обязательно волнуются; наверное, у них споры шли днем, когда увидели конную стражу у ворот, — состоится митинг или не состоится, рискнет оратор притти или не рискнет. Как убедительно им потом ни доказывай, почему пришлось отменить, некоторая доля неверия в меня останется, — а все-таки, мол, либо не сумел, либо нехватило храбрости.

— Нет, Ветеран, я решаю: проведем митинг. На мне ответственность, я и буду отвечать за неудачу.

— Ну, ладно, коли так. Подчиняюсь. Ответственность твоя.

Я изложил ему свой план. Он кивнул: «Сделаю».

Держась ближе к домам, походкой неторопливой я пошел к переулку. Видно было, как Ветеран незаметно влился в толпу, выходящую с завода, как он одному что-то шепнул, другому кивнул, третьему моргнул.

Скоро большая группа рабочих вернула в переулок, держась тесной кучкой. Шли они все молча, не торопясь, с развальцей. Отойдя шагов сто—двести в переулок, Ветеран крикнул:

— Стой, ребята! Сейчас из рукава достану оратора.

Я вбежал в толпу. Около меня было человек сотни три-четыре. Мне удалось выкрикнуть только несколько фраз:

— Товарищи, вы видите, как стерегут вас. Людей партии на заводы не пускают. Но партия жива! Партия с вами; вы будете с партией и за партию везде и всегда!

Толпа мне ответила:

— За партию везде и всегда!

Я крикнул еще раз:

— За партию везде и всегда!

Толпа повторила.

Только спустя некоторое время охрана у ворот догадалась, что митинг перенесен от ворот в переулок. За нами кинулась отчаянная погоня.

Я делал петли, как заяц, и не знаю, каким чудом мне удалось достигнуть Серпуховской улицы. Там в одном доме у меня было стговорено о ночевке на сегодня. Я еще немного попетлял, чтоб избавиться от шпики, который повис на моем следу. Когда от него отбил, рискнул войти в парадное и стал подниматься на третий этаж.

После того как я прочел, по рекомендации Сундука, добытую нашей организацией изданную охранным отделением «Инструкцию агентам секретного наблюдения», в скобках — «филерам», я стал несколько одержим навязчивой идеей, которую среди нас называли «шпикоманией». Страдающий этой манией видит шпики в каждом идущем позади или навстречу. Поведение каждого человека, попадающего на улице в поле зрения, я стал проверять применительно к предписаниям инструкции охранного отделения.

Если тот, за кем следят, поднимается по лестнице, шпику, по инструкции, не рекомендуется подниматься за ним,

а вменяется обогнать жертву, не оглядываясь на нее, и торопливо бежать вверх. Инstrukция разъясняла, что слежка сверху лучше, чем слежка снизу, а жертва, мол, будет усыплена тем, что преследующий равнодушно ее обогнал.

На этот раз мои петляния, перелезания через заборы, стремительные перебеги дворами, когда там не было людей, — словом, все мое состязанье с гончими утомило меня. Я был весь мокрый, руки дрожали, стучало сердце. На площадке второго этажа я остановился передохнуть и услышал, что за мною следом кто-то поднимается. Когда я остановился, тот, пройдя несколько ступеней, тоже остановился. Я пошел дальше, пошел и тот. По обыкновенной логике надо было думать, что это шпик. По инструкции же шпику надо было обогнать меня. Неужели шпики могут допустить к работе, если он не знает инструкции? А если знает, может ли он не соблюдать инструкцию? Я склонялся к мнению, что в Москве персонал филеров хорошо обучен и дисциплинирован; значит, человек, идущий за мною, остановился потому же, почему остановился и я,— чтобы передохнуть. А если так, то я решил позвонить в квартиру на третьем этаже. Мне отперли не сразу, да и я не торопился войти, и случилось так, что идущий сзади оказался на повороте, когда я еще стоял у двери на площадке. Я увидел его: представьте, тот же шпик, что «висел» за мной на улице! Что же это за персонал в охранном отделении? Как они работают? Как исполняют свои инструкции? Из-за этого бестолкового дурака-шпики я могу теперь подвести честных людей, которые обещали мне приют, рассчитывая, конечно, на то, что я по части конспирации сделаю все, что надо для их безопасности.

Я попросил хозяев квартиры сейчас же, не медля ни мгновения, выпустить меня через черный ход. Так, из-за плохой работы филера, я потерял в эту ночь припасенный ночлег.

Выходя со двора, я огляделся. Было все как будто чисто. У ворот стоял дремавший извозчик. Я взял его. Когда мы завернули за угол, я заметил, что за нами следом завернул другой. Проехав немного, я велел извозчику снова взять за угол. И снова за нами тот же извозчик. Я поискал в памяти,

что говорит инструкция о слежке за жертвой на извозчике. Вспомнил и решил сделать проверку: приказал извозчику ехать к находившейся вблизи площади.

Мы пересекли площадь по прямой, как вдруг извозчик, ехавший за нами, обогнал нас и свернул в переулок. «Ага! — торжествовал я, — все как по инструкции!» Это значит, что шпик, ехавший за мной, успел на площади передать меня другому, и теперь они усыпляют мою настороженность. Нет, судари, не пройдет! Мы примем меры!

Около хорошо знакомого мне проходного двора я дернул извозчика за рукав:

— Остановись скорее! Узелок потерял.

Извозчик осадил лошадь так внезапно, что гнавшийся за мной шпик объехал нас. Я сунул извозчику деньги и потонул в закоулках и калитках проходного двора, кишевшего людьми.

Но как только я вышел с противоположной стороны двора, на меня сейчас же нацепился новый шпик и нагло и открыто пошел за мной. Несомненно, Ветеран был прав: здесь все наводнено шпиками, и они решили на этот раз не упускать добычу.

Когда я свернул на большую улицу, мне стало ясно, что я в кольце: навстречу попала шпиковская физиономия, впереди пошел шпик, и позади, и на противоположном тротуаре тоже гончие. Что же делать? Разве кинуться в трамвай? Но тогда они не станут больше стесняться и тут же сцапают меня при народе. Вблизи, по моей стороне, сейчас будет большой магазин модной обуви. Зайти туда? Спросить обувь, начать примерять, а там посмотрим, может быть испадется приказчик покладистый и даст возможность нырнуть куда-нибудь.

Да это все только мечтанье. А кольцо сжимается. Теперь уж они не выпустят меня. Вон из-за угла вышел тот шпик, что шел за мной по лестнице; своей инструкции не знает, а так важно шагает, как будто это он меня загнал в кольцо. Что же делать-то? Я опустил руку в карман. Среди шпиков пробежала тревога: вооружен, мол! Стрелять будет, братцы. Я достал остаток плитки шоколада и отправил в рот: лучше съесть сейчас, а то еще

отберут при аресте. магазина стоял лихач, — поморщился бочком седок, очевидно дая. Мне бы сейчас лих. поспешила я выбрался из кольца! Но ведь старина: режу же я этого проклятого сь, ца.

— Павел, не узнаешь меня?

Это меня седок окликает. Ах, как чудесно! Коля Коноплин, с которым я учился в средней школе. Быстро говорю ему по-французски: «Спасай, гони скорей твоего лихача».

— Но я жду жену дяди Валерьяна. Она зашла в магазин.

— Гони скорей. Объяснимся с ней после. Пусть лихач берет сразу с места стрелой. Пусть он трогает, а я потом на ходу впрыгну к тебе.

Пока мы говорили, я старался держаться, как будто у меня и намерения нет сесть в санки.

Лихач трогает, я прыгаю к Коле.

И вот мы летим. Какой прекрасный рысак! И какой понятливый, сговорчивый лихач. Мы бросаем его неподалеку от коноплинского дома и входим в богатый купеческий особняк.

Коля говорит:

— К нам никто не сунется. Папаши все в Москве боятся. Это такой Сахар Медович, упаси боже!

Коля отводит меня в комнату, предлагает мне ванну, ужин, но мне ничего не надо. Я хочу спать. Он дает мне ключ. Я запираюсь изнутри.

Неужели один? Это в первый раз после Мезени я абсолютно один, и меня никто не тревожит, и я никого не стесняю. Один, совершенно один. Ноги мои тонут в мягком ковре, баюкающий полусвет — выключаю его совсем, — благоухающая постель. Закрываю глаза — тихо, тихо. И засыпаю мгновенно глухим, но отрадным сном. Это — безмятежное небытие. Но небытие неполное. Какая-то частичка во мне бодрствует и сторожит; я и во сне знаю, что за мной следят, что надо быть готовым куда-то бежать, и готовлюсь к прыжку, сбрасываю с ног одеяло, чтоб оно не мешало мне бежать. И знаю в то же время, что бежать не надо, что я сплю в кровати, что дверь в комнате заперта. А вдруг постучат? Я открываю глаза: черная темнота и тишь глубокой ночи. Опираюсь на локоть, лежу с открытыми глазами. Тишина. Изредка ночь вздра-

Я изложил ему. Все спит, а я бодрнул: «Сделаю». мысли...

Держась блин всего четыре дня... неторопливо принимали решение на районном комитете, я убежден был, что надо все эти шаги предпринять; я знал, что сделаю все, что должен, но разве я чувствовал, что все это так реально и воплотится в такое большое.

Я встаю и приоткрываю сбоку краешек шторы: вон она, заснувшая Москва!

Как бы нас ни считали разбитыми, по всей Москве жива скрытая сеть наших маленьких, подвижных и несокрушимых штабов. Они очень малочисленны сейчас, эти штабные недремлющие наши посты, но их энергия и изобретательность, их настойчивость и упорство неистощимы.

А когда придет час наступления и прозвучит мобилизационный призыв, каждый наш маленький штаб развернется в большое соединение революционных сил.

Ощущение радости и счастья наполняло меня, мое сердце. Мне хотелось выйти из комнаты, бродить по улицам, петь, смотреть на бегущие по небу тучи, остановиться у реки и любоваться ее не останавливающимся скольжением. Я люблю ветер, и мне хотелось, чтобы он свистел около моей головы, и рвал с меня одежду, и пел мне о просторах степей, пустынь, океанов и небесных пространств.

ГЛАВА VIII

Итак, я оказался в особняке Коноплиных, владельцев ткацкой фабрики фирмы «Архип Коноплин с братом». На этот раз я перелетел не через забор, а через пропасть, и попал... в Англию; разумеется, всего лишь в замоскворецкую Англию — купеческую.

Семья Архипа Николаевича Коноплина, отца Николая, жила постоянно в Серпухове, где находилась фабрика. А в московском особняке тон всей жизни задавал младший брат Архипа, Валерьян Николаевич. О нем говорили, что он больше англоман, чем англофил. Чтоб быть англофилом, требуется хоть немного знать об Англии, а для англомании достаточно каприза и фантазии.

Николай жил в Москве с дядей, а не с отцом в Серпухове. Отец противился, но все-таки разрешил ему поступить в высшее учебное заведение — в императорское техническое училище.

Покинуть утром особняк и итти на явку я не решился, — возможно, я прослежен и могу явку провалить.

Я попросил Николая дать знать Сундуку, где я, и получить от него указания, как мне поступить дальше. Как же это, однако, сделать? В простую житейскую порядочность Николая Коноплина я верю, мы восемь лет с ним в школе были соседи по парте и приятели по шалостям. Но адрес явки доверить ему не имею права. Я посылаю его к Клавдии. Он знает ее, как знали и все мои школьные товарищи. А Клавдия найдет уж способ снестись с Сундуком.

Николай настаивает, чтоб я вышел к общему завтраку: «Иначе перед прислугой неудобно, да и дядя Валерьян обидится, он тебя помнит с ученических времен и как-то спрашивал, что это тебя не видать».

В столовой строгая мебель темного дуба. Слоновой тяжести стол, по которому можно проехать в легком шарбане. Стулья с высокими резными спинками. Два буфета мореного дуба с узорчатой резьбой. Стены обиты дубовой панелью, большей частью гладкой, а кое-где с фигурной накладкой. Для порчи стиля на стене против окон пущены две продолговатые панели черного дерева с драгоценными инкрустациями — знак богатства и безвкусыя.

Лакеи прислуживают во фраках и в безупречно чистых крахмальных сорочках. «Не подумай, что голландского полотна, — шепнул мне Николай, — а из честного английского льна, специально для них выписывается полотно».

При обращении к нам лакеи говорили «сэр», но, как их ни учили, произносили они каждый на свой лад. Молодой кудреватый простачок, не очень, видно, обтесанный, сбивался на простое русское «сер»; старик, очевидно, много в жизни тертый, перебарщивал в английскую густоту и произносил скорее «сыр», а чернявый широкоскулый татарин, как после я узнал, в третьем поколении официант, говоривший немного и по-французски, несколько

французил, и у него выходило иногда «сеор», а иногда «сир».

Кроме нас с Колей, к завтраку вышли Валерьян Николаевич, с пустыми глазами и в прекрасно сшитом смокинге, и его жена, Ксения Георгиевна, в платье красного бархата с высокими глухим воротником и длинными узкими рукавами на пуговицах от локтя до запястья, а у запястья окаймленными кружевами. Ее волосы были темнорыжие, но ударяющие не в красное, а в буроватость, глаза почти совсем зеленые, кожа — белизны ландыша! Я видел ее в первый раз. Она была полна, но полностью цветущей и грациозной; только руки ее были слишком ленивы, грузны, мясисты и тупо неподвижны.

За хозяевами появился человек с низким лбом, птичьим носом, с ссыной талией, в шелковой темносиней короткой поддевке, обтянутой и общелкнутой на торсе и спадающей ниже в бесконечных волнах больших и мелких складочек. Валерьян Николаевич рекомендовал:

— Это мой лучший друг — директор моей беговой конюшни, Клавдий Никитич Заозерный, дворянин.

Основным блюдом был бифштекс. Ксения Георгиевна, которая, как вошла, все время молчала и даже ничего не ответила, когда меня ей представляли, при бифштексе, наконец, открыла уста:

— И окаянный его знает, повара нашего, учу, учу, и как об стену горох: опять передержал бифштекс. Все норовят по-русски, побольше поджарить, а мы с Валерьяном и Коля любим совсем кровяной, по-английски. И ведь давеча утром в сенях встретила его, сказала: смотри, Егор, а он все свое, хоть кол ему на голове теши.

Официант-татарин забеспокоился:

— Прикажете переменить, миссис?

— Ну, Валерьян, ну, скажи ему, пожалуйста, этому дураку, и опять в который раз, что я не люблю, когда меня так называют, я не кошка. Вы слышите? Как вас зовут? Забываю. Слышите?.. Я не кош-ка... Понятно? Не кошка. Меня надо звать «барыня», а не кис-кис и не леди.

Валерьян очень спокойно и холодно, с оттенком скуки протянул:

— Примите это, Василий, к исполнению.

— Слушаю-с, сир!

— Ах, опять «сир»! — поморщился Валерьян.

А Ксения Георгиевна поспешила мне объяснить, показав на татарина:

— Этот никак не может понять, что «сир» по-французски значит государь. Очень тяжело с этими людьми.

Но как блистательна ее наружность! И, может быть, она даже неглупая, лоб у нее широкий, шишковатый, подбородок властный, а в глазах так много веселых искорок, как мошек над зеленым прудом в знойный, душный день.

— Ну, потерпи немного, Ксюша. Осталось недолго.

Затем, мне в пояснение, Валерьян Николаевич добавил:

— Мы скоро уезжаем за границу. Конец масляной недели проведем в Серпухове. Это уж у нас родовой обычай — «прощеное» воскресенье проводить в семье всем вместе. Вы знаете, в этот вечер перед великим постом младшие у старших, а старшие у младших, все друг у друга просят прощенья за вольные и невольные обиды. Ну, а на первой неделе поста мы уедем уже за границу — паспорта в кармане. Думаю вначале посетить Скандинавию, там у меня есть дело. Я задумал строить в Подмоскovie новую дачу. Вы ведь знаете нашу старую, гащивали там школьником у Николая. Не нравится она мне теперь, думаю в Швеции или Норвегии закупить лесу на постройку дачи. Не удивляйтесь, скандинавский лес приятней нашего. А после Скандинавии проедем в Англию, у нас есть друзья в Оксфорде. Когда-то меня с ними в Петербурге познакомил один наш ученый, он долго профессорствовал в Англии.

— И в Кембридже у вас кто-то есть? — услужливо вставил Клавдий Никитич.

— Ах да, и в Кембридже! Это уж близкие друзья больше не наши, а брата нашего, городского головы, Николая Ивановича.

— А после Англии, конечно, уж в Париж. Ах, Париж, Париж! — вздохнула Ксения Георгиевна.

— Это устарело — Парижем увлекаться, Ксюша.

— Ах нет, Валерьян, Париж — это моя мечта!

— Вы бывали в Париже? — спросил я Ксению Георгиевну.

— Пока нет еще.

— Предсказываю, в Париже вы будете иметь громоподобный успех, — снова ввернул словечко Клавдий Никитич, — вы по наружности фламандка.

— Из медынского уездного купечества, — съязвил Валерьян Николаевич.

— Вы фламандка с полотен Рубенса, только у вас ножка меньше, чем у женщин Рубенса... А фламандскую красоту в Париже высоко ценят.

Из разговора за столом выяснилось, что Ксения Георгиевна не поставила в вину Николаю угон лихача, потому что Николай сказал, что он уехал от нее по-английски, не простившись.

К концу завтрака Валерьян Николаевич предложил:

— Желаете сода-виски или виски без соды? Это в зависимости чего больше влить — содовой воды или виски.

Клавдий Никитич попросил:

— А мне просто виски, совсем без содовой воды, так сказать, по-русски.

— В Англии же, говорят, чистый виски не пьют. Я держу очень крепкий виски, шотландский. Мне Стратонит Федулин закупает. У Стратонита в Шотландии своя ловля сельдей, разумеется шотландских. Вообще, знаете ли, Павел, в Москве нас, англоманов, как нас здесь вроде в насмешку называют, немало. Чаю, может быть, желаете? У нас чай делается по-английски, мы его кипятим.

* * *

Днем Николай привез ко мне Сундука и оставил нас вдвоем.

— Как же ты рискнул приехать, Сундук? А вдруг за домом Конопляных слежка?

— Я прикинул, что хуже: тебе riskовать выезжать или мне к тебе заявиться. Раны-то у тебя на ладонях и на шее подживают? Тебе надо выйти из-под слежки и отдохнуть немного. Куда-нибудь выехать бы из Москвы.

Мы так и порешили с Сундуком, что я отправлюсь дня на два, на три в Серпухов к Конопляным.

— Масленицу с ними справишь, и поручение я тебе дам. Агафья у меня там, жена, у Конопляных работает

ткачихой. В нашу работу там не встрывай, иначе попадешь в ложное положение: как-никак квартировать будешь у фабриканта, плохо могут о тебе рабочие понять. А повидать тихонько Агафью постарайся. Без особой огласки чтобы. Ну и узнай у нее, конечно, почему же коноплянские ткачи сляты, как медведи, когда все другие пришли в движение. А теперь дай мне карандашик, бумага папиросная у меня есть с собой, и минутку не смотри на меня — я напишу Агафье; когда буду ей писать, нехорошо, чтоб на мое лицо кто смотрел.

Перед уходом Сундук мне сказал:

— Ты не огорчайся, что мы тебя за неудачу у типографии больновато резанули. Заживет. Ну, прощай. Если по дороге будет тебе арест грозить, записку мою к Агафье уничтожь заранее. Ты лучше ее прочитай и запомни, в случае чего на словах передашь. Только прочитай, когда я уйду.

Когда он ушел, я прочитал:

«Агафья, помню, всегда перед глазами, как мы сидели, знаешь, тогда, над рекой. Ну что ж, что так складывается... Сложится потом лучше. Мы с тобой еще пройдемся, прогуляемся и над рекой тоже. Как в песне поется:

Мы пройдем с тобой, прогуляемся,
Пускай люди на нас подвываются:
Не то брат с сестрой,
Не то муж с женой,
Не то сиз голубь со голубкою.

Ничего не могу тебе послать. А так сам жив, здоров, и все благополучно; чего тебе желаю, милая. Помни и ты. Твой Ванюшка».

* * *

Я спросил Николая:

— А как рабочее движение у вас на фабрике?

— Да никак. Сейчас, наверное, масленица у всех на уме.

— Нет его или ты им не интересовался?

— И нет его, и я им не интересовался.

— А когда-то ты интересовался...

Николай выдержал паузу и заполнил ее некоторой драматической игрой. Он «нервно» взъерошил волосы, быстро зашагал по комнате крупными шагами и даже не удержался от того,

чтоб не налить себе стакан воды из графина. Затем спохватился — был он не лишен вкуса и отличал, что такое манерничанье и каботинство — спохватился, махнул рукой и пить не стал.

— Знаешь ли ты, — сказал он, — с какой завистью я на тебя смотрю? Я тебе, наверное, сейчас смешон. И, может быть, ты думаешь плюнуть и уйти. Не уходи. Поедем в Серпухов. Побудь хоть два-три денька со мной. В школе мы с тобой об одном и том же мечтали. Как это вышло, что я оказался пустым, сам не понимаю. У меня все такая мысль: убежать и поступить где-нибудь в далеком городе конторщиком или в Америку уехать, рудокопом сделаться. Я ночь не спал, когда узнал о твоём первом аресте.

Я так тебе завидовал, так хотел быть на твоём месте! Все дело в цели жизни. У меня нет цели жизни. Я недавно прочел Руссо о происхождении неравенства между людьми и Льва Толстого «О рабстве нашего времени». Это замечательно: перед крушением отжившего порядка оба мечтают о возвращении к природе. Я тоже бы вернулся к природе. А черт его знает, как это сделать! Мне кажется, что я вроде римлянина времен упадка перед нашествием варваров. Цивилизация римская этому римлянину опротивела. Но он любит ее утонченность. Знает он, что варвары ее сметут. Он любит их силой, но и пристать к ним не может — изнежен. О, они не очень ему нравятся, да и он им никогда не понравится, не возьмут к себе. У моей мачехи, — у меня мачеха, Елена Петровна, добрый человек, — есть горничная Настя, красавица, недавно из деревни. Для нее мы, Коноплины, были высшие существа. Она вначале на меня богу молилась. А теперь, как погуляла с нашими фабричными девушками, кажется, стала презирать меня: хозяйский сын. Я даже иногда о самоубийстве думаю, когда смотрю на нее или вспоминаю о тебе. Мне отец дает на карманные расходы, не поверишь, всего десять рублей в месяц. Он хочет приучить меня дорожить копейкой. Ты увидишь, что это за фанатик своего предприятия. Но дядя Валерьян, он — чучело гороховое, чудаки и тряпка. Я у него денег не прошу, но он иногда сует сам мне деньги, сотни две-три. «Пусти, говорит, твоим

приятелям пыль в глаза, чтоб чувствовали, что ты Коноплин».

* * *

В Серпухов мы отправились: Николай, я и его дядя с супругой. Клавдий Никитич не пожелал поехать с нами: «К Архипу Коноплину никогда не ездил и никогда не поеду; он торгаш и плут».

Клавдий Никитич презирал Архипа Коноплина. Но оказалось, он и Валерьяна Николаевича не жаловал: «Я не выношу английского духа и хочу, когда все уедут, отдохнуть от Британии. Настоящие дворяне были только галлы, только во Франции. Галльский дух романтичен и бескорыстен».

Мне Николай рассказал, что Клавдий Никитич лишь называется «директор» беговой конюшни Валерьяна Коноплина, но что «он конюшнями не заведует, а приставлен только рассуждать о лошадях и конюхах». Делать он вообще ничего не может: все запутает и перепутает. Он всех корит, всех ругает, всех презирает, но и всем верит, доверяет. Он не допускает, что его могут обмануть: «Да как они посмеют?» К тому же он убежден, что «люди из народа» его любят и им всегда готовы восхищаться, любоваться, поклоняться ему, он ведь дворянин галльского образца. Он без ума любит природу и лошадей; цыганские песни любит и ненавидит «купеческое отношение к цыганам». Никогда не ездил и не поедет к цыганам с дядей Валерьяном. Говорят про него, что он дал обет безбрачия. Говорят тоже, что он содержит девушку семнадцати лет и бережет ее чистоту и будто второй год живет со вдовой, хозяйкой мелочной лавчонки на углу Сенной и Тишинского и чуть ли не потягивает из нее денежки. Вообще же он охотно берет займы и никогда не отдает.

* * *

Когда мы приехали в Серпухов, Архипа Николаевича не было дома.

— А хозяйин в Москве, — объявила нам Олимпиада Акимовна, экономка Коноплиных, плотная старушка под шестьдесят лет. Ее все называли Пищя.

— Раз Валерьян Николаевич приехал, то хозяйин, значит, дома... Мы

такие же хозяева здесь, как Архип, — отрезала Ксения Георгиевна.

— Ну, голубушка, ну, матушка, ну, раскрасавица моя пригожая, сказала! Как врезала! Меня, старую дуру, наставила, поправила. Хозяйка ты, хозяйка! Наш дом коноплянский стоит на двух ногах, как мир — на трех китах, — два хозяина, две хозяйки, как две скрижали у Моисея и два клироса на амвоне. Дай-ка я тебе ножки из-под полости выпростаю.

Пияша кинулась к саням «выпрастывать» ножки Ксении Георгиевны из-под овчинной полости.

— Тяжела она, полость-то овчинная, для таких маленьких ножек, как твои.

— Простудишься, Пияша, — сказал ей Валерьян Николаевич, — на мороз без верхнего выбежала.

— Обрадовалась. В окно увидала. От радости и выбежала, в чем была. Да прямо от печки. А это, никак, гостюшку бог посылает к нам, — обратилась Пияша ко мне, — гость на гость, хозяину радость.

Через тесовые сени нас ввели прямо в столовую.

— В комнатах шубочку снимайте, у нас сени холодные.

В столовой топилась голландская печь. Перед ней на коленях стояла и подкладывала поленья молодая девушка Настя, действительно очень красивая. Увидав нас, она поднялась, молча поклонилась и бросилась снимать о Ксении шубку.

С изразцовой лежанки сползла монашенка в грубых и серых валенках. Она по-монашески положила руку поперек живота и низко склонилась перед нами.

— А, мать Серафима! Живая душа на костылях, — весело приветствовал ее Валерьян. — Когда к нам прибыли и долго ли погостите?

— На послушанье в мир на месяц посланы мы за сбором пожертвований, храни вас бог; нынче-завтра и отбываем в другие места. Сорокоуст по усопшим монастырю нашему Елена Петровна заказала да годовую обедню о здравии всей семьи Конопляных, храни вас бог, благодетелей наших. Может, и ваше какое будет пособие?

— Пожертвую и я... Ну, а шарфиков из кроличьего пуха и рукавичек, шапочек привезли? Готовых или на заказ вязку принимаете? Мне Фуфаечку бы связали.

Встретить нас вышла и Елена Петровна, мачеха Николая. Ей лет тридцать пять. Она похожа на древнюю икону греческого письма. Вся черная, темного отлива цвет лица, худа — что называют, кожа да кости; глаза, струящие грустный свет, робкие и как будто молящие: я не трогаю вас, меня не троньте и вы. Коля с ней был нежен. Когда она к нему подошла, он поцеловал ей руку, потом другую. И Валерьян, видно, ее любил...

— Сестрица Аленушка, здравствуй, свет!

Ксения сейчас же на него прикрикнула:

— Подумаешь, век не видались! Вчера расстались, нынче встретились, а у него уж и губы отвисли и руки окисли.

Дверь из сеней с грохотом дернулась, открылась, и на пороге появился тощий, но крепкий детина огромного роста, в щегольских сапогах, в овчинной куртке с расстегнутым воротом. Из-под куртки можно было видеть вышитую рубашку. В его глазах было так много уверенной хитрости, что, казалось, она выскочит из положенных ей границ и прольется ему на сапоги. Он был чуть с прикосью. Про таких говорят: бог шельму метит.

— Архип Николаевич, приехавши, обход фабрики делают, с управляющим Федором Игнатьевичем. Приказали на стол накрывать и без них обедать не садиться, — сообщил детина. Возвестив, он осмотрел всех и нагло засмеялся, как будто хотел сказать: ну-ка, что запоете? Попробуйте послушаться.

Пияша ему попеняла:

— Чего ты, сынок? Чего гогочешь, Тимоша? Чай, вырастешь — дурак будешь.

Валерьян Николаевич с крайним презрением спросил:

— Чего гогочешь, скотина?

Тот ответил:

— Гоготать люблю.

Валерьян Николаевич ко мне:

— Видели фрукта? Это Тимошка Свильчев, Пияшин сын. У почтительной матери наглое дитя.

— Валерьян Николаевич, ты уж не порочь Тимошу, если что и нескладно у него выходит, так это оттого, что в труде на хозяина он всегда первый, и так работает, что некогда и носа утереть; Тимоша куска в рот, бывает,

не положит, о хозяйском деле заботясь, вон скелет какой обглоданный!

— Видели, как защищает мать сына? Наглец, наглец, а всех сумел приворожить к себе. Спросите его, кто он у нас: конторщик не конторщик, рабочий не рабочий, колуи при столе не холуи, а больше за нашей семьей шпионит и Архипу доносит. Я тебя, Тимошка, раскусил, гуся.

Тимофей в ответ радостно загоготал, заулыбался, засиял весь, видимо, очень польщенный характеристикой, какую ему дали, и вышел.

Сейчас же все пришло в движение. Кликнуты были Пияшей Малашки, Лексашки, Анютки, Настюшки. Работа закипела. Пияша командовала отрывисто, строго:

— Конец скатерти на себя подай. Куда тычешься? Куда ставишь?

Малашки, Лексашки, Анютки и Настюшки व्यюном ходили. Стол был накрыт молниеносно. Пияша осмотрела, сделала свои поправки, снова оглядела, и раздался крик:

— Настюшка!

Настя предстала:

— Слушаю, тетенька Пияша.

— Я тебя, Настюшка, зачем из деревни вывела? Чтоб ты мне досадила или чтоб, как моргун, так сделала? Ты чего ж это Федору Игнатычу поставила? Какую ты управляющему рюмку тычешь? Да нешто будет Федор Игнатыч из такой пить? Давай, дурак тебя понюхал, давай расписную его собственную с притчей. Извела ты меня, иссушила совсем.

Настя принесла расписную «чарку с притчей» и поставила перед прибором Федора Игнатыча. Чарка была огромной величины, но для питья оставлена была выемка очень небольшая, яйцевидной формы. Я поинтересовался притчей. Она была выписана славянской вязью; четыре грани у чарочки; на одной грани надпись: «Во-первых, я не пью»; на следующей грани: «Во-вторых, сейчас рано»; затем: «В-третьих, я уже выпил»; и на последней: «В-четвертых, так и быть, налейте, но только полную до краев, чтоб жить богато».

Когда все было готово, Пияша обошла стол вокруг, все взвесила, осмотрела — и приборы, и кто как будет посажен, и сказала:

— Проверьте теперь вы, Елена Петровна, все ли так?

Елена Петровна попросила нас пройти в свои комнаты и постараться быть готовыми к столу. Мне отвели комнату над столовой; называлась она «комната на балконе». Надо было здесь же, в столовой, подняться по внутренней лестнице на галерею с балюстрадой. Перед самым входом в комнату был небольшой закоулок рядом с голландской печкой, как будто специально сделанный для наблюдения за тем, что происходит внизу в столовой.

Я очень скоро был готов. Меня удивило, что так же быстро приготовились к обеду и Валерьян Николаевич с женой. Он вышел не в смокинге, как в Москве, а в новеньком сюртуке темнозеленого цвета с металлическими пуговицами в два ряда. Как-то после он мне пояснил, что это был его собственного сочинения «туалет столичного человека, приехавшего в провинцию». Сюртук, повидимому, был уступкой Архипу Николаевичу. Зато Ксения Георгиевна ни в чем не уступала нравам старшего брата. Она вошла в вечернем платье с открытыми плечами.

В столовой по стене шел ряд стульев, вытянутый в ниточку. В этом ряду и было указано мне чинно сидеть и ждать. Так же сели и Валерьян со своей супругой.

* * *

Архип Николаевич появился шумный, весело возбужденный. Дверь он открыл размашисто, застучал ногами так, что рюмки на столе ответили тихим стоном. Сняв рукавицы, он ударил в ладоши, засмеялся и закричал:

— Видел, видел на вокзале всех вас, как вылезали, да не подошел, спешил на фабрику скорей... Из первого класса вылезали, а я, победному, в третьем ехал; мы — народ рабочий, простой. Я обыденкой в Москву скатал, рано утром выехал, к обеду вернулся.

Пияша так и вилась вокруг Архипа Николаевича и все причитала:

— Дождались мы, вернулся сокол наш, дождалось незаступные заступника.

Архип Николаевич всех домашних облобызал и Пияшу в том числе. Он был в короткой куртке на лисьем меху и в валенках выше колен, на валенках калоши. Шапку он положил на

лежанку, калоши не снял, куртку тоже не снял, только расстегнул; Пияше приказал:

— Вели дровец подбросить в лежанку.

Затем Архип Николаевич сел на стул и молча вытянул ноги. Николай сейчас же подбежал к нему и начал снимать валенки. Пияша толкнула Настю:

— А ты чего, шалава, истуканом встала? Тащи с другой ноги.

Настя опустила на одно колено и потянула на себя другой валенок. Приступила она к этому неудачно: «Заело, не идет». Пияша поспешила к ней на помощь. Наконец разули Архипа Николаевича. Пияша подала ему кожаные сапоги.

Архип Николаевич крикнул:

— Настюшка! Вот что... Да позволь, чего это ты глаза в пол, нос на квинту, что я тебя, съем? Подними голову. Еще повыше. Смотри на меня. Да не так смотри, веселей. Я люблю веселых. Сбегай-ка в контору и зови Федора Игнатыча. Скажи я жду, без него за стол не сяду. Беги бегом. Да постой, постой. Куда ты бросилась?

— За Федор Игнатычем.

— Ты вначале скажи: «Слушаю, Архип Николаевич», а потом беги.

— Слушаю-с, Архип Николаевич.

— Хорошо. Теперь беги.

Архип Николаевич обратился к монашенке:

— Ну, прискакала, божья нога? Что скажешь, мать Серафима? Как у вас там святые поживают? Как это говорится: святой, святой, а спать хочет.

— Живем, Архип Николаевич, как бог подаст.

— Ну, бог подаст или не подаст, а вот Архип Коноплин тот уж обязательно что-нибудь тому подаст, кто на него поработает. От Елены Петровны что-нибудь получила уже?

— Как же, как же, Архип Николаевич, получили, она своей милостью нас не оставляет.

— Покажь, что получила. Ну, покажь!

Мать Серафима отперла ключиком и расстегнула кожаную сумку, которая у нее висела через плечо ниже пояса.

— Вот, сто рублей от них выдано.

— Покажь сюда. Подай.

Мать Серафима подала. Архип Николаевич вытянул большой, аляповатый старомодный кошелек с поржа-

вшим ободком, положил в него сторублевку, которую взял у матери Серафимы, достал «четвертной билет» и дал его монашенке:

— И двадцати пяти рублей с вас довольно, не заработали больше. Как говорится, чего тем богам молиться, которые плохо милуют. Молитесь лучше, подам всем богам по сапогам. А плохо будете молиться, не вам — другим монастырям жертвовать буду. Так игуменье своей и передай: будет мне в задуманном деле удача, куплю вам новый плат для антиминса и позолоту на царские врата новую сделаю, а не вымолите удачу, — и ноги вашей чтоб в моем доме не было. А пока обедай нынче с нами.

Затем Архип Николаевич взялся за брата Валерьяна:

— Какие дела, братец, делаешь в Москве белокаменной? Чем порадуешь?

— Вот за границу на первой неделе поста ехать собрался с женой. Паспорта уже взяли.

— Сколько надо?

— Тысяч восемь дай.

— Почему же не восемьдесят?

— Я не сверх того, что мне дается, а согласен в счет моих личных расходов вперед. Да и пора бы мои личные увеличить тысяч до трех в месяц.

— А еще что?

— Ты говоришь: «а еще что», как к чорту посылаешь. А я такой же наследник отца и такой же хозяин дела, как ты.

— Вот то-то и оно. Ты хочешь хозяином над делом быть, а, по-моему, надо мной и над тобой дело должно быть хозяином. Я вот тебя спросил, что и как у тебя. А ты меня когда-нибудь спрашиваешь, как я с делом управляюсь, как я тысячу шестьсот тридцать человек каждое утро на работу вывожу и ими правлю? Днем я покою себе не знаю. Ночью сна мне нет.

Здесь ли, в Москве ли, я всегда начеку, всегда в работе, всегда в хлопотах. Восемь тысяч тебе выкинуть на всякие там заграницы? А ты знаешь, какие мысли я из Москвы привез? В Москве сейчас товар с руками отрывают, любые сорта берут, на корню покупают. И о цене не толкуют. Московскую биржу не узнать. Такой горячки двадцать лет не было. Персия спрашивает наш товар, Турция спрашивает.

Валерьян захохотал:

— Ну, значит, в самый раз привалило. И вдруг он закричал:

— Гарсон, дюжину устриц и бутылку шабли!

Ксения Георгиевна ласково ударила мужа по плечу и также захохотала в тон ему.

— Что вам нужно, дядя? — спросил Николай.

— Это я, Коленька, перед Парижем репетицию делаю. Теперь живанем. Теперь я покажу Европе, что такое Коноплины.

Архип Николаевич продолжал:

— А сколько товару Коноплины могут поставить? Нешто можно сказать? Поставлю, как в прошлом году. Нет, говорят, голубчик, давай вдвое, втрое. А мне дать нечего. Ах, нечего? Так не взыщите, Коноплины; покупатель пойдет в Тверскую, в Глуховскую мануфактуру, а не к вам, Коноплиным. Можем мы это с тобой терпеть? Можем мы тихонько плестись, когда другие вскачь понесутся?

— А что ты задумал?

— Мы решили дело расширить и два новых корпуса строить. Нужно нам все наличие в дело пустить и еще полмиллиона набрать. Триста тысяч кредиту уже достали, а двести наскребем помалу. Ты из Москвы сюда переедешь жить, вот уж тридцать—сорок тысяч в год у нас в кармане, беговую конюшню твою по боку, вот тоже тысяч сорок, да с рабочими разговор поведем, нельзя ли им годик один чуть пожаться, каждому на гривенничек, на пятиалтынничек в день сбавить да лишних полчаса в день работы прибавить, а нам это дает, мы посчитали с Федюшей, тысчонок около ста в год; вот они двести и набегут. Рабочим же прямая выгода нас поддержать. Сделаем новые корпуса и возьмем две тысячи новых рабочих, наших же деревенских, опять из нашей округи, мы ведь не чужие друг другу, слава богу, и хозяин, и конторщики, и рабочие все одного уезда, одной волости. Понял?

— Мы не согласны, братец, сюда переезжать и конюшню не продадим,— заявила Ксения Георгиевна.

Вбежала Настя и оповестила, что «Федор Игнатыч сейчас будут». За нею вкатилась в столовую и Пияша:

— Идет, бежит Федюша.

За ними вошел Федор Игнатыч. А

за ним сейчас же внесли щи. Елена Петровна пригласила всех садиться за стол.

Лицо Федора Игнатыча было похоже на большую рыхлую дырчатую губку с подвешенной внизу растрепанной мочалкой. Глазки сияли и окружены были лучиками морщин. Сам он не был толст, но живот его поражал объемом. Федор Игнатыч, несмотря на зимний сезон, одет был в люстриновый пиджак, засаленный до блеска. Под пиджаком виднелись ватный жилет и рубашка «фантазия», вместо галстука болтался шнурок с помпончиками. Федор Игнатыч, войдя, галантно шаркался.

— Позвольте мне, Ксения Георгиевна, очаровательная наша светская обольстительница, засидетьствовать вам свое нижайшее почтение и свою душевную радость в честь вашего появления.

Пока он целовал дамам ручки и здоровался с нами, Настя поджидала около его стула, держа в руках поднос с налитой чаркой. Федор Игнатыч, не сядя, опрокинул чарку и не закусил. Как новому человеку он пояснил мне:

— У меня свой обычай. Я пью перед тем, как сесть, чтоб до ног дошло по всему корпусу кровообращение, а потом уж, севши, пью со всеми.

— А ты, Федя, чего замешкался? — спросил Архип Николаевич.

— Запрос в палате общин задержал, гагская конференция, дела дипломатические, — так будет по-твоему, Валерьян? А без шуток, Архип Николаевич, рабочие обступили: скажи, говорят, Игнатыч, верно ли, снижать плату затеваете? И кто это им сказал? Мы только промеж себя чихнуть успели, а они уж нам, «будьте здоровы», делегацию выбрали и замутились.

— А ты?

— А я отвертываюсь. Наше, говорю, дело маленькое, надо спросить самого Архипа Николаевича. Они тогда: давай, мол, самого. Нет уж, говорю, он обедать сел. И какой это Федул им в уши надул? Никого около нас, кроме Тимошки Свильчева, не было.

— И что ты на моего сына Тимошеньку взъелся, Федор, а еще сват нам приходишься, — откликнулась Пияша, дежурившая около стола.

Архип Николаевич сердито ее оборвал:

— Ты бы, Пияша, вышла, похлопота- тала бы о чем. Ну, ну, понимать нужно, иди.

— Я, чай, своя, не чужая.

— Своя-то ты своя, да язык-то у тебя чужой. Пойди промнись, потрясись немного.

— Тридцать второй год в доме ве- зешь, словно лошадь, а все ни во что, все хинью, все прахом, хоть тресни, не потрафишь.

Когда Пияша ушла, Архип сказал:

— Ты, Федор, на Тимошку напрасно клепаешь. Он ко мне подбежал у нашего крыльца и шепнул: «Сам, гово- рит, слышал, что о снижении уж за- говорили, и в отхожих местах, и по рабочим спальням пошло, и среди баб уже известно.

— Он такой — и нашим и вашим. А делегацию я отшил, не в прощенное же воскресенье нам с ними валан- даться.

Архип Николаевич ударил ладонью по столу:

— Не так ты, Федор, сделал. Кто там, в этой делегации?

— Конечно, Кузька, потом кузькин сын, Степка (Настя при упоминании Степана покраснела), потом Агашка Дроздова (а при этом имени, может быть, покраснел и я: Агаша — жена Сундука).

Архип Николаевич еще раз ударил ладонью по столу:

— Подождите-ка щи хлебать. На- стюшка, покличь там Свильчева и ска- жи, чтоб звал сюда Кузьку с сыном и Агафью Дроздову. Пусть скажет, что хозяин приглашает их сейчас же к столу, что, мол, ждет.

То нас долго не допускали к столу, а то теперь, за стол посадивши, заста- вили сделать длинную паузу. Все по- ложили ложки, как сделал Архип Ни- колаевич, и сидели молча, никто не смея прикоснуться к еде.

Видно, здесь было заведено, что за столом начинать разговор мог только Архип Николаевич или, в виде исклю- чения, Федор Игнатьич. Он этим пра- вом и воспользовался.

— А что, Валерьяша, привез мне новую порцию для размышления о бренности земного? Жду и соску- чился.

— Привез две главы: с греческо- го — об острых приправах и с фран- цузского — о креветках и миногах.

Оказалось, что Федор Игнатьич при- обрел как-то на воскресном книжном базаре на площади у Сухаревой баш- ни две книжки, одну на греческом языке, о восточных блюдах, а дру- гую — на французском языке, о при- готовлении, как он выразился, «раз- ных даров океанской, морской и ре- чной фауны». Сам он ни по-гречески, ни по-французски не знал и попросил Валерьяна Николаевича подыскать ему студента для перевода. Студент такой нашелся и взялся за десять рублей пе- ревести обе книжки. Валерьян Нико- лаевич по частям привозил перевод в Серпухов и вручал заказчику.

— Я, молодой мой друг, — опять ко мне обратился Федор Игнатьич (он, видимо, был рад новому слушателю), — изучаю пищу всех народов и времен и пробую всякое есть. Чего я только не ел! Поверите, мокриц пробовал есть, улиток. А птицу всякую — и счету нет: галок, голубей, грачей. Канарейку однажды съел. Соловья пробовал. Жа- воронков маринованных ел, журавля жареного, ворон, сорок...

— Сорок грех есть, они на Голгофу гвозди ко кресту спасителя его мучи- телям доставляли, — из-за лежанки подала реплику Пияша.

— Ах, ты опять здесь, прискакала. От тебя ни крестом, ни пестом, — ска- зал Архип Николаевич, но не прогнал Пияшу.

— Мой отец, — продолжал Федор Игнатьич, — тоже по этой части сла- вился; его, говорят, и старостой в де- ревне за то и выбрали, что он за один присест гуся двенадцатифунтового съел. Ну, и я в него пошел. А вот по- койная сестрица моя единственная, та была не в нас; ну, да девочки вообще не больно едовиты, а мальчики, те жрецы всегда исправные. У меня по еде подобрана целая библиотека. Зай- дите, поинтересуйтесь, коли время бу- дет. Я, как в Москве, так обязательно на сухаревский книжный развал попадаю, то есть на базар всяких старых книг. Люблю ходить там по рядам, — чего только не увидишь, чего только не услышишь! И какие редкие экзем- плярчики всяких книг, гравюр, олео- графий попадают.

Вошла Настя и сообщила, что де- легация явилась. Архип Николаевич приказал:

— Давай их сейчас же сюда.

Первым вошел Степан, молодой парень лет двадцати двух. На пороге Степан сказал: «Здравствуйте», — не обращаясь ни к кому в отдельности. За Степаном вошла Агаша. Как она худа! Какая зелено-желтая кожа на ее лице! Какая бесконечная усталость в глазах! И какое ко всему равнодушие: кажется, ничем не удивишь, не обрадуешь, не огорчишь. Поклонилась она всем молча.

Кузьма, отец Степана, раскланялся направо, налево, но тоже, как Агаша, молча.

Пияша сорвалась с места:

— Куда же это вы так вперли? Во-лы вы такие пестрозадые! Настюшка, как же ты выпустила? У них валенки обтекли, они наследят на паркетке.

Но хозяин одернул Пияшу и пригласил делегацию хлеб-соль разделить и по-свойски все обговорить:

— Мы, чай, не чужие, все земляки, под одним небом родились, в одной речке ребятишками купались и в одном лесу опенки собирали.

Степан сразу же, без колебания, отказался от обеда. Отказался твердо, но сдержанно, без вызова. Отошел к сторонке, выбрал стул, сел без приглашения, закинув ногу на ногу, тряхнул чубом и от смущенья закурил, но, заметив, что это не понравилось Елене Петровне, сейчас же огонек притушил и папироску сунул в карман. Кузьма же поколебался немного, оглянулся на сына и сказал очень мягко:

— Кушайте сами, мы подождем, за делом пришли, не в гости.

Агаша вслед за ними также отказалась. У нее выступили слезы на глазах. Архип Николаевич сочувственно покачал головой:

— Голодно, Агаша, живешь? Трудно тебе одинокой?

Агаша растерялась, она была застигнута врасплох и не смогла ответить ни слова; она молча опустила на стул у края стола; ей сейчас же придвинули тарелку, но она ее резко отодвинула.

Ксения Георгиевна заинтересовалась: — А почему, Агаша, вам трудно жить?

Агаша промолчала. Рассказ повела Пияша:

— Прошлогодьясь летом, как вы, Ксения Георгиевна, на теплые воды

уезжали, сестра Агаши, Мавруша, — помните, на песни первая была по праздникам заводиловка, — ушла с мужем на ночную работу и заперла в спальнях в старом деревянном корпусе своих пятерых детей на замок, — старшей девочке восемь лет, а младший мальчик грудной был. Ну, известно, ночь, дети заснули. Пожар и вспыхнул. Спальни-то старые, как порох—дыхни на них — вспыхнут.

— Особенно-то не ври, Пияша, — сурово сказал Архип Николаевич.

— Ну, как везде спальни, — прикусила язычок Пияша. — Значит, приехали пожарные; ан без лестницы. Дороги они будто, лестницы-то эти раздвижные. Долго девочка-то старшая кричала, металась у окошка: «Спасите, спасите». Ан нет. Так и сгорели четверо меньших. А девочка-то догадалась: в окно выбросилась. Жива осталась, ножки только себе переломила. Калека стала, на костылях. Отец с матерью вернулись. У отца тут же разрыв сердца сделался. А мать выжила. Только ни к чему негодная стала. Задумчивая. Теперь Агафья их обеих с лета и содержит на своей шее. Дай бог здоровья Елене Петровне — доктору выписала из Москвы к девочке, костыли девочке особенные заказала в Москве, в немецком магазине.

В начале рассказа Пияши у Агаши появилась на глазах слезинка. Потом другая. И еще и еще. Потекли одна за другой. А к концу рассказа Агаша склонилась к столу на руки, и только видно было, как плечи ее вздрагивали.

— Да кой же вы чорт весь этот разговор затеяли? — закричал Валерьян Николаевич, сорвал с себя салфетку и выбежал из столовой.

Заволновался и Степан:

— Мы не для того пришли сюда. Прекратите, или мы уйдем сейчас же.

Переполох за столом вышел немалый. В конце концов Архип Николаевич с делегацией ушел к себе в кабинет.

— Так и не доел, сердечный, свой обед, — попеняла Пияша.

Федор Игнатьич наскоро опрокинул последнюю чарку и направился в кабинет, вслед за хозяином.

Все поспешили из столовой. Я поднялся к себе наверх и сел в закоулочке у печки, откуда из-за балюстрады была видна вся столовая.

Через некоторое время в столовую

вошла Пияша, осмотрела, все ли ушли, не остался ли кто подслушивать, и, убедившись, что никого нет, приложила ухо к двери кабинета. Но ее спугнул шорох. Она отбежала к лежанке. На цыпочках вошла Елена Петровна.

— Ну что, Пияша? Как там? Разговаривают? Не шумит Архип Николаевич?

— Нет, тихи.

Елена Петровна позвала:

— Идите, мать Серафима. Влезайте на лежанку, погрейтесь. Согнали вас, побеспокоили. Мать Серафима, посоветуйте, какой же тут выход христианский найти. Архип и Валерьян не братья, а злейшие враги. И помирить их не знаю как. Архип Николаевич — строитель, он умножать хочет, расширять, а Валерьян — только бы пожить в свое удовольствие. Грех, матушка, осуждать, а я осуждаю. Что без толку деньгами швырять? К чему так выряджаться, как Ксения? Расточительство — большой грех. Надо работать, умножать добытое отцами, а не проедать в праздности. Мы не дворяне. Да и Ксюша, кто она? Из мещан ведь медыньских. Чем отец ее капитал наживал? По деревням ездил, через ребятшек тряпье, старье скупал, а за него ребятам грушами сушеными платил. Я так думаю, матушка Серафима, грешно для мамона жить. Мы — фабриканты, мы народ кормим. Нам надо сыну дело передать и его самого к делу нашему большому приставить. Архип Николаевич никаких себе удовольствий, никакой роскоши не позволяет.

Ксения и Валерьян разорить нас задумали, о разделе мечтают. Боюсь я этого. Я, мать Серафима, с детства жизни боюсь и всегда ужасаюсь. Девочкой маленькой, бывало, только и слышишь: тот разорился или пропился; того обманули и обвели, в трубу вылетел, банкрот стал; того убили, ограбили; того дети собственные обворовали; у того конторщики, приказчики все растащили; тот прогорел. Бывало, ложусь спать и вся дрожу. Молюсь, молюсь, и чем больше молюсь, тем страшней делается, лучше бы уж, думаю, не жить или уж родиться бы сразу бедной, чем из богатых в нищие попасть. Спрячусь, бывало, под одеяло, закрою крепко-накрепко глаза и шепчу: «Господи, дай бог чтоб мы всегда

были богатые, господи, дай, чтоб мы никогда не были бедные, спаси, господи, нас от банкротства, от воров, от обмана».

Серафима слушала Елену Петровну, задумавшись, и сосредоточила все силы своего ума; ее низкий и узкий птичий лобик сморщился. Наконец Серафима нашла в глубинах мысли верный исход и радостно улыбнулась:

— Я вам дам совет, родная Елена Петровна, — неопалимой купине и никому иначе надо отслужить молебен.

Пияша усомнилась:

— Так ли, мать Серафима? Неопалимая купина, гляди, только от пожара обороняет. А от раздела имущества и от разорения надо, думается, служить молебен Косьме-бессребреннику.

— Эка, Липиядушка, окстись! Косьма-бессребренник — он против скопления богатства. Об скоплении надо Фролу и Лавру молиться. А еще лучше, Елена Петровна, отслужите вы пророку Науму. Он, пророк Наум, представляет на ум, — вам тогда и прояснится, что надо делать.

— И Агафью мне, мать Серафима, жалко. Сколько раз я говорила Архипу Николаевичу: надо сломать спальни деревянные, упаси боже, пожар! А он все жалел, убытку все не хотел, а сгорят, говорит, страховку получим, на страховые выстроим кирпичные спальни.

В столовую, гремя и топая, хозяйским шагом вошел Валерьян Николаевич. Вид его показывал, что он принял какое-то решение.

— Где делегация, Елена? Рабочие, говорю, где?

— У Архипа Николаевича в кабинете. Разговаривают.

— Ага! Не заперто?

Пияша заволновалась и поспешила к двери кабинета.

— Ты чего, Пияша, дорогу загораживаешь?

— Не велел Архип Николаевич тебя звать.

— Я такой же хозяин, как и он.

— Вестимо. Но вот, поди ты, не велел.

Валерьян Николаевич сорвался с важной осанки и начал громко кричать:

— Ах, так! Я ему тогда покажу! Он

у меня в трубу вылетит! Я свою часть из дела выну.

И вдруг дверь из кабинета раскрылась. Выбежал Архип Николаевич. Сдерживая себя, он заговорил свистящим шопотом:

— Ты чего? Ты кричать? Ты — чтоб они слышали?

Валерьян Николаевич голоса не снизил:

— Я не уступлю. У меня паспорта заграничные в кармане. Давай деньги или я в суд подам и получу раздел.

— Отец на смертном одре запретил нам делиться. Тебе бы только жрать, да спать, да одежду драть. Конечно, на проценты жить веселей. Я отечеству служу, я России работаю!

— России он служит!! Ты кашеём от жадности стал и всех кругом в бараний рог согнул. Кому от тебя радость? Или ты мне уступишь, или я сейчас пойду и скажу рабочим, что я согласен на все их просьбы. Слышишь?

— Молчи, дурак!

— Не замолчу! Я тебя... я тебя... убью...

— Убьешь?

Архип Николаевич со всего размаха ударил брата по лицу. Тот закричал. На крик вбежал Тимофей Свильчев. Архип Николаевич размахнулся, чтоб ударить еще раз, но Валерьян побежал от него. Свильчев помешал Валерьяну проскользнуть в дверь и загоготал. Архип настигал брата. Тот пустился вокруг стола, Архип за ним. И так они сделали два круга. Один остановился, запыхавшись. Остановился и другой. Архип сделал попытку схватить Валерьяна через стол. Тот уклонился. Некоторое время ложными маневрами каждый из них старался обмануть противника, бросаясь то туда, то сюда, как делают дети, когда ловят друг друга, играя в «салки». Но вот Архип сделал энергичный бросок и почти наскочил на Валерьяна, тот побежал к двери, прямо на Свильчева. Архип уже протянул руки, чтоб схватить брата.

Свильчев бросился на помощь Архипу, но сделал это так, что Валерьян проскочил мимо него в дверь и выбежал из столовой, а Архип наткнулся на выставленную ногу Свильчева и упал бы, если бы Тимофей его не подержал. И нельзя было сказать — само так вышло или Свильчев так под-

строил. Но он опять загоготал. Архип, взбешенный, схватил Свильчева за чуб и начал трести и раскачивать. Пияша заплакала. Елена Петровна убежала. Серафима бросилась за нею. Свильчев не сопротивлялся хозяину и покорно раскачивался то туда, то сюда. Оттаскав, Архип толкнул Свильчева от себя:

— Получил? Довольно тебе? Это чтоб ты не подвергивался, когда не надо.

Свильчев загоготал.

— Ты чего, истукан, гогочешь?

— Гоготать люблю.

— Возьми, Пияша, твоего чорта и уведи его с глаз моих.

Пияша взмолилась:

— Да он, Архип Николаевич, по дурусти гогочет, а сам, я знаю, в ноги хочет упасть, прощения за неловкость у хозяина просить.

— А может, он хочет меня, благодетеля своего, зарезать?! Ишь, глазница-то какие!.. Чего, спрашиваю, гогочешь? Отвечай!

— Ответил уже вам: гоготать люблю.

* * *

Провожая делегацию, Архип Николаевич сказал что-то ласковое Агаше, дружески похлопал по плечу Кузьму. Мне показалось, хотел он сделать то же со Степаном, но, видимо, духу не хватило — побоялся, как бы тот его не осадил.

— Ну, добрый час! Ну, будьте здоровы! Ну, значит, сойдемся по-добро-соседски, по-хорошему, а не по-плохому? Да вы долго там не думайте. Что долго думать — отрубил, да и в шапку. Я ведь ничего не боюсь.

Степан лукаво улыбнулся на эти слова. А Кузьма сказал:

— И я не боюсь. Я слишком тридцать лет тому назад Дунай под пушками переходил, потом через Балканы, — не боялся.

Хотелось мне узнать, на чем же они сошлись или думают сойтись, но Архип Николаевич никому из домашних ничего не сказал. Он приказал только сзывать всех на вечерние блины.

— И брата Валерьяна позовите, чтоб обязательно пришел, и с женой, и чтоб все прилично было. Зовите из

конторских кого. Федя укажет, могут с женами явиться.

По его уходе в столовую сейчас же вбежала Ксения Георгиевна и кинулась с расспросами к Федору Игнатьичу. Но и тот был уклончив:

— Все будет хорошо, очаровательная хозяйюшка. И за границу поедете. К утру завтра все разъяснится и уладится. Я вам стульчик сейчас подам. Садитесь, посидите со мной. Рассудите сами: разделитесь — хорошо; на проценты будете жить — хорошо. Но будете ли вы такие проценты с ваших денег получать, как прибыль с фабрик?! И какая вам радость в четырех стенах в Таганке прозябать, щи хлебать, с горничными скучать, на картах гадать — и только всего удовольствия. А о фабрикой вы везде персона: без вас никто в Серпухов шагу не сделает; ото всех почет, и от исправника, и губернатор если приедет, то к вам с поклоном, и архиерей. И народишко перед вами шапку ломает. Да и в Москве к вам все на поклон пойдут. Фабрика богатеть будет, и профессора всякие валом к вам повалят, и стихи про вас сочинять будут, и все художники, и все артисты в ножки вам кланяться будут. А вы будете красотой и обхождением блистать и очаровывать, и очаровывать! Кого захотите, того до белой горячки и очаруете.

Ксения Георгиевна таяла, но не сдавалась:

— Да ведь он обманет, Архип-то, он нам поездку за границу расстроит. Посулить, может, и посулит, когда его прижали и рабочие и мы, а потом хвостиком вертанет, как налим бескостный. Он ведь скупичий, он за копейку в церкви... звук издаст.

— Уж это вы, очаровательная, преувеличиваете. Архип Николаевич не скуп, он экономлив, он строитель. Ай, какой строитель! Он бы в Серпухове Суэцкий канал прорыл, да, жалко, моря под рукой в округе нету. Вот ведь для чего он старается, — не из жадности, а как бы всякую всячину в дело пустить.

— А что же, голубушка, поделать? Хлопочет, хлопочет, Архип Николаевич. Оттого и растет у него все. Это как в огороде: покопаешь, польешь да выполешь — и взойдет, а не похлопочешь — не взойдет.

На вечерние блины было позвано к хозяйскому столу из «чад и домочадцев» и из «конторских» человек тридцать. За стол была посажена и Пияша, и сын ее Тимофей. Ради ли «прощеного воскресенья» или еще почему, но Тимофею, очевидно, была прощена его недавняя выходка.

К столу был приглашен и местный священник. Он был очень доволен приглашением и весь сиял. Но, увидав монашенку Серафиму, омрачился и не удержался от замечания:

— А эта черная ворона чего здесь прыгает? Везде поспевают, побирушки ненасытные! Эх у них руки загребущие, глаза завидующие... Им жертвуют, а свой приход оставляют в небрежении.

Архип Николаевич вышел к гостям, торжественный и важный. Он был в черном сюртуке, в крахмальной сорочке и при медали; волосы были аккуратно причесаны и обильно смазаны душистым репейным маслом. Со всеми он был натужно прост, натужно смиренен, чинен, тих, благообразен. Увидав, что за столом нет Валерьяна Николаевича, он тихо, усталым, постным голосом, сказал:

— Настюшенька, попроси, любезная, к столу нашего братца. И скажи: если не придет, то я сам приду... звать. Скажи так, он поймет. Да чтоб скорей являлся, и с супругою своею.

Валерьян Николаевич явился быстро, и с супругою, но одеты они были, против моего ожидания, не парадно. Валерьян Николаевич был, как он сказал потом, в «расходном пиджачке», а Ксения Георгиевна в платице, сверх меры простеньком и дешевеньком; уж не взяла ли напрокат у своей горничной?

Архип Николаевич принял это как вызов, как намек: вот, мол, в каком черном теле держит нас старший брат.

— Подите оденьтесь! — сказал он и при этом тихонько махнул им ручкой. Супруги ушли и скоро вернулись в полном блеске: он — в смокинге, она — обвешанная и обсыпанная бриллиантами.

При первых блинах за столом было тихо. Младшие говорить не смели, для старших еще не обозначилась желательная тема.

Тему нашел Федор Игнатьич:

— Обозреваю стол, и уста мои немеют! Взгляните, какое изобилие плодов земных! Тут все дары Охотного ряда и Тверской. Мать всех закусок — селедка, паштет страсбургский; но масленичный бог, который краше всех, — это блин, произведение, созданное по вдохновению просвещенной Елены Петровны руками многоопытнейшей ее помощницы Олимпиады Акимовны и иных подчиненных Акимовне младших стряпух. Поднимаю блин — взгляните на него: он не пухл, но и не жесток, он не тяжел, но и в эфирности своей хранит вещественную плотность, он не толст, но и не слишком тонок, он мягок, но хрустит.

Речь Федора Игнатъича была сигналом к горячим спорам, сладким воспоминаниям, к веселью.

— У Егорова в Охотном хороши блины!..

— Нет, у Тестова лучше...

— Я люблю блин со сметками.

— А я с молоком, замороженным сосульками.

— Ах, хороша масленица! Но как вспомнишь грибной рынок или в Большой Московской чай на первой неделе поста — кувшинчик миндальных сливок, изюм, постный сахар, — то и не знаешь, что лучше — пост или масленица.

Беседой, едой и питьем правил Федор Игнатъич, впавший в экстаз чреугодия.

Часа два тянулся пир; Федор Игнатъич уверял, что начинает уже четвертую дюжину блинов. Кто-то вспомнил о том, что хорошо бы устроить вечернее катанье по улицам города на тройках. Кто-то возразил. Федор Игнатъич, объявивший себя «профессором гидро- и сухоедомики», горячо встал за катанье:

— Катанье и еда неразделимы. Катанье — забава, но оно изобретено для пользы человеку. И не только масленица знает катанье. И не только блин требует его. Возьмите, к примеру, пельмени; величины они, скажем сибирские пельмени, такой, чтоб в рот сразу положить и проглотить, чтоб сало не утекло. Съешь их штук двести, и усаживают тебя в сани; самое важное, чтоб нигде не дуло и не двигался с места. Вот и едешь — две шубы на тебе, колокольчики под дугой, брюшко полно, — так ведь какие мысли — грезы! Сладкие грезы! А как пробегут лошади, разомнешься, ты и

на следующей станции опять готов штук двести уложить. Или возьмите наш московский растегай. Кажется, он легкий, и соусу подана целая лохань, поливаешь и ешь, съел и, кажется, еще бы съел. И некоторое время ты на человека похож. А потом начинает он, растегай, в тебе пухнуть. Пухнет, пухнет! Так со мной один раз было; выскочил я очумелый, еле добежал до извозчика и говорю ему: «Вози ты меня, пожалуйста, вози взад, вперед, где хочешь; не могу, вози. То ж и блины. Вот оно почему масленичное катанье выдуманно! После блина ничего больше человек и не может, как кататься.

* * *

К крыльцу подали пять троек; три запряженные в розвальни, а две — в большие сани с ковровыми крыльями-щитами для защиты от снега изпод копыт пристяжных. На гривах и хвостах лошадей были пестрые ленты и бумажные цветы, на уздечках и шлеях — бубенцы. Для Архипа Николаевича с Еленой Петровной запрягли рысака в беговые двухместные санки.

Дул сырой и вялый ветер — «масленичный», как бывает при февральских оттепелях. Небо мчалось над головами низкое, мгlistое. Иногда ветер отрывал от мглы большие куски и угонял их куда-то в пустоту, и тогда на светлую щелину выпрыгивала скользкая, торопящаяся луна, но ее сейчас же прикрывала черная дымка.

Когда рассаживались в сани, хватились, что нет Валерьяна Николаевича и Николая. Ксения Георгиевна схватила меня за руку и потащила за собой:

— Пойдемте их искать и звать.

В темных саних при нашем появлении оборвался и притаился шопот, шорох. Ксения Георгиевна открыла настежь дверь в переднюю, и в полосу света были пойманы прижавшиеся к уголку сеней Настя и Степан, сын Кузьмы. Ксения Георгиевна втокнула меня в переднюю и быстро захлопнула дверь:

— Не будем мешать. Пусть их: на верное, целуются. Это уж такие у нас сени, в них всегда по вечерам в праздники кто-нибудь да целуется, как ни пройди.

У нее самой пылали щеки, и она жала мне руку, когда толкала через порог.

Валерьян Николаевич отказался ехать кататься, как ни уговаривала его Ксения Георгиевна:

— Блинов и катанья не признаю; это азиатчина и варварство.

— Была бы честь предложена! Не хочешь — не надо. А я... А я гуляю! И иди ты к чорту! Растрепал губы, как старый мерин на полднях, трус и тряпка! Что тебе ни скажет Архипка, то и делаешь. Гуляю! Завей горе веревочкой!

Николай признался, что хотел он ехать, только если поедет Настя:

— Да Настя куда-то убежала от меня.

— Подлец ты, Колька, — рассердилась Ксения Георгиевна, — коль убежала, то не хочет. И как ты смеешь принуждать? Она тебя не любит. И оставайся с носом. Вы оба с дядей твоим — суслики. Идемте, Павел, я в санях к вам сяду на колени. Не стоните?

* * *

На нашей тройке правил Тимофей Свильчев. Он не садился, а держался стоя, натянув вожжи и подняв их высоко к груди. На ухабах он подсвистывал и покрикивал. А когда выехали на гладкое шоссе, он затянул:

Вот мчится тройка почтовая,
По Волге-матушке зимой...

Луна выпрыгнула на светлую прогалину и несколько задержала свое торопливое скольжение.

Ксения Георгиевна все-таки не села ко мне на колени. И мне понравилось, что она не сделала, как сказала, но говорила она только со мной или подпевала Свильчеву. Нам в голову, в лицо, за воротник летели рыхлые, скользкие комья снега.

* * *

Когда катанья кончилось и мы выходили из саней, около меня оказался Федор Игнатьич.

— Хороша она, наша Россия! — сказал он.

Я ответил:

— Да! Бесконечно хороша она... могла бы быть!

Небо совсем посветлело и стало выше. Я остался наружи, когда все пошли в дом.

— Что такое Млечный путь? — спросил остановившийся около меня Свильчев.

Я не ответил. Он подождал, пока, кроме нас, никого не стало, и продолжал:

— Млечный путь не при чем, конечно. Вы одно, пожалуйста, себе заметьте. Эта барыня, Ксения Георгиевна, на меня внимания, как на червяка, но я ее себе облюбовал и давно себе предназначаю. И если вы что думаете всерьез, то прошу: посторонитесь. В этой части вы, может, и сильнее меня окажетесь, но не обижайте меня зря. Я и так обойден на пиру оживни. И я кусаюсь. Моя мать — экономка у Коноплиных, а я у них холуй в конторе. И что я ни сделаю — все недовольны, потому нашему уроду все не в угоду. Разорвись хоть надвое, скажут: а что не на четверо? За что же так меня судьба стеганула? Мы с ними родственники. Матери моей, Пияше — видели ее? — двоюродная сестра была первая жена Архипа. Могли бы они нам что-нибудь выделить или нет? Помоему, могли бы. Тогда бы я им верней собаки был. Да нет, не захотели. Ну, так когда-нибудь я сам у них вырву. Они — разбойники и обиралы. Они с рабочих семь шкур дерут.

— Вы что же, Тимофей, за рабочих?

— Нет. Чего мне за них быть? Что они мне дадут? И чего мне с них взять? Только я озорной, гоготать люблю и обожаю ножку подставлять тем и другим. Коль придется встретиться, увидите, я через сколько-то там годов богат буду. А Коноплины — Архип, конечно, дуб, он устоит, и мы от него своим куском попользуемся, он умный и нет-нет, да кость бросит. Но Вальку и Кольку, может, мне же, Тимошке Свильчеву, суждено без штанов пустить. Ну-с, не сердчайте!

Свильчев пошел, напевая:

А мой кистень сильнее
Десятка кистеней.
Была бы только ночка
Сегодня потемней.

* * *

Я поднялся к себе наверх, но не вошел в комнату, а сел за балюстрадой, чтоб посмотреть обряд «прощения».

Архип Николаевич, все так же в сюртуке и при медали, взволнованный, торжественный, хоть немного усталый, расположился в кресле, в переднем углу, сбоку от киота с иконами. Чады и домочадцы столпились в противоположном конце столовой, у входа. Средину комнаты оставалась пустая. Стол был отодвинут к стене. Первой двинулась к Архипу Николаевичу Пияша. Не торопясь, чинно зашагала по половичку к креслу, полная решимости. Подойдя, она выпрямилась, стала лицом перед Архипом Николаевичем, взглянула на него строго, сурово, сосредоточенно, как смотрела бы на икону, сжала губы, скрестила на животе руки, сделала поясной поклон, потом, немного раздумав, опустилась на колени, склонилась головой до земли, стукнувшись лбом об пол, и проговорила:

— Прости ты меня, Христа ради, во всем, в чем я против тебя прогрешила.

Затем она поднялась и облобызала Архипа Николаевича трижды, повторив трижды те же слова. И он за ней повторил:

— Прости и ты меня, Христа ради, за все, чем я против тебя согрешил.

Пияша отошла в задний угол и стала в сторону, очень довольная собой и торжественным обрядом.

За нею пошел к креслу сын ее Тимофей. Всю процедуру он проделал весело. Лбом стукнулся так, что невольно все лбы себе почесали. Когда лобызал хозяина, на лице у него была такая улыбка, что вот-вот он загогочет.

— Усищи-то вытер бы, шут! — сказал ему Архип Николаевич, и мне показалось, что среди обрядных слов с губ хозяина соскользнуло крепкое ругательство.

Отойдя, Свильчев встал рядом с матерью. Следующему за ним, конторщику, когда тот кончил обряд, Свильчев сказал тихо:

— Сюда, сюда иди, здесь будут отделавшиеся, чтоб дальше не спутать, кто прошел, кто нет.

Когда прошли все служащие, их отпустили по домам. Тогда наступила очередь членов семьи. Подошли Елена Петровна и Николай, и даже Валерьян Николаевич подошел и сделал все, как делали до него другие. Только, поднявшись с колен, прежде чем обло-

бызать старшего брата, Валерьян Николаевич вначале заботливо отряхнул пыль с брюк и сдунул пылинку с рукава своего английского смокинга. После Валерьяна Николаевича вышла заминка. Осталась только одна Ксения Георгиевна, которая не прошла обряд. Я заметил, что она как бы колебалась, ити или нет. Кажется, и Архип Николаевич это заметил и ждал, как она поведет себя. Но она пошла. Как и все до нее, она пересекла комнату, ступая только по половичку, склонилась в поясной поклоне, опустилась на колени, коснулась лбом пола, поднялась — и вдруг на мигновенье застыла перед Архипом Николаевичем. Он улынулся и сказал ей:

— Смирилась, гордая? Хвалю за это. Ты баба умная.

Она гневно на него посмотрела:

— Я не смирилась. Я обычай выполняю. Меня никакой оборотью не обратишь, не на того коня напал!

— А вот стукну, как мужа твоего стукнул!

— Стукни-ка!

Она сложила губы в трубочку и плюнула в Архипа Николаевича.

— Вот тебе мое «прости, Христа ради», зверь!

Но плевков не попал в цель. Архип Николаевич отклонился в сторону. Он схватил Ксению Георгиевну за руки, она, видно, крепко и не отпускала. Она не издала ни звука.

— Ах, Ксюшка, ну и баба ты — соколица! Нешто он тебя стоит! Попади ты в меня плевком, я бы тебе голову оторвал, жива не вышла бы из моих рук. Да ловок я, не попала. Молодец, баба! Значит, не смирилась? Ну, я теперь тебе за это скажу: я ведь распорядился, чтоб Федюша выдал вам деньги на границу. С рабочими я сговорился: забастовки у нас не будет. Так уж поезжайте, делайте нашей фирме славу: богаты, мол, Коноплины, по границам ездят.

Ксения Георгиевна рассмеялась:

— Руки-то отпусти, ишь как сжал: пятна красные пошли. Выходит, испугался, Архипушка! А то пришлось бы тебе с моим адвокатом разговаривать. Кого больше-то испугался: нас или рабочих твоих?

— Вот и дура ты! Меня нешто испугаешь?

— А все-таки уступил, знать, рабочим?

— Не уступил. Я забастовку отвел. Посулил всем прибавки с осени, если они теперь мне по гривенничку, по пятиалтыничку в день скинут. Вроде как займы у них попросил. Они ответ дадут завтра... жмутся, но почти согласны... бастовать тоже несладко.

— Ты их обманешь.

— А если обману, я ведь на отечество работаю. Мы, говорят, в Малой Азии рынки завоевали, немец у нас их отбивал, а мы его дешевочкой собьем... У кого дешевле будет, тот и утвердится... Вот мы какие! Но только, Ксюша, знай: сорвется у меня и будет забастовка, — я денег вам на границу не смогу дать. Меня еще Степка беспокоит. Уж больно ухмыляется себе в усы.

Все разошлись. Я был уже на пороге своей комнаты, когда Архип Николаевич позвал Свильчева:

— Тимоша, поди-ка ты ко мне на два словечка.

Хозяин прошел с Тимофеем к себе в кабинет и запер дверь на ключ.

* * *

Я решил, не откладывая, отправиться сейчас же ночью к Агаше, Степану

и Кузьме. Оставаться в стороне мне нельзя было. Как говорил Сундук: если видишь, что надо делать и ты в силах это сделать, то немедля и делай, — каждый наш быстрый меткий удар означает наш перевес над врагом. Мне было ясно, что стачка имеет все шансы на успех. И было ясно также, что Архип Коноплин и Федор Игнатьич посеяли среди рабочих колебания и есть опасность, что рабочие могут уступить. Делегаты их были слабы, кроме, может быть, Степана. Видно, и здесь скосили наших лучших и самых твердых людей.

И этот негодяй Архип говорит, что он «служит отечеству»! Как действительно была бы хороша наша родина, когда б она принадлежала нам, кто ее любит без корысти. Мы бьемся за нее сейчас почти невооруженными руками. Но мы куем в себе все доблести воина. И, может быть, когда для нашей освобожденной родины придут великие бои, то будущее поколение бойцов найдет для себя какую-то долю поучения в нашем упорстве, в нашей стойкости и в нашей преданности делу освобождения родной земли, которые нас не оставляли в самые тяжкие и мрачные дни.

Встреча друзей

Гудит над снегами в ночи самолет.
Куда направляется? Что он везет?
Куда он спешит, красноезвездный?
Удачи ему пожелаем, друзья.
Летит он на запад, в родные края
Торопится ночью морозной.
Внизу притаились деревни во мгле.
Лютуют враги на советской земле,
Ползут кровопийцы и воры.
Замерзшие дети в сугробах лежат.
От партизанского свиста дрожат
В угрюмых домах мародеры.
Летит самолет над полями войны,
Над горем и пеплом родной стороны,
Над жизнью разбитой крестьянской.
Вот летчик ракету бросает во тьму,
И где-то внизу отвечает ему
Условный огонь партизанский.
Посадка. Метель и седые кусты.
И люди выходят из темноты
С оружием в руках на поляну.
И летчику руку могучую жмут,
И в губы целуют, и молча ведут
Московского гостя в землянку.
Мерцают цыгарок огни-светляки.
Негромко пилот говорит: — Земляки!
Герои лесного отряда,
За то, что бесстрашно воюете вы,
Привез я от Сталина вам из Москвы
Поклон, и любовь, и награду.
А снежная ночь мрачна и черна.
За лесом вдали перестрелка слышна.
И летчик ларец открывает.
А свечка дрожит, и землянка темна.
Берет он на ощупь в ларце ордена,
Безвестным героям вручает.
Прими же свой орден, могучий
старик,
Ты годы, как версты, считать не
привык.

Ползешь ты беззвучно по склонам,
Воюешь в лесах за родные края.
Недаром, старик, молодые друзья
Твой возраст зовут непреклонным.
Прими же свой орден, мальчишка,
сынком,
Ты вражью колонну в болото
завлек,
Ты выследил штаб их походный.
Шагают убийцы, их руки в крови,
Выслеживай, бей их, гранатами рви
Ты, юноша, мститель народный.
И ты, партизанка, свой орден прими.
Что сделали гады с твоими детьми!
Замучили бедных, убили.
Ты чудом в тот вечер от пули
спаслась
И мстишь кровопийцам,
Как мстить поклялась
В ту ночь на сыновней могиле.
Громите захватчиков ночью и днем.
Воюйте и знайте: мы скоро придем.
Ночами, в просторах морозных,
Прильните к земле—и услышите вы,
Как танки на запад идут из Москвы
Под сенью знамен красноезвездных.
Воюйте. Прощайте. До встречи,
друзья.
Как братьев родных, вас
приветствую я.
Героев пилот обнимает
И улетает, как ветер, во тьму,
И понапрасну вдогонку ему
Зенитка фашистская лает.
А снежная ночь мрачна и черна,
Но тропка в лесу партизанам видна,
Знакомы холмы, косогоры.
И рвутся гранаты, и пули жужжат,
От партизанского свиста дрожат
В угрюмых домах мародеры.

Накануне

I

Лейтенант Н-ской заставы Алексей Мартынов подъехал к поселку Валуи вечером. У околицы он сдержал жеребца, окинул поселок восторженным взглядом. Основатели Валуи выбрали неплохое место. Слева—отлогий склон горы, покрытый зарослями черемухи, крушины и аралии. Справа — быстрая, говорливая речонка, стиснутая гранитными берегами. За рекою — сопки, тайга, озаренная солнцем, и над тайгою спокойное голубое небо.

Суровая, дикая красота, увидев которую однажды, человек навсегда покоряется ей, вспоминает ее, как неповторимое детство.

Жеребец выгнул шею, бьет копытом. Мартынов натягивает левою рукой поводья, правою снимает фуражку и вытирает голову платком. Из поселка доносятся звуки скрипки. Мартынов, удивленный, прислушивается. Неужели дачники? Откуда им тут взяться? Или студент, приехавший на каникулы? А может быть, студентка? Мягкая, трогательная мелодия звенит в тишине. Звуки смешиваются с шорохом ветра, с плеском воды под обрывом. Временами кажется, они ослабевают, вот-вот стихнут и тотчас вновь нарастают. Над поселком плывет стройный, могучий поток гармонии. Мартынов слушает, стиснув зубы. Глаза его широко раскрыты. Вдруг все смолкает, словно у скрипки оборвалась струна.

Мартынов трогает коня, останавливается у первой избы, чтобы постучать в окно и спросить, где живет Никита Шугаев. У ворот прибита желтая сосновая доска и на ней крупные буквы, намалеванные дегтем:

«Валуийская база Всеармейского военно-охотничьего общества. Ответственный егерь Н. С. Шугаев».

Мартынов улыбается, слезает с седла, привязывает жеребца к тыну и, неуверенно ступая затекшими ногами, поднимается по лестнице в сени. Навстречу выходит седоголовая старуха в клетчатом сарафане — жена егеря, Наталья.

— Хозяин дома?—спрашивает Мартынов.— Поохотиться к вам приехал...

— Милости просим,— говорит Наталья.— Только беда у нас. Занедужил мой Никита. Барсучонка надумал в тайге живьем схватить. Побежал за ним, да с крутика и сверзился, коленку расшиб.

Лейтенант входит за старухою в избу, ставит к стене ружье и рюкзак, здоровается с егерем, садится на лавку. Никита приподнимается на лжанке.

— Оказия, товарищ командир. Ждал, ждал вас. Прибыли, а я услужить не могу. Опухла нога — страсть! Вчера доктор из района был. Две недели, сказывал, вылежать придется.

— Ничего, папаша,— говорит Мартынов.— Со всяким может случиться.

Старик охает и роняет голову на подушку. Наталья накрывает стол белою скатертью, гремит посудою. Мартынов выходит расседлать жеребца, возвращается в избу и сидит насупившись. Ясно: отпуск в этом году потерян. Он собирался поехать в Крым. Когда с путевкою все было улажено и дорожные вещи упакованы, его вызвал к себе начальник отряда, капитан Горохов.

— Что вам, боевому командиру, делать на юге?— начал он, лукаво сощурив глаза.— Валяться на пляже и

от скуки целые дни стучать по столу костяшками домино? Предоставьте это другим.

— Какой смысл сидеть месяц на заставе? — возразил Мартынов. — Мне нужно переменить обстановку. Я три года не отдыхал.

— Правильно, — сказал капитан. — Я ведь не против отпуска. Речь идет о другом маршруте. Возьмите-ка ружьецо и отправляйтесь на валуйскую базу. Охотинспекция дала нам «ордерочки» на отстрел сохатых. Постреляйте лосей, а о пернатой дичи — напоминать не стоит! Природа там богатая. Отдохнете не хуже, чем в Крыму. И потом — время не такое, чтобы уезжать далеко от своей части.

Мартынов настораживается.

— А что? Есть какие-нибудь новости?

— Пока ничего, — ответил капитан. — Мы еще вне войны. Однако это не значит — мир. Мы накануне войны. Обстановка говорит нам: внимание, внимание, внимание!

— Канун может ведь затянуться на пять лет, — проговорил Мартынов. — Нельзя же не отдыхать, не спать, не жить личной жизнью.

— А я все-таки еще раз тебе советую: внимай словам старших товарищей.

Новый маршрут не особенно прельщал Мартынова. Насчет юга у него были свои «особые» планы. Но ему был известен характер начальника. Он мягко намекает, советует, а если начнешь спорить, скомандует: «Кругом, ар-рш! Приказываю... об исполнении донести». Скрепя сердце, Мартынов согласился.

— Завидую вам, — признался капитан, напутствуя его в день отъезда. — Сам рвусь туда. Честное слово. Ну, дела, дела. Вот уж зимою берлогу брать поеду обязательно.

Мартынов поверил: валуйская база хороша. Всю дорогу он думал о том, что найдет здесь нечто необыкновенное. Оказывается: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Его охватило раздражение. Поезд мчал бы его теперь к Иркутску. Там пересадка на самолет и... благодатный Крым! Вместо этого, сиди здесь, дождайся выздоровления егеря.

Наталья приглашает за стол. Мартынов садится в передний угол, ест

пшеничную шаньгу, пьет парное молоко.

«Переночую, и обратно, — думает он. — Чего тут киснуть? Может быть, еще путевка не отдана другому? Доложу капитану и махну в Кожтебель».

Наталья испуганно смотрит на него.

— Не ко времени приехал, дорогой гостенек, — говорит она, и как-то странно слышать ее молодой, певучий голос. — Уж так жаль, так жаль. И подменить Никиту нечем. Самая страшная пора. Колхозники заняты в поле. Да еще дорогу строят. Как ее прозвань-то забыла...

— Стратегическую, — подсказывает Никита.

— Да, — рассеянно отвечает Мартынов. — Не повезло мне стало быть.

Дверь широко распахнулась. Входит девушка с подстриженными волосами, в чесуевом платье, в белых тапочках из лосевой кожи, надетых на босу ногу. Вслед за нею вбегают серая, с желтыми подпалинами собака: крупный, короткошерстый зверь с несколько борзоватым складом и прекрасными стоячими ушами. Это распространенная здесь порода — помесь волка с нанайской лайкой. Собака поднимает шерсть на загривке, рычит на Мартынова.

— Джальма! — отрывисто произносит девушка и грозит собаке пальцем. — Нельзя! — Собака ложится у порога, ощерив желтые клыки. Девушка останавливается на секунду против стола, словно оробев при виде незнакомого человека. Чмокает в лоб Наталью, кланяется Мартынову. Голубые глаза ее улыбаются, освещая загорелое, чуть-чуть скуластое лицо. Мартынов протягивает ей руку, называет себя.

— Ольга, — говорит девушка грудным голосом. — Учительница местной школы. Надолго в наши края?

— Как будто завтра уезжаю, — отвечает он.

Она встряхивает желтыми волосами, щурится.

— Что так скоро? Деревня не понравилась?

Он сбивчиво объясняет причины отъезда.

— Так, так, — раздумчиво говорит Ольга. — Значит, вам на охоте нянька требуется? Одни не можете?

— Я здешних мест не знаю, — оправдывается он. — Ни компаса, ни карты не взял с собою.

Она смотрит на него строго. Откидывает со лба прядь волос.

— А я до сих пор была иного мнения о командирах. Мне представлялось — командиры не ведают неодолимых препятствий. Был такой художник, Илья Репин. На восьмом десятке жизни у него стала сохнуть от переутомления правая рука, и он не мог держать ею кисть. Вы думаете, старик бросил писать картины? Он стал работать левою рукой, чтобы завершить задуманное. Мораль понятна?

Мартынов, смущенный этим наскоком, не отвечает. Ольга садится на стул, разговаривает с Натальей о колхозных делах. Мартынов пристально смотрит на девушку. От ее плотной, крепкой фигуры веет здоровьем и силой. Когда она смеется, на пухлых щеках играют ямочки, удивительно преобразующие строгое лицо. Он слушает ее голос, наблюдает за взмахами круглых коричневых рук, и она кажется ему задорной, упрямой девочкой, самоуверенной и дерзкой на язык. Она сидит к нему боком, не обращает на него внимания. Однако Мартынов чувствует на себе острый, насмешливый взгляд девушки, и это окончательно подавляет его. Он перестает понимать, о чем говорят женщины. Смысл простых и ясных слов затемняется.

Ольга перевязывает Никите ногу и уходит, небрежно кивнув Мартынову головою.

— Давно работает у вас? — спрашивает он старуху.

— Это вы про Олю? — усмехается Наталья. — Да она племянницей нам доводится. Здесь и выросла. Техникум в Хабаровске кончила. Четвертый год учительствует. Клуб открыла, читальню. Всему народу коновод.

— Вот как! — удивляется он. — Боевая дивчина!

— Да уж куда бойчее. Что на лыжах бегать, на лодке плавать, что с ружьем по тайге ходить — мужику не уступит. В наших местах бабы испокон веку зверя промышляют. Ну, а Ольга выдалась изо всех особенная. Одна на медведя идет. Не сносить ей головы-то, не сносить. Я ее ругаю, ругаю, она смеется и делает по-своему.

— И на скрипке, небось, играет?

— Играет. — Наталья насторожи-

лась. — Да вы откуда об этом проведали?

— Слухом земля полнится, бабушка.

Наталья, смущенная, отходит к шесту и начинает передвигать ухватом горшки. В избу заходит председатель колхоза, Платон Михайлович. Он высок ростом, сутуловат. Ему под шестьдесят. Но в рыжей окладистой бороде лишь кое-где пробивается седой волос. Он стискивает руку Мартынова в огромных своих ладонях и говорит окающим баском:

— Вот и замечательно, что прибыли. Мы живем в дыре, свежему человеку завсегда рады-радехоньки. Сделайте доклад о международном положении. Колхозники спасибо скажут. Нам Ольга каждую неделю обзоры читает. Но вы, как военный спец, может быть, новое что скажете. Войной сильно интересуемся.

— Хочется воевать? — спрашивает Мартынов.

— Воевать только дурак хочет, — грубовато отвечает председатель. — Мы не дураки. Ну, а ежели полезут к нам, придется кое-кому мозги вправлять. Земельки у нас много. У соседей глаз на нее разгорается. Только все это зря. Вершка никому не отдадим. Да, впрочем, не мне говорить, не тебе слушать. Ты сам понимаешь лучше меня. Дорогу вот стратегическую строи. Ежели что — пригодится.

Мартынов кивает головою.

Платон Михайлович в молодости был заядлым охотником. Много лет провел на промыслах за Амуром. Ловил кабарожек, изюбрей, стрелял тигров и кабанов, искал жень-шень. Дрался с хунхузами. Он рассказывает о своих похождениях в манчжурской стороне, о партизанских делах девятнадцатого года и, прощаясь, приглашает Мартынова к себе в гости.

— Вот еще выдумал, — ворчит Наталья, прикрыв дверь за председателем. — Человек отдыхать приехал, а тут, пожалуйста, доклады, собрания проводи. Они еще вздумают, чтобы ты обучал парней из пушек стрелять. Право слово. Платонко до всего падкий.

— Ничего, бабушка, — улыбается Мартынов. — Не велик труд.

— Да? — недоверчиво спрашивает Наталья. — Все-таки не поддавайся шибко-то. Я те повторяю: Платон — мужик дотошный, заездит. Он и

Ольге покою не дает: сделай то, сделай это.

Мартынов закуривает папиросу. Никита протягивает руку:

— Товарищ командир, душа токует. Угости табачком.

Лейтенант подсаживается к лежанке. Открывает портсигар. Оба дымят. Старик жадно глотает пахучий дым и, шумно пыхтя, выдыхает через ноздри. После нескольких затяжек он закрывает глаза. Грубоватое, словно из камня высеченное, лицо его смягчается. Наталья распахнула раму. Изба наполняется запахом таежных трав и подсолнухов, желтеющих в палисаднике. Совсем рядом, возле гряд капусты, шумит река.

— Дичь есть? — спрашивает Мартынов.

— Дичью не бедствуем, — отвечает Никита. — Эх, кабы не нога, будь она неладна, я бы показал тебе угодя. Обойди весь белый свет, лучше наших мест не сыщешь.

«Уехать или остаться?» — думает Мартынов.

Тут мысль его опять перекидывается в Крым. Он слышит глухие удары прибоя. Теплый морской ветер струится над пляжем, над маленьким татарским городком. Он, Мартынов, идет по аллее парка. Невидимый в сумерках оркестр играет вальс Иоганна Штрауса. Приглушенный женский смех. На поляне, посыпанной желтым песком, танцует молодежь. Девушка в сиреневом платье улыбается Мартынову. Не хочет ли он потанцевать с нею? Ну, конечно, хочет. И он кладет руку на талию девушки. Они кружатся на поляне. Южная ночь. Могучие вздохи моря.

«Уеду, — решает Мартынов. — Зря меня капитан войною пугал. По всей видимости, это начнется не в текущем году».

Наталья приготовила для него постель в сарае. Он лежит на сене, покрытом простыней, долго не может заснуть. В щели крыши проглядывает синее небо. Звезды плывут на запад. Плещется река. Перекликаются ночные птицы. Мартынов закуривает папиросу, встает, настезь раскрывает дверь. На улице темно и тихо. Смутно желтеют избы. Влажная земля дышит радостью и покоем. Горы в лунном свете кажутся лакированными, деревья

на склонах шевелятся, как живые. Пахнет лесной свежестью и водой.

Мартынов слушает ночь.

Он вспоминает встречу с Ольгой, голубые глаза, улыбку девушки. Его охватывает смятение. Утром, в час отъезда, Ольга появится у избы егеря и докторальным тоном начнет доказывать: охота развиваться в незнакомой местности, выносливость, снайперские навыки и другие качества, необходимые воинам, а некоторые лейтенанты...

— Вот назло тебе не уеду, — шепчет он, спускаясь к реке.

Ночь светлеет. Над водою горбатая полоса тумана. Мартынов садится на камень, и тишина обступает его. Тревога, вызванная мыслями о девушке, постепенно стихает в нем. В душе нарастает ясность. Бледнолиловый свет зари разгорается над лесом. С низовьев доносится песня:

За плечами видны гусли,
А в югах червленый щит.
Супротив его царевна
Полоненная сидит.

Поет девушка. Мартынов, напрягаясь, слушает спор Алеши-Поповича с царевной. В тумане и плеске воды пропадают отдельные слова. Иногда песню подхватывает ветер, и она высоко взлетает над плесом. Царевна побеждена дерзким птицеловом. Алеша знает силу своих чар:

Он весло свое бросает,
Гусли звонкие берет, —
Дивным пением дрожащий
Огласился очерет.

Пленица забыла обо всем. Влюбленным взором смотрит на похитителя. Ее разум подавлен этой песнью торжествующей любви:

Ей и радостно и больно,
Слезы каплют из глаз...
Любит он иль лицемерит —
Для нее то все равно,
Этим звукам сердце верит
И дрожит, побеждено.

Туман рассеялся, и Мартынов видит, как на плес выплывает оморочка — легкая лодка из бересты, подгоняемая двухлопастным веслом. Он еще не может разглядеть лица, но догадывается, кто поет.

И со всех сторон их лодку
Обняла речная тишь.
И куда ни обернешься —
Только небо да камыш.

Омороча ткнулась носом в галечник. Ольга прыгает на берег, закрепляет чалку. Мартынов подходит к девушке.

— Доброе утро!

— Доброе утро! — отвечает она равнодушно. Ей неприятна эта встреча. Время от времени в поселок наезжают командированные: уполномоченные райкома, заготовители, агенты каких-то межрайонных контор. Многие с первого дня начинают ухаживать за Ольгой: «Я всю жизнь мечтал о такой девушке, как вы. Пойдемте ночью вздыхать на луну». Она очень круто разговаривает с такими хлыщами. Неужели Мартынов из этой же породы?

— Вы хорошо поете, — говорит он. — Честное слово, совсем отлично поете.

— Все может быть, — сухо отвечает она.

В лодке два больших тайменя, проколотые острогой. Ольга укладывает их в плетеную сетку. Мартынов молча наблюдает за нею. Начинается обычное таежное утро. Туман поредел. Чайки летят над сонным плесом, переключаясь друг с другом. Во дворах кагают гуси.

— По ночам рыбачите? — спрашивает Мартынов.

— Приходится, — не глядя на него, отвечает Ольга. — Днем труднее ловить.

Ему хочется, чтобы она сказала: «Лейтенант, проводите меня и помогите донести рыбу».

Она ничего не говорит. Вскидывает сетку с тайменями на плечо, спокойным шагом идет по тропинке к поселку. Навстречу ей несется Джальма, радостно взвизгивает, кидается на грудь. Она ласкает собаку и тихо говорит ей что-то на ходу. Мартынов стоит растерянный и обиженный.

II

Он проснулся с мутным осадком в душе. Вспомнил ночной разговор с Ольгой. Подумал о ней с нарастающей неприязнью: «воображалка». Хотелось думать о другом, но мысль почему-то снова и снова тянулась к девушке.

— Уехать, и все, — вслух говорит он. — Пусть оценивает мой поступок, как ей угодно. Тоже — общественное

мнение! — Он сбрасывает одеяло, поднимается, выходит из сарая. День погожий. Солнце в зените. Невдалеке от поселка, у подножья горы, колхозники ворошат сено. Мартынов заглядывает в конюшню. Жеребец фыркает над кормушкой с овсом. В яслях зеленеет охапка клевера. Наталья позаботилась о коне. Все в порядке. Мартынов идет в избу. Никита спит на лежанке. Старухи нет. На столе приготовлен завтрак: молоко, яйца, соленые грузди, огурцы, полная тарелка пшеничного хлеба. Мартынов умывается, садится к столу. Неторопливо завтракает. В избе душно. Жужжат крупные зеленокрылые мухи. Хозяин не просыпается, и будить его неудобно: может быть, он всю ночь не смыкал глаз и только что заснул, преодолевая боль.

Мартынов выходит на улицу. На лужайке босоногие мальчуганы играют в «Чапая». У соседней избы, на бревнах, сидит древний старик в бумажном свитере, парусиновых штанах и новых калошах.

— Здорово, дед! — громко произносит Мартынов, подсаживаясь к старику.

Тот вздрагивает, открывает глаза.

— Здорово, командир! — голос у него хриплый, трескучий. — Задремал я, брат, маленько. Испугал ты меня.

— Как живешь?

— Живу-то? — весело откликается старик. — А лучше некуда. Раньше, бывало, ждут не дождутся, когда старики вымрут. Теперь не то. Народ уважительный к старикам. Взять, к примеру, меня, ублажают, как именинника. На покос не берут. Прошусь, а мне говорят: «Ты, Кузьма, свое отработал, тебе отдыхать надо». Два сына и дочь в колхозе. Внуки в городе, на завод определились. Каждый месяц что-нибудь присылают. Вот калоши подарили. А ты псеуди: куда мне в калошах-то ходить? Я их отродясь не носил.

— Однако носишь ведь, — улыбается Мартынов.

— Ношу, — коротко говорит Кузьма. — Попробуй не носить: обидятся. Вот она, жизнь-то наша какая. За восьмой десяток перевалило, а умирать не хочется. Грехи тяжкие!

Он откидывает голову, заливается дробным старческим смехом.

— Охотник? — спрашивает Мартынов.

— Был, да весь вышел, — сознается Кузьма. — Глаза худо видят, руки трясутся. В курицу на насесте, подико, не угадаю.

— Лосей бивал?

— А как же! — встряхивается старик. — Я, братец мой, никакому зверю спуску не давал. Я сохатых перебил — счету нет! Это зверь особенный. Летом он водоросли жрать на озера ходит. Забредет в воду и ныряет за пищей. Тут его подстерегай, коли копьём, по-нашему — пальмой, либо стреляй.

— Значит, дело простое, — смеется Мартынов. — Подкрался ночью, прынул в бок, и вся недолга.

— Это кому как, — отвечает Кузьма. — Сноровка нужна. Сохатый, он тоже голову имеет. На озере с крепкими берегами его не застигнешь. Он выбирает для кормежки такие места, что не скоро доберешься. Где болота да топи непроходимые, там его в густе ищи. Ты с кем ладишь итти-то?

— Не знаю, дед, — вздыхает Мартынов. — Егерь наш болен, колхозникам некогда. Видать, ничего не получится.

— Так вот что, служба, — говорит Кузьма, немного подумав. — Навяжись в компаньоны к учительнице. Она дока по этим делам. У нее и шалашка, поздешнему — сидьба, поставлена, говорили, на озере Нумагаче. Лодки приготовлены. Они с Никитой собирались охотиться.

Мартынов не отвечает.

Кузьма разошелся, и его невозможно остановить. Ему наскучило сидеть целые дни одному. Он рад новому человеку и старается выложить все, что знает. Покончив с сохатым, старик принимается объяснять, как он бил соболя, добывал панты изюбрей. Не дослушав, Мартынов прощается и уходит. Кузьма кричит ему вдогонку:

— Приходи завтра, договорим. Я все время здесь отдыхаю.

Мартынов спускается к реке. Изпод его ног осыпается горячая земля. Солнце клонится к западу, а зной не спадает. Над плесом кружатся чайки. У заводи Мартынов раздевается, прыгает в воду. Долго ныряет и плавает. Гудит в голове. Тело наливается приятной усталостью. В яме, у берега с нависшими над водой кустами, при-

таился таймень. На светложелтых боках и верхних плавниках рыбины проступают темные пятнышки. Таймень отдыхает. Пасть его раскрыта. Голова мелко вздрагивает. Кажется, рыба заснула. Мартынов опускается на дно, идет к тайменю, вытянув руки. Таймень виляет хвостом, мутит воду и, как торпеда, скользит по течению.

— Ах, стервец этакий, — весело бормочет Мартынов. — Ах, стервец!

Он делает еще два круга по плесу и вылезает на берег. Несколько минут греется на солнце, встает и твердо говорит:

— Не уеду.

Вечером Платон Михайлович приглашает его в клуб.

— Я уж плакат вывесил у дверей, — говорит он, распуская сиянье улыбки в бороде. — «На фронтах второй империалистической войны. Доклад боевого командира Н-ской заставы А. П. Мартынова. Ответы на всевозможные вопросы и прения по текущему моменту». Народ в полном сборе.

Мартынов улыбается. Председатель берет его под руку, и они идут по улице.

III

Сидьба, устроенная между аянчиками, напоминает собою крохотную охотничью избушку. Стены сделаны из тонких бревен, верх до половины закрыт плахами, досчатый пол выстлан папоротником. В стенах зияют оконца для наблюдения и стрельбы. На кромке аянчика две оморочи, опрокинутые вверх дном, прикрытые травой, и под ними — весла, шесты, пальмы, ножи в полметра длиною, с брюшковатым острием, прикрепленные к ясеновому черенку, сделанному по росту человека.

Они спускают оморочи в воду, садятся в шалаш. Вечер теплый. Перед закатом все вокруг ослепительно сияет. Полосы необыкновенного и нежного света лежат на сопках. Мартынов глядит в оконце, потом переводит взгляд на Ольгу.

— Курить можно?

— Курите, — отвечает девушка. — Сохатый дыму не боится. Только не кашляйте и не сморкайтесь.

Темнеет. В осоке поют комары. Над кустами лениво кружатся ястребы. Над болотом вьются струйки тумана. Сояная тишина. Потом вдруг засвистели

проворные крылья. К Нумагаче со всех сторон летят кряковые утки, гуси, гурианы, гагары, чирки. Они падают на озеро с радостным криком. Вода покрывается темными точками. Птицы ныряют, встряхивают крыльями, пищат и гогочут на все лады. Здесь заповедное место их ночевки.

На окрайке аянчика, словно из-под земли, вырастает козел. Мартынов хватает ружье. Ольга тихонько бьет его по руке: «Нельзя... для козла придет другой час». Козел прыгает с кочки на кочку. Подходит к воде. Игриво булькает ногою, наклоняет голову, пьет. Мартынов боитсядохнуть. Вот-вот козел услышит запах человека, наделает шуму, вспугнет сохатых, которые затаились, может быть, где-то поблизости. Козел спускается в озеро, плывет на другую сторону. Утки и гуси расступаются перед ним, недовольно выкрикивая что-то на своем птичьем языке. Он выходит на берег, отряхивается, исчезает в траве. Одна за другою, в том же направлении, проходят две кабарочки, перелыбают озеро и скрываются неслышно, таинственно, как привидения.

Наконец все затихает на Нумагаче. Птицы дремлют. Изредка плещется крупная рыба. Озеро тускло поблескивает. Ночное небо переливается и дрожит над горами. В вышине вспыхивают звезды. Эта ночь кажется Мартынову необыкновенной. Вспоминается почему-то детство, проведенное в оренбургских степях. Ковыльные гривы, желтая чилига, камыши у озер. Маслянисто-красные закаты над степью. И нескончаемые табуны казары. Осенью они звонко гогочут, завидя огни пастушьих костров. Мальчишкою, выгоняя в ночное коней, он задирает голову в небо и слушал взволнованный птичий покрик. Тогда хотелось бежать из родительского дома в неизвестность, куда тянула шумливая казара: там, чудилось ему, сказочные страны, где не бывает зимы.

— Чуи-чуи-квии, — щебечет какают-птаха.

«Полночь, — думает Мартынов. — Неужели просидим зря?»

Тут его ухо поймало едва уловимый звук. Потом звук повторился отчетливо и громко. Кто-то тяжелый подходит к озеру. Трясина засасывает его ноги. Он лезет, раздвигая кустарник. Большой и темный, останавливается у

развилки аянчика. Ольга сидит неподвижно. Мартынов просовывает в окно ружье, передвигает планку предохранителя.

— Вы с ума сошли? — шепчет Ольга. — Лосиха!

Он втягивает голову в плечи. Ему кажется, что теперь девушка возненавидит его на всю жизнь. Такая оплошность! Разве можно простить охотнику слепоту? Зверь, фыркнув, проходит берегом. Восток светлеет. На сопках передвигаются бледно-голубые лучи. Горланно кричит старый гусак. Молодые отзываются со всех сторон. И над Нумагачею, закрыв собою небо, взметнулись клубы дыма. Это поднимаются птицы, чтобы лететь на жировку. Они делают круг над озером, словно прощаясь, и тянутся на запад. Все смолкло. Падает внезапная и странная тишина.

Мартынов мнет между пальцами недожуренную папиросу. Ночь кончилась. Нечего больше ждать. Хочется разуться и вздремнуть. Он прислоняется спиною к стене. И опять подступают к нему воспоминания детства. Первые выезды на охоту. Промахи, удачи, огорчения, радости.

— Идет, — чуть слышно говорит Ольга.

Он припадает к оконцу. От напряжения двоится в глазах. Но все-таки он видит: от седых в утренней дымке кустов отделился черный комок. Остановится на мгновение и снова бесшумно катится, постепенно увеличиваясь. Огромная голова с раскидистыми рогами качается над травой. У Мартынова гулко стучит сердце. Стало трудно дышать. Сохатый вытягивает шею, осматривается по сторонам, словно чуя засаду.

— Бывалый дядя, — шепчет Ольга. — Озирается.

Шагах в десяти от заводи зверь остановился. Он стоит боком к сидьбе. Мартынов прикидывает расстояние. Далеко. Вот кабы винчестер или штуцер. Угораздило его поехать с гладкостволкою! Сохатый, постояв немного, мотает головою, как от удара, поворачивается на задних ногах и бежит обратно. У Мартынова холодеет спина.

— Учужал, чтоб ему сдохнуть!

— Дурака валяет, — говорит Ольга. — Вернется.

Проходит несколько минут. Сохатый и впрямь возвращается, лезет в озеро, выплывает на середину, ныряет. Ольга быстро бежит к оморочам, увлекая за собою Мартынова. Они садятся в лодки, притаиваются. Зверь, с пучком водорослей в зубах, всплыл на поверхность. Прожевал, громко хакнул и скрылся под водою.

— Поехали,—говорит Ольга, взмахнув веслом.

Ее смороча, как щука, идет краем озера. Мартынов изо всех сил гонит свою лодку, чтобы выиграть расстояние, пока зверь под водою. Сохатый опять всплывает темной корягой. От него разбегаются по воде круги. Он словно не видит лодок. Жует водоросли, хакает ноздрями. Мартынов невзначай стукнул веслом о борт. Тогда зверь повернулся, заметил человека и поплыл к берегу. Достиг отмели. Ходко идет, разбрызгивая воду ногами. Но теперь он в «зоне огня». Мартынов бросает весло и, как на охоте по пролетным табунам, стреляет дублетом. Звонкое эхо отдается в горах. Сохатый споткнулся и рухнул набок.

— Готов! — кричит Мартынов, разглядывая сквозь пороховой дым оморочу Ольги.

И тут случилось непредвиденное. Сохатый взревел, поднялся и пошел. Стрелять нечем. Патронташ остался в сидье. Мартынов дрожащими руками шарит по карманам: не завалился ли где-нибудь случайный патрон.

— Эх, вы,—говорит Ольга и, обгоняя его, несется на перехват зверю. Девушка стоит в лодке. Весло, как взмахи крыльев, мелькают над ее головой. Мартынов не знает, что делать. Он понадеялся на ружье, не взял пальмы. Зверь видит погоню, круто поворачивает и, потрясая рогами, идет навстречу Ольге. Девушка, словно дразня его, медленно отплывает на глубокое место. Мартынову кажется: сохатый поднимет на рога утлую оморочу, и тогда конец. Девушка ловким взмахом весла заставила оморочу отпрянуть в сторону, очутилась позади зверя и всадила ему в бок пальму. Зверь нырнул. На поверхности воды покачиваются лишь рога. Ольга плывет за ним, держа наготове второе копьё. Сохатый падает на отмели. Бьется, пытаясь подняться. Еще удар в горло, и он затихает. Вода мутнеет от крови...

Подъезжает Мартынов. Поздравляет Ольгу. Она молчит. Они спускаются в воду, подтягивают сохатого к берегу и забрасывают его травой, чтобы не расклевали ястребы. Ольга гладит зверя по горбатой коричневой морде.

— Какой красавец, а?! Почему-то всегда грустно, когда на твоих глазах умирает зверь, и известно, что ты убил. Вы не испытывали этого?

— Женское чувство,—говорит он, раздосадованный тем, что сохатый взят не им.—Сентиментализм.

— Да? — усмехается Ольга.—Пусть будет так.

Молчание.

Становится совсем светло. Догорают последние звезды. С озера поднимается запах водорослей, рыбьей чешуи.

— Как повезем добычу? — спрашивает Мартынов.

— Не наша забота. Пришлем дядю Семена. Он знает все тропки. Приедет на волокуше. Мясо пойдет в колхозную столовую, рога и шкура — вам, как трофеи. Согласны?

— Помилуйте! — вспыхивает он.—Ведь добыча ваша!

— Не будем спорить, товарищ лейтенант. Я могу в любое время достать сохатого. Вы наш гость. И потом вам придется рапортовать начальству о своих успехах. Как вернетесь без трофеев?

Ему стыдно, и он немного обижен,—почувал насмешку в ее словах. Эта девчонка разговаривает с ним, как старший с младшим. Может быть, она считает его ни на что не способным, неженкою, барчуком? Нет. Он вовсе не нуждается в покровительстве.

— Благодарю вас,—говорит он сухо.—Подарков от девушек не принимаю.

Она поднимает на него удивленные глаза.

— А от мужчины приняли бы? Ай-яй-яй! На словах кричите о равенстве полов. А на поверку? Оскорбляет подарок женщины! Юнкерское благородство! — Помолчав, она добавляет: — И вот все вы такие.

— Зачем все? — возражает он.—Вероятно, есть лучше меня.

— В прошлом году здесь работали геологи,—рассказывает Ольга.—Был среди них инженер. Так, неплохой человек. Коммунист. Охотник. Мы инго-

да бродили по тайге. Приглянулась я ему. Он давай меня сватать: «Две тысячи в месяц получаю». Я ему: «Что же, любовь от ставки зависит?» Он смутился: «Не от ставки, а для семейного счастья база нужна». Я смеюсь: «Может быть, намерены домашней хозяйкой приспособить меня?» Он отвечает: «А что зазорного в домашнем хозяйстве?» Тогда я говорю: «Сдайте свой билет в райком. Вы еще не доросли до звания члена партии». Обиделся мужчина, бог ты мой!

— Ну, не все же такие, — повторяет Мартынов.

— Не все, но многие, — настаивает Ольга. — Марина Раскова в своих «Записках» рассказывает: когда ее назначили преподавателем штурманского дела в Военно-воздушную академию, слушатели сперва не хотели вставать при ее входе в класс. Жаловались начальнику факультета. Им казалось диким, что они должны стоять «смирно» перед женщиной. И это было не так давно: в тысяча девятьсот тридцать четвертом — тридцать пятом году. Вы подумайте!

Голос ее звонок и немного дрожит от возмущения. Мартынов не отвечает. Они переезжают озеро, ставят оморочи на место, перекидываются несколькими словами, потом идут к поселку.

— Подвела вас двустволочка, — говорит Ольга. — Коли сохатого бить из ружья, то непременно экспрессной пулей. Да и экспрессная не всегда за смертью кладет. Зверь сильный. Копье гораздо вернее. Ударишь позади ребер, и готово.

— Пальмой тоже без сноровки не убьешь, — отвечает Мартынов, вспоминая разговор с Кузьмой. — Я не рискнул.

— Должна откровенно сказать: охотник вы неважный. Обе пули в зад всадили. Ну, кто бьет крупного зверя в угон? Лось — не коза. Его стреляют только под лопатку или в голову.

— Я не мог скомандовать ему, чтобы он повернулся боком, — с обидою в голосе говорит Мартынов. — Раз он уходит, как быть?

— И пусть уходит. Не последний. Раните, пробежит десять километров, сдохнет. Вам какая польза? А лосиху почему хотели стрелять? Близоруки, что ли?

— Впервые на этой охоте. Волновался здорово.

— Слабое утешение, — беспощадно говорит Ольга. — Горячиться никогда не следует. Этак на фронте пойдете в разведку, наскочите на своих да, не разглядев, откроете пальбу. И потом: выехали на озеро с двумя патронами. Ведь сохатый не на привязи. Мало ли что может случиться. Надо рассчитывать на самое худшее. У вас и рассеянность, и мальчишеское легкомыслие.

Униженный и смущенный, Мартынов смотрит на нее, и ему не хочется оправдываться. Он чувствует себя омерзительно. Теперь ему даже начинает казаться, что каждый встречный имеет право унижать и оскорблять его. Ольга идет упругой походкой. Прыгая с кочки на кочку, она поднимает юбку, и тогда перед глазами Мартынова сверкают словно из бронзы вылитые, тугие икры стройных загорелых ног. Попадая в лужи, она громко и, как ему казалось, беспричинно смеется. В нем опять вспыхивает неприязнь к девушке. Отчаянный резонер. Профессиональная черта: педагоги ужасно любят наставлять. Придет в поселок, расскажет людям о его промахах, и все будут посмеиваться над ним. От этих мыслей становится совсем нехорошо.

«Сегодня уеду, — думает Мартынов. — Мне вообще не следовало ходить с нею на охоту. Оскандалился, и хватит!»

Болото кончилось. Они входят в лес. Тропа петляет, минуя озеро и топи. Темные мохнатые кедры стоят по бокам. Рассветный ветер шевелит деревья. В кустах перепархивают рябки, где-то воркует манчжурская горлица, из листьев доносится глухой голос желны, крики удода. Трещат кузнечики, стучат дятлы. Начинается день.

— Да, — раздумчиво говорит Мартынов.

— Что, «да»? — спрашивает Ольга.

— Основательно вы меня... Разобрали операцию, как генштабист. Такой бани на тактических занятиях не получал.

Она повернулась к нему. В глазах у нее смех.

— Неужто обиделись? Вот чудак! Для вашей пользы стараюсь. Кабы при народе такое сказала, иной оборот. А тут — небо да кусты свидетели.

«Соседям не скажет», — думает он с облегчением.

IV

Мартынов отдохнул, побрился и пошел к Ольге.

Школа — обыкновенная крестьянская пятистенка из толстых, гладко выструганных бревен. Ее построили недавно. Желтые стены снаружи не успели потемнеть. Из щелей бревен стекают янтарные струйки смолы. Тесовая кровля и резные наличники окон выкрашены голубой краской. В палисаднике, меж кустов смородины и акации, цветут розовато-желтые, лиловые, сиреневые и вишневые мальвы. По перилам крыльечка и по карнизу крыши вьются стебли дикого винограда. От крыльца к дороге пролегает широкая тропка, посыпанная желтым речным песком. По обеим сторонам тропы зеленеют молодые ясени, кленки. И кругом — ни соринки, ни палочки, ни клочка бумаги.

Мартынов оглядывает школу со всех сторон. Все носит отпечаток некрикливого изящества, ласкает глаз.

«Недурно девушка устроилась, — думает он. — Прямо санаторий».

У парадной двери наискось стоит березовый батожок. Это означает: хозяйки дома нет.

Мартынов открывает калитку, входит в огород. За грядками картофеля, моркови, редиса и огурцов, в густом пырее, шатрами стоят яблони. Их не меньше сотни. Веткигибаются под тяжестью красноватых и смугло-коричневых плодов. Школьная сторожиха, Прасковья Ивановна, подпирает кроны досками. Мартынов подходит к старухе, здоровается с нею.

— Кто развел сад?

— Ольга Васильевна, дай ей бог здоровья, — говорит старуха. — Второй урожай ныне собирать будем. Ребятам опять раздолье: всю зиму к завтраку даровые яблоки. В прошлом году каждый день по три яблока на брата давали. Яблони-то мичуриинские. Морозы им нипочем. С одного дерева по пятнадцать кило собираем. Деревя молодые. Привезли трехлетками. Растут здесь четвертый год. Которые погибли, а эти прижились. Ишь, какие вымахали. Земля у нас пуховая, на ней что хочешь вырастет. Ну, а насчет яблонь в старые годы невдомек было.

Теперь колхозники тоже заводят сад надумали.

— Это хорошо, — говорит Мартынов.

— Да уж куда лучше, — подтверждает Прасковья Ивановна. — И все через Ольгу. Такая-то смысленная да шустрая девка, не приведи бог! За что ни возьмется, все у нее кипит в руках.

Мартынов выходит из сада на школьную тропку. Ольга, с покрасневшим от быстрой ходьбы лицом, пересекает улицу. Они встречаются у крыльца.

— Ну, как моя школа? — спрашивает Ольга.

— Превосходно, — отвечает он. — Я не ожидал..

Тут он замечает деревянные урны, расставленные возле канавок, и улыбается.

— Признайтесь, вы поставили их для шку?

— Вот уж на такие штучки не способна, — серьезно говорит девушка. — Я стараюсь приучать детей к порядку. Чистота и опрятность должны быть во всем. В урны малыши бросают бумагу, шелуху семечек. И сами же очищают их раз в неделю. Что здесь показного?

— Ладно, сдаюсь, — смеется Мартынов. — Убедили. Я напишу заметку в областную газету о ваших урнах и яблонях.

— Пишите. Только прошу об одном: не забудьте отметить заслуги Прасковьи Ивановны. Она — душа всего дела. Ночей не спала! Возилась с яблонями. Как за своими детьми ухаживала. Чудесная старуха. Бессребреница. Ну, идемте ко мне. Чаем угощу.

Первое, что поражает Мартынова в комнате Ольги, это — книги. Они стоят на полках длинными рядами во всю стену. Все в отличных переплетах. Он окидывает взглядом корешки. Узнает знакомые имена авторов. Книжки подобраны со вкусом: политика, беллетристика, точные науки, философия.

— Общественная библиотека?

— Что вы! — восклицает Ольга. — Общественная в пять раз больше. Она помещается в клубе. Это моя собственная.

Он подходит к полке, рассматривает книги. Многие страницы подчеркнуты

синим и красным карандашом. На полях пестрят заметки, сделанные ровным женским почерком, вопросительные и восклицательные знаки.

Ольга берет из его рук зеленый томик Мопассана.

— Оставьте, пожалуйста, — смеясь, говорит она. — Тут есть интимные записи. Это довольно невежливо — вторгаться в личную жизнь мало знакомой девушки.

— Извините, — говорит он. — Где вы набрали такое богатство?

— Я связана с букинистическими магазинами Москвы и Ленинграда. Очень аккуратно выполняют заказы.

— Но ведь нужны немалые деньги.

— А как же, — отвечает она. — (то меня станет снабжать даром?) Каждый год сдаю на две-три тысячи рублей пушнины. Все идет на книги.

Он смотрит на нее недоверчиво.

— Когда вы охотитесь? Зимой охоты в школе.

Она встряхивает волосами.

— А выходные дни? А каникулы? Летом на кротах прилично зарабатываю. Я первый кротолов на всю округу. Да и не обязательно с ружьем ходить. Зимой ловушки ставлю.

Они разговаривают о литературе. У себя на заставе и в полку Мартынов считался образованным командиром. Руководил творческим кружком. Теперь Ольга называет неизвестных писателей, ставит его в тупик.

— Мы этого не проходили, — говорит он, краснея.

Ольга смеется.

— Стыдитесь. Вы отвечаете, как школьник на экзамене.

От классиков она переходит к современникам.

— Вы не знаете, почему Радимов пишет гекзаметром? Ужасно забавно. Когда его читаешь, он представляется греком. С таким античным профилем. В плаще. С пергаментным свитком в руках. С устремленными в небо глазами.

Мартынов, не прочитавший ни строчки из Радимова, молчит. Она упоминает другого, известного всем, поэта, тоже ему незнакомого. Он хмурится, гмыкает. Она явно берет над ним верх.

«Рисуется, — думает он. — Ученая дева!»

Он переводит разговор на Клаузе-

вица, надеясь взять реванш. Девушка и тут не уступает ему. Она читала и Клаузевица, и Мольтке, и Шлиффена, и Гофмана, и военные статьи Энгельса, и мемуары Ллойд-Джорджа, и многое другое из того, что он лишь собирался прочесть и не мог достать или не успел. Нет, с нею невозможно спорить. Он понял это, и молчит, насупившись.

— Вы знаете, — говорит Ольга, — мне кажется, Гегель близко подошел к пониманию тезиса о справедливых и несправедливых войнах, когда развивал свое учение о войнах наступательных и войнах оборонительных. Может быть, осталось перешагнуть какой-то миллиметр, чтобы приоткрыть завесу, и засверкала бы истина. Гегель не сделал этого движения, и все у него спуталось.

Мартынов Гегеля не читал. Сознаться же в этом неловко.

— Все они путаники, Кант и Гегель, — отвечает он, опустив глаза. — Вообще буржуазным философам много не дано понять. С них спрашивать нечего.

— Конечно, судить их не придется, а знать необходимо, — отвечает Ольга.

Прасковья Ивановна вносит кипящий самовар, ставит на стол тарелку с огурцами, вареный картофель, куропаток в сметане.

— Прошу, — говорит Ольга. — Я угощать не умею. Берите сами, что хочется.

За ужином они говорят об охоте, о рыбной ловле.

Мартынов замечает на стене скрипичный футляр.

— Вы играетесь?

— Немножко пиликаю, — сознается Ольга. — Скрипка очень коварный инструмент. Она не терпит дилетантизма. Она требует, чтобы ей отдавались целиком. Надо много упражняться. В Хабаровске я посещала самостоятельную студию сольной игры. У нас был опытный преподаватель. А здесь не с кем посоветоваться. Самоучитель достала. Своим умом дохожу, и дело движается медленно, слишком медленно.

Он просит сыграть что-нибудь. Она отказывается. Уже поздно. Ей хочется отдохнуть и потом выехать на ловлю тайменей.

— Если не помешаю, возьмите меня с собою на рыбалку, — просит Мартынов.

— Пожалуйста. Идите отдыхайте, переодевайтесь. Жду к двенадцати часам.

Он прощается и выходит на улицу. Мысли о девушке дwoятся. Да, в ней есть что-то неприятное, книжное. В разговоре она часто пользуется газетными словами. Но какое упорство, какая воля и настойчивость! Ему представилось: зимний вечер, в поселке морозная тишина. Потрескивают деревья. Во всех избах потушены огни. Ольга сидит, склонившись над столом, у жарко натопленной печи, шуршат страницы перелистываемой книги. У девушки напряженное лицо, губы шевелятся, карандаш быстро скользит по блокноту.

— Из нее неплохой комиссар выйдет, — говорит он, усмехаясь. — Какие девушки растут, а?!

V

Утром они идут на охоту по перу.

— Я много думал о вас, — признается Мартынов. — В глухом поселке интеллигентная девушка отправляется в тайгу на лыжах, стреляет белок, гоняет соболей, чтобы на вырученные от пушнины деньги купить Шекспира или Аристофана. Ей-богу, это замечательно!

— Ну-ну, — весело отзывается Ольга. — Мы не на митинге.

Они быстро шагают по тропе. Джальма трусит впереди.

— Все-таки не понимаю вашего увлечения философией, — говорит Мартынов, вспоминая вчерашний разговор. — Какой смысл читать Гегеля, Канта или Дидро? Вы учите малышей. Надеюсь, не приходится вести бесед о предшественниках марксизма? Вы создаете мертвый капитал.

Она смотрит на него отчужденно.

— Послушайте, Алексей Павлович. Я возмущена. Это куццы времен Островского отрицали все науки, кроме арифметики. Мы обязаны знать все. А за Гегеля, откровенно говоря, пришлось взяться с полемической целью. Он, видите ли, утверждает, что женщины могут быть образованными, но для высших наук, как философия, не созданы. И сделал нелепей-

ший вывод: государство подвергается опасности, если женщины становятся во главе правительства. Еще одна мысль поразительна у Гегеля: женщины получают образование, какими-то неизвестными путями и как бы через атмосферу представления, больше благодаря жизни, чем приобретению знаний, а мужчины достигают своего положения лишь посредством завоеваний мысли и многих технических стараний. Вот и захотелось проверить. Стала изучать самую трудную книгу Гегеля — «Философия природы». И, конечно, одолела. Насчет женских мозгов великий муж сильно ошибался.

— Вы проделали чисто спортивный эксперимент, — говорит Мартынов. — Для практики его значение сомнительно.

— Неправда, — горячо протестует Ольга. — Когда нужно, философия становится утилитарной. Расскажу вам один забавный случай. В Хабаровске я жила на частной квартире. Хозяйка — из бывших. Смольный кончила. Мещанка до мозга костей. Негодует на современную молодежь. Раньше, дескать, женщину весьма почитали, относились к ней рыцарски. В трамвае место уступят, платок уронит — подадут с галантным поклоном. А теперь женщину ни во что не ставят. Прямо извела меня вздохами о прошлом. Приношу из библиотеки «Пол и характер» Отто Вейнингера и давай вслух читать. Помните, какие там ужасы про нашу сестру наворожены? Читаю с чувством, с толком: «Мужчина, представляющий собой олицетворение низости, стоит бесконечно выше наиболее возвышенной из женщин... женщина не создана по образу и подобию божию. У нее нет души. Человек ли она? Может быть, животное? Растение?» Дошла до того места, где Вейнингер говорит, что главное качество женщины — сводничество... Тут моя старушка замахала руками:

— Закройте эту гадость. Не хочу слушать!

— Нет, дослушайте до конца, — говорю. — Это не большевистская книга. Это ваша культура. На таких «трудах» воспитывались ваши хваленые кавалеры. Так вас ценили в «доброе старое время». Вас презирали! Наши мужчины не оказывают нам внешних знаков уважения именно потому, что признают нас равными себе.

С этого дня споры прекратились. А вы толкуете: философия — отвле- ченная штука.

— Попробую думать иначе, — гово- рит он, улыбаясь. — Вы хороший аги- татор.

Она почувствовала иронию в его словах. Глаза ее темнеют. Надвинув кепку на лоб, она молча шагает по тропе.

Джальма облаивает на кедрах бе- лок. Ольга свистом отзывает собаку. Джальма продолжает призывно тяв- кать. Слышно с тропы, как она ки- дается на дерево, взвизгивает, цара- пает кору. Ольга берет собаку на по- водок, тащит за собою.

— Глупая, глупая собака! — говорит она. — Белок летом нельзя стрелять. Кому они нужны, рыжие? Четыре го- да охотимся с тобою, и ты не можешь понять простых вещей. Найди глухаря!

Джальма упирается, рычит. Шерсть дыбом стоит у нее на горбу.

— Ох, до чего азартная собачка! — восхищенно говорит Ольга. — Му- ченье с нею. Зимой наткнется на медвежью берлогу — не оторвешь. Однажды на руках пришлось целый километр нести. Стрелять зверя было нечем. В сумке только дробовые пат- роны остались.

Тайга рдеет.

Они сворачивают с тропы, выходят на ягодники. Полянки и склоны сопок осыпаны розовой брусникой. Между сопок грядами стоит манчжурский абрикос: высота дерева достигает де- сяти метров, и стволы по толщине мало отличаются от кедров и елей. Мартынов срывает мелкие плоды аб- рикоса, пробует их на зуб, с отвраще- нием выплевывает: они вязкие, кисло- вато-горькие на вкус.

— Такие красавцы-деревья, и ра- стут без пользы, — говорит он.

— В этих местах когда-то были древние крепости, — объясняет Оль- га. — Абрикос, вероятно, был куль- турным деревом, а затем люди надол- го исчезли, — он одичал. Я думаю осенью пересадить несколько двухлет- них дичков в школьный питомник. Может быть, удастся получить сорта, не уступающие по вкусовым каче- ствам южным.

— Да, конечно, — соглашается Мар- тынов. — Стоит лишь приложить ру- ки: ничего невозможного нет.

Ольга пускает Джальму. Собака благодарно лижет ей руку, скрывает- ся в зарослях бересклета. Они стоят, прислушиваясь, не раздастся ли при- зывный лай. Острый запах грибов и ягод поднимается с земли. Пописки- вают невидимые в листве пеночки, славки, чеканы и щеврицы. Слева, в широкой пади, верещит китайская иволга.

Мартынов чувствует, как раство- ряется в этом радостном утре его ду- шевная напряженность. Он чувствует себя все спокойнее и спокойнее. Ольга теперь кажется ему не такой уж задорной, как в первый день. С волнением он оглядывает разрытые тетеревами кочки. Лунок много. В пе- ске свежий птичий помет, желто- крапчатые, серые и черные перья.

На поляне, поросшей редкою мо- лодью бархатного дерева и боярыш- ника, Джальма делает большой круг по горячему следу, останавливается на мгновение и тянет к опушке. Марты- нов и Ольга переглядываются. Выво- док поднимается разом. Старка, серд- то квохча, летит навстречу собаке; молодые — вправо, над кустами ши- повника. Стрелять против солнца не- удобно и далековато, и все-таки Мар- тынов уверенно вскидывает ружье. После выстрела тетерев комом падает в траву. Джальма подает птицу Ольге.

— Для начала недурно, — весело говорит Мартынов. — Для меня пер- вый выстрел решает успех каждой охоты. Промажу по первой птице — весь день буду мазать.

Дичи много. Джальма поднимает один выводок за другим. К обеду ягдташ Мартынова, набитый дичью, отяжелел. У Ольги два черныша и пять рябков.

— Вы хорошо стреляете, — говорит Ольга. — Я до сих пор еще не научи- лась бить навскидку. Если приходится стрелять внезапно в густом лесу, упускаю птицу. Такая досада!

Мартынов доволен прекрасной по- годой и главное тем, что у него полон ягдташ, и ему хочется сказать девушке что-нибудь приятное.

— Вскидка — дело наживное, — го- ворит он. — Ее выдумали спортсмены. Вы скорее промысловый охотник, не- жели спортсмен. И потом у вас нет подружейной собаки. Из-под лайки

чаще всего приходится бить птицу на дереве.

— Все-таки я овладею вскидкой, — обещает Ольга.

Они останавливаются, выбирая глазами место для привала. Проходят сотню шагов и садятся на берегу шумного ручья, среди молодого дубняка и манчжурского ореха. Тут хорошо и прохладно отдыхать. Левый берег каменист, покрыт зеленоватым мхом; правый напоминает собою цветник, любовно возделанный руками человека. На зеленой щетинке травы пламенеют звезды ярко-красной гвоздики, оранжевые и желтые лилии; у самой воды, как часовые, стоят шеренгою бледно-голубые ирисы.

— Закусим, Алексей Павлович, — говорит Ольга и начинает развязывать рюкзак.

Мартынов рубит дрова, разводит костер, ставит над огнем чайник. Тихий лесной день. Все кругом отдыхает. Смолкли птицы, накричавшись за утро. Мартынов сидит возле Ольги. Ее дыхание коснулось его щеки. Он вздрагивает и отодвигается. Она совсем не замечает этого, спокойно смотрит на вершины деревьев.

— Расскажите, как вы убили первого медведя, — просит Мартынов.

— Очень просто, — отвечает она. — Это была случайная охота. Мы с Джальмой гнали изюбря по старой дремучей тайге и наскочили на берлогу. Зверь поднялся, зарычал на собаку. Пришлось бить.

— Испугались?

— Ох, да еще как! Вы думаете, я железная?

И она рассказывает, как вскинула ружье, прицелилась в голову медведя, спустила курок. Затем добила вторым выстрелом. Джальма набросилась на зверя, не давая ему стронуться с места.

Мартынов слушает.

— Потом еще были встречи. Я стала меньше бояться. Главное: надо верить, что все обойдется благополучно, что ты победишь. Выдержка при охоте на крупного зверя — залог успеха. Сомневаешься в себе — зайца не убить.

— Да, да, — соглашается он. — Это верно. Страшно верно.

Он рассказывает о своих промахах на волчьей облаве. Джальма, спокойно глодавшая кость, вдруг насторожи-

лась, потянула носом, подняла щетину на хребте. Мартынов хватается за ружье и ставит предохранитель на «огонь». В кустах — шорох, хрустнула ветка под ногою человека или зверя. Джальма с лаем кидается навстречу идущему.

— Своя, своя, — говорит кто-то, успокаивая собаку.

На полянку выходит старик с винчестером за плечами. Поверх короткой рубахи на нем надет брезентовый халат, застегнутый на медные пуговицы. На ногах — штаны из китайской дабы с кожаными наколенниками, унты из оленьей кожи. Он смело шагает к костру и улыбается, скосив темнокарие глаза. Это удэеец Самарга, давнишний приятель Ольги. Он здоровается и садится к костру. Мартынов открывает банку рыбных консервов, флягу с коньяком, приглашает гостя к «столу». Самарга выпивает баклагу коньяку, неторопливо закусывает. Они беседуют о промысле, о разных делах. Оказывается, старший сын Самарги стал председателем рыбацкой артели, младший уехал в город, учится в техникуме. Сам старик ловит зверей для зоологического сада. Ольга рассказывает Самарге последние новости, услышанные ею по радио. Он слушает внимательно, качает головою.

— Шибко хорошие слухи. Спасибо твоя. Теперь Самарге везде ходи, другой люди говори.

Солнце припекает. Они перебираются в тень, к стволу дуба. Самарга подкидывает валежину на угли, подсаживается к Мартынову.

— Командир Москва ездит?

— Да, — отвечает Мартынов. — Случалось бывать в Москве.

— Ленин глазами види? Чай пить ему ходи?

— Нет, дружба, Ленин умер давно: я тогда маленький был. Не видал глазами, не пивал с ним чаю за одним столом.

— Твоя неправда сказал, — говорит Самарга гневно и резко. — Ленин умирай нету.

И он, путая русские слова с удэгейскими, рассказывает легенду. Ленин вовсе не умер. Он победил всех врагов, устроил порядок на земле, передал дела Сталину и решил отдохнуть. Взял ружье, вскинул котомку за плечи, отправился в тайгу. Охотники по-

рою встречают его. У Ленина рыжая борода и зоркие молодые глаза. Он видит очень далеко, Ленин. Взглянет на человека — сразу поймет, что у того в душе и на уме. Подойдет к охотничьему костру, спросит таежных жителей, довольны ли они, все ли в порядке на советской земле, справны ли ружья, здоровы ли собаки. Ему отвечают: «Довольны, все в порядке. Ружья справны, собаки здоровы». Потом он еще спросит: «Если враг нападет, готовы ли вы постоять за себя?» — «Отстоим все, что ты дал нам», — отвечают охотники. Ленин улыбнется и пойдет дальше.

На склонах Сихотэ-Алиня Ленин встретил злого духа Севона. Много веков Севон пугал дичь, мешал охотникам добывать зверя и птицу. Ленин вступил с ним в бой. Севон был хитер, жесток, обладал страшною силою. Он мог, как травинку, вырывать дубы с корнями, брал тигра за хвост и перекидывал через Амур. Они долго боролись. Шум битвы разносился по всему Приморью. Земля тряслась, падали деревья, передвигались горы, скалы отрывались от берегов. Ленин поборол Севона, потому что он сильнее всех богатырей на свете, и нет богатыря, равного Ленину по уму. Затем Ленин сбросил труп Севона в Ачжю, и река унесла врага охотников в океан на растерзание рыбам. Теперь легче промышлять в тайге. Охотники живут богато. Даже собак они кормят мясом.

— Значит, скоро всех зверей перебьют? — говорит Мартынов, сдерживая улыбку.

— Э! — вздохнул Самарга. — Твоя понимай нету. Какой твоя глупый люди. Газета читай, радио слушай, а слова простой охотник понимай не могли.

И он разъясняет. Ленин дал новый закон тайге. Тайга стала другом людей с чистым сердцем. Кто жадеи, труслив, обижает слабых, много пьет водки, ругается дурными словами — от того бегут звери, улетают птицы, уплывает рыба. Вот какой это закон. Когда все люди сделаются чисты сердцем, как Ленин, они будут равны перед законом тайги.

— Спасибо тебе, друг, — говорит Мартынов и начинает записывать сказку в блокнот. Зоркие лесные глаза Самарги следят за рукою лейтенанта. Потом он просит прочесть вслух.

Мартынов читает медленно и громко. Старик слушает и улыбается, довольный тем, что бумага разнесет его слова в далекие деревни, села и города.

Солнце клонится к западу. От земли поднимается холодок. По тайге бежит ветер. Над поляною шумят дубы и кедры. Отдохнув немного, все трое идут оленьей тропой к перевалу.

У Безымянного притока Самарга прощается с Мартыновым и Ольгой, садится в оморочку, взмахивает веслом, и река несет его меж крутых берегов. Мартынов смотрит ему вслед. Ветер доносит песню.

— О чем он поет? — спрашивает Мартынов.

— Не знаю, — говорит Ольга. — Может быть, слагает новую легенду, чтобы рассказать ее на привале охотникам и обрадовать людей.

Мартынов глядит на нее, пораженный.

— Обрадовать людей? Как хорошо вы сказали. Ах, если бы каждый из нас немножко думал об этом!

VI

Нога у Никиты зажила, и он встал с постели. Старик считает себя виноватым, что провалялся целую неделю, не мог выполнять своих обязанностей егеря, и теперь проявляет необычайную заботливость. Только бы ходить да ходить с ним по заповедным угольям. Но удивительная вещь. Мартынов выискивает всяческие предлоги, чтобы избавиться от услуг егеря.

Проснувшись на рассвете, Мартынов завтракает, берет ружье и отправляется к школе. Джальма, ласкаясь и повизгивая, встречает его у калитки. Он стучит в окно. Ольга выбегает, перепосанная патронташем, с перекинутою через плечо сеткой, приветливо здороваются, и они спускаются к реке, переплывают на тот берег. В эти дни Мартынов поймал себя на мысли о том, что его тянет к Ольге. Совместные вылазки стали какою-то необъяснимою потребностью.

— Сегодня придется отложить охоту, — говорит однажды Ольга. — Иду на покос.

Он пытается отговорить ее.

— Без вас управятся.

— Во-первых, я сама обязана работать. У меня есть корова, надо приготовить сена. Во-вторых, не управятся.

Весна была поздняя, затяжная. Трава недавно созрела. А тут пора хлеб убирать, озимое сеять. Все сразу подоспело, а мужчин в колхозе мало: шоссейную дорогу прокладывать ушли на Усть-Лагу. Вам бы тоже невречно руки поразмять на косьбе. Идемте, а?

— Я что ж, — отвечает он. — Пожалуй, я непрочь.

Ольга приносит из колхозного сарая две косы. Одну протягивает Мартынову.

— Ну-ка, примерьте, подойдет ли по росту?

Он прижимает черенок к груди.

— В самый раз.

Они подходят к луговине, здороваются с колхозниками.

Платон Михайлович тепло приветствует Мартынова.

— Теперь у нас дело пойдет, — говорит он, подмигивая Ольге. — Красная Армия на помощь явилась.

Косцы уже прошли несколько рядов. Сочная трава лежит бугристыми валами. Выходит солнце. Утро прохладное и чистое.

Мартынов точит бруском литовку и встает позади Ольги. Колхозники вереницею двигаются по лугу, вжикают косы, падает срезанная трава. Ольга взмахивает литовкой.

— Не отставайте, командир, — кричит она и вызывающе улыбается.

Трава высокая и густая. Мартынов чуть-чуть сгибается и пускает косу по земле. Ольга идет впереди, словно играя литовкой. За нею остается ровный, широкий прокос. Мартынов нажимает, стараясь итти у нее на пятках. Иногда он берет слишком большой захват, остаются бородки, и приходится вторым взмахом скашивать эти досадные огрехи. Расстояние между ним и Ольгой увеличивается. Он задыхается от напряжения. Пот выступает у него на щеках и на лбу. Скоро он чувствует, что коса притупилась, останавливается и достает из голенища правилку. От Ольги его теперь отделяет шаг двадцать. Девушка оглянулась, что-то сказала, сверкнули в улыбке белые зубы. Он слов не расслышал. Все в нем горит от стыда и обиды. Колхозники сейчас дойдут до канавы, повернут назад и, проходя мимо, станут посмеиваться над ним: «За девкой угнаться не может... а еще лейтенант!» Ольга, словно щадя его, неспеша обтирает

косу травой, берет черенок подмышку и начинает «направлять». Он так и не успевает догнать ее. Пальцы правой руки, держащие рукоятку, совсем немеют. Коса мнет непокорную траву.

Ольга подходит к нему.

— Что-то у вас не ладится?

Он щурится, вытирает платком лицо.

— Девять лет, как покинул деревню, косы в руки не брал. Отвыкло должно быть.

Она смотрит на него, опустив голову, и тихо смеется.

— Пускайте косу чуть повыше. Грунт здесь песчаный. Если будете резать под корень, вас до обеда нехватит. О песок и бритва притупится.

Он отвечает ей благодарным взглядом. Правит косу и старается догнать девушку. Мужчины и девушки кончили загон, со смехом и шутками идут обратно, разгребая черенками траву. От валов поднимается голубоватый парок.

Наталья поравнялась с Мартыновым, кивает ему головою:

— Подсобайте нам пришли? Вот спасибо! А я-то думала: он городской, не умеет крестьянствовать.

Девушки смотрят на него с любопытством. Он чувствует на себе их взгляды, закуривает папиросу и кричит Ольге:

— Берегитесь, пятки отхвачу!

— Посмотрим, — отвечает она. — Не хвались, полководец, в бой идучи.

Мартынов сбрасывает гимнастерку, остается в одной тельняшке, подтягивает пояс на брюках и уверенно взмахивает руками. Коса берет хорошо, и до самой канавы он идет за Ольгой, не отставая ни на шаг. Потом они идут рядом, разбрасывая свои валы.

Он смотрит на Ольгу и думает: «Ни в чем не уступит мужчине».

Второй ряд косить легче. Мартынов, не напрягаясь, пускает литовку, и она входит в пырей, как в воду. Спина его взмокла, гудит в голове, ност поясница, но усталость приятна. Кругом звенят косы. Мартынов знает, что за ним, новым человеком, все наблюдают, и это как бы окрыляет его, создает подъем духа, при котором мускулы напрягаются, как струны, и тело не чувствует ни боли, ни холода, ни зноя.

Пожилая женщина в цветастой юбке спрашивает Наталью:

— Это что за человек объявился? Женишок ольгин?

— Нет, — говорит Наталья, — охотник он. В отпуску.

— Вон что. А я подумала — жених. Больно ласково поглядывают друг на дружку. Может быть, сосватает? Ей юра замуж-то. Да и парень хоть куда: рослый, красивый.

— Ты придумашь, — смеется Наталья, — я те говорю — охотник.

— Охотник, охотник, — передразнивает женщина, — они монахи, что ли, охотники-то?

Мартынов слышит разговор, хмурится.

«Надо пореже бывать у нее, — думает он, — ослаблю девушку. Пойдет дурной слух. Здесь не город, все на виду».

После обеда ворошат, гребут сено на другом лугу, в заречной стороне. На чисто скошенной, словно выбритой, луговине одна за другою вырастают копны. Солнце жжет. С юга порывами налетает теплый и влажный ветер. В небе клубятся редкие клочковатые облака. Потом над горами появляется черная туча. Грохочет гром.

— Бабы, девоньки, давай метать! — кричит Платон Михайлович и втыкает на бугорке высокий стожар. — Давай сюда, милые!

И все закипело на лугу. Женщины в красных и кубовых платках бегают, словно подхваченные ветром. Они ловко подсовывают носилки. Одна придерживает копну граблями, двое берутся за концы носилок, — и копна, покачиваясь, плывет к стожару.

Ольга и Платон Михайлович вершат. Мартынов и старик Парфен Голубев подают. Стог растет на глазах.

Мартынову достались новые, еще не просохшие вилы с длинным черенком. Он поднимает сразу полкопны и кидает к ногам Ольги. Она раскидывает и уминает сено. Волосы ее осыпаны трухюю. Она вертится на стоге волчком, покрикивает:

— Нажимай, девчата! Покажите класс, Алексей Павлович!

Стог раздается все шире и шире. Наталья ходит вокруг, причесывает его бока граблями. На лугу перекликаются женщины.

Солнце скрылось в мутной пелене. Туча гудит над краем леса, припадает к земле. Над рекою кружатся галки. Опять оглушительно грянул гром, и

первые капли дождя показались в воздухе.

— Неужто не успеем? — надсадно говорит Платон Михайлович и вдруг, повысив голос, молодо и яростно кричит: — Бабы, девки, поворачивайся, чтоб вам околет!

Никто не ответил. Еще быстрее забегали женщины. Стог закругляется куполом. Мартынов едва достает вилами вершину. Руки дрожат, ноги подгибаются в коленях. Ольга с высоты улыбается ему, откидывает сползшие на лоб волосы и вдруг с головою исчезает в рыхлом сене.

Когда подкинули последний навильник, все подошли к стогу, шумно дыша и радостно посмеиваясь.

Ольга и председатель спустились на землю.

И тотчас хлынул густой, теплый ливень. Ветер затих. Стало темно. Женщины с криком бросились под стог. Мартынов сидит рядом с Ольгой. Она прислонилась к его плечу, и он слышит гулкие толчки ее сердца.

— Хорошо-то как, а?

Дождь шумит. На луговине пузырится вода. В канавах журчат веселые ручейки. От стога исходит пряный, освежающий запах. Мартынов закрывает глаза.

— Устали? — спрашивает Ольга.

— Нет, что вы, — отзывается он. — Я готов снова итти косить. И он рассказывает о путевке на Юг и о том, как не хотелось ему сюда ехать и как уговаривал его капитан.

— Командир у вас неглупый человек.

— О, да! — отвечает он. — Далеко не глупый.

Они оба смеются.

— Замечательная вещь физический труд, — говорит Мартынов. — Я окреп, помолодел годов на десять. Честное слово.

Ольга ударяет его былинкой по щеке.

— Еще придумаете. Тоже, старичок!

Туча ушла в низовья. На мокрую зелень упало солнце, и все повеселело кругом. Колхозники, отряхиваясь, вылезают из-под стога.

— Ну, детки, валяй по домам, — говорит Платон Михайлович. — Работали сегодня по-стахановски, значит, отдохнуть не грех.

Девушки с песней идут к реке.

Платон Михайлович подходит к Мартынову.

— Сводки по радио слушал?

— Слушал.

— Ну, как они там? Все воюют?

— Воюют.

— Кто кого перебарывает?

— Пока с переменным успехом.

В разговор вступает рыжебородый, зихрастый мужик.

— Ну, а мы воевать будем?

— Подождем, — отвечает Мартынов. — А загронут нас, ударим крепко. Вы поможете.

— Уж это как полагается, — уверенно говорят рыжебородый. — Супротив нашей державы теперь никто не устоит. Кишка у них тонка...

И оба понимающе улыбаются друг другу.

Вечером Наталья встречает Ольгу на улице.

— Бабы допытываются, — говорит эва.

— Ну? — спрашивает Ольга.

— Не думает ли, дескать, Ольгунька выйти замуж?

У Ольги краснеют щеки.

— Что у них, кроме этого, забот нет?

— Да ведь известно: народ любит посудачить. Ты не обижайся.

Молчание.

— А может, в самом деле того... — zaczynaет Наталья. — Он человек правильный. Я приглядывалась к нему. Кость мужицкая, водку не пьет, черным словом не ругается, образованный.

— Ах, оставь, пожалуйста, — сердито говорит Ольга. — Этого не будет.

— То есть, почему не будет? — недоумевает Наталья. — Вековухой остаться хочешь? Это глупости, ма-тушка. Пора свое гнездо вить.

Ольга бросает на нее быстрый взгляд, улыбается.

— Ты меня не агитируй. Я сама взрослая.

VII

Вечереет.

Недавно прошел дождь, и на листьях деревьев еще висят капли воды. Пахнет укропом и свежестью плодов. Где-то вдали погромычивает гром. Облака то сходятся, то расходятся на бледном небе. На востоке видна тем-

ная, с голубыми просветами, туча, и под нею, в пыльных полосах дождя, розовеют горы.

Мартынов и Ольга сидят на скамейке в школьном саду. Прасковья Ивановна утром выкосила и сгребла траву. Под деревьями как-то необычно светло. Спелые яблоки отрываются от веток, гулко стучат о землю.

— Конфликты с населением бывают? — неожиданно спрашивает Мартынов.

Ольга пожимает плечами.

— Чего ради? Все ко мне относятся хорошо. Я ведь сирота. Отца и мать интервенты в девятнадцатом году расстреляли. Моим воспитанием занимался весь поселок. Когда училась в городе, колхозники то и дело привозили подарки: мясо, дичь, рыбу, овощи. Я даже подруг подкармливала.

— А районо, райсовет? Помогают? Дрова дают?

— Да что это на вас накатило? — смеется Ольга. — Если дров не готовят, я сама в лес дорогу знаю. Запрягу лошадь, привезу валежника. Но до этого не доходит. Что полагается, дают безотказно. Пусть попробуют не дать! Как это можно — школу обижать?

«Все-таки что-нибудь скрывает, — думает Мартынов. — На любом пути бывают препятствия, неудачи, сомнения. А она словно в карете по асфальту едет».

Ему хочется еще узнать, нет ли у нее личных недоразумений, трудно осуществимых планов. Он осторожно спрашивает об этом.

— Да, есть, — с притворным огорчением говорит она. — Стихи писать не умею. Билась, билась — ничего не выходит. Двух строк связать не могу.

— Это не всякому дано, — замечает он. — Я вот пробовал стать певцом. В хоровом кружке учился. Тоже не вышло. Командовать парадом могу — голос на километр слышно, а начну петь, словно каши в рот набрал: дыханье спирает, жарко становится.

— Думаю на прозу перейти, — говорит Ольга. — Авось, что-нибудь получится. Вы знаете, хочется написать роман или повесть о сельских учителях. Недавно перечитывала Бунина. Героиня его рассказа, славная русская девушка Елена, с надрывом и болью доказывает: «Меня ждет ужасная жизнь где-нибудь в сельском учили-

ще». Не могу этого понять. Почему тогда интеллигенты видели в деревенской школе каторгу? Представляю себе: их донимал поп, урядник, кулак. И все-таки неужели не было поэзии в этой жизни и в борьбе? Не верю, не верю!

Он слушает, кивает головою. Ее речь скупа, односложна. Он читает между строк. За словами и жестами девушки встает большая жизнь. Мартынов отчетливо видит вчера и сегодня. Беллетристы 80—90-х годов изображали учителя несчастеньким, чахоточным или Дон-Кихотом, воевавшим с ветряными мельницами. Старые педагоги-народники, при всей искренности своих порывов, были гостями в деревне. Души народа не понимали. Учителя, подобные Ольге, корнями росли в деревенскую почву. Они делают свое большое дело естественно и просто, как птица поет, не заботясь о том, слушает ли кто-нибудь ее под деревом. Поэтому они не ощущают бремени на плечах.

— Ну, вот,— продолжает Ольга.— Решила писать. Это будет книга о радости. Только будет ли? В голове ясно, а приступить боюсь. Вдруг пороуху нехватит.

— У вас хватит, — поддерживает Мартынов. — Попробуйте.

Сумерки сгущаются. Над садом сверкнула змеистая молния и осветила ключья сиреневых облаков. Накрапывает дождь. Они переходят в комнату.

Мартынов усаживается в плетеное кресло. Ольга достает скрипку, натирает канифолью смычок, подтягивает струны, и комната наполняется странными, плачущими звуками. Девушка играет, полуприкрыв ресницами глаза. Мартынов редко бывал в концертах, и ему не приходилось так близко сидеть возле музыкантов. Оглушенный и смятый, он застыл с папиросою в руке. Звуки то замирают до чуть слышного трепетанья, то неудержимо рвутся к потолку и как бы раздвигают стены. Время остановилось.

— Ну, как? — спрашивает Ольга.

— Чудесно, — вздыхает он. — Чья вещь? Как называется?

— Рапсодия. Композитор неизвестен. То есть я его знаю, но он пока неизвестен в мире музыки. Мой одноклассник по техникуму, Володя Ремнев. Теперь он учится в консерватории.

Талантливый парень. Далеко пойдет.

— Пойдите, пойдите, мне кажется, я уже слышал эту рапсодию. Кто-то приветствовал ею мой въезд в Валуи. Правда?

— Правда,— смеется Ольга.— Только я не подозревала, что в тот час едет к нам высокий гость. Я для себя играла.

— Не будем спорить, — говорит он. — Если не устали, повторите. Или, как у вас принято выражаться, сыграйте на «бис».

Ольга становится спиной к окну, поднимает смычок. Звуки вызывают представление об оленьих и медвежьих тропках, о весеннем бормотаньи теремов. Мартынову казалось: он поднялся на волнах музыки над горами и с головокружительной этой высоты видит зеленые кедры и лиственницы, и озера, как синие глаза весны, и тонкие струйки дыма охотничьих костров, и белоснежные целочки лебедей, летящих на север, и любовную драку глухарей на талой земле. Седокрылый орлан парит в небе, выскивая добычу. С гор струятся потоки воды. Все залито теплым солнечным светом.

Скрипка поет гимн весне. Стихийное, неумолимое торжество звуков. Люди, птицы и звери загляделись на эту весну, радостно приветствуют обновление земли.

Ольга обрывает игру на высокой щемящей ноте. Несколько минут они молчат. Потом, тяжело вздохнув, Мартынов надевает фуражку.

— Я пойду, Ольга Васильевна. До свиданья.

— Нет, что вы! — порывисто говорит она. — За окном шумит дождь. Слышите? Ужинать будем. Прослушаем последние известия.

Она включает радио, идет на кухню. Прасковья Ивановна подает на стол жареных тайменей, печеные яблоки, горшок молока. Мартынов и Ольга присаживаются к столу. Девушка подкладывает лейтенанту янтарные, хрустящие на зубах ломтики рыбы, спрашивает о жизни на заставе. Он отвечает односложно. Не может собраться с мыслями. Музыка потрясла его. После ужина Ольга выходит провожать гостя. Дождя нет.

Голубея меж облаков, над горами расчищается небо. Месяц катится в

вышине, заливая все призрачно-мутноватым светом. За рекою — мохнатая, сизая тайга и огромные спящие горы. На середине улицы Ольга прощается, поворачивает обратно. Мартынов, медленно шагая, идет к дому Никиты. Разговоры и только что прослушанная музыка пробуждают в нем какое-то необычайно теплое чувство к Ольге. Он пугается этого чувства.

«Нет, я слишком снисходителен к ней, — думает он, пытаясь восстановить равновесие. — Ничего особенного. Так себе. Любительская игра. В городах тысячи девушек играют на чем-нибудь, и никто не впадает от их игры в телячий восторг. Просто я расчувствовался, как гимназист».

VIII

Лейтенант Сергей Полозов, однокашник Мартынова по школе и сосед по заставе, производил в районе топографическую съемку. Проезжая через Валуй, Полозов заглянул на базу. Они пообедали, сидят под навесом в сарае и беседуют.

— Я устроился неплохо, — рассказывает Мартынов. — Капитан не обманул: места действительно прекрасные. Горы, сопки, первобытная тайга, река, гостеприимные люди. А дичи — хоть отбавляй! Рыбы — тоже. На охоте меня сопровождает Ольга, здешняя учительница. Чудесная девушка. Внешне, пожалуй, ее нельзя назвать красивой. Сибирский тип. Но богата внутренней красотой. Ей двадцать два года. Комсомолка, общественница. Школа у нее образцовая. Развела плодовый сад. Отлично стреляет, бьет острогою тайменей. Играет на скрипке. В первые дни, как-то вечером, исполнила таежную рапсодию. Я до сих пор нахожусь под впечатлением этой музыки. Мне кажется, рапсодия разлита во всей здешней природе, и я слышу её в плеске реки, в журчаньи родников, в шелесте кедров. Передать это ощущение словами невозможно.

— Ну, ну, — качает головою Полозов. — Завидую тебе и скорблю, Алеша. Завидую, что попал ты в охотничье эльдорадо, о котором я давно мечтаю. Скорблю душевно, ибо чувствую: ты влюблен. Да, да, не отпирайся. Влюблен, как идиот. Открыл сверхженщину, идеальное существо.

Ты ослеплен! Заклинаю тебя нашей дружбой: не торопись делать предложение.

— Я и не собираюсь, — отвечает Мартынов. — С чего ты взял?

— Молчи, — сердито говорит Полозов и достает из полевой сумки клеенчатую тетрадь. — Вот послушай, что говорит философ: «Слишком долго скрыт был в женщине раб и тиран. Поэтому женщина неспособна к дружбе: она знает только любовь. В любви женщины всегда есть несправедливость и слепота ко всему, что вне любви ее. Даже в сознательной любви женщины — засада, молния, и ночь рядом со светом. Все в женщине загадка, и все в женщине имеет одну разгадку: эта разгадка зовется беременностью. Мужчина для женщины только средство, цель — всегда дитя. Но чем является женщина для мужчины?»

...Один вышел героем на бой с истиной, и в конце концов добыл себе маленькую наряженную ложь. Своим браком называет он это. Другой был требователен в отношениях и разборчив в выборе людей. Но одним разом и навсегда испортил свое общество: своим браком называет он это. Множество коротких безумий — это называется у вас любовью. И множество коротких безумий полагает конец, брак ваш — одна долгая глупость. Достойным казался мне этот мужчина и созревшим для смысла земли: но когда я увидел жену его, земля показалась мне сумасшедшим домом». Обдумай эти строки.

Полозов, низенький, плотный, с покрасневшим от волнения лицом, смотрит на друга холодными, немигающими глазами. Мартынов раскатывает между пальцев папиросу, чиркает спичкой.

Молчание.

Полозов перелистывает тетрадь.

— Много у тебя еще таких выписок? — спрашивает Мартынов

— Хватит.

— Для чего ты их коллекционируешь?

— Как противоядие от увлечений.

— Бред, — смеется Мартынов. — Чистейший бред. Твой философ просто жалкий растлитель молодежи, кривляка и плут. Его женоненавистничество — декадентская поза. Кстати, напомню: он умер в психиатриче-

ской больнице. Вот куда завело его презрение к женщине. Намотай себе на ус. Теперь насчет Ольги: она мне нравится. Но я вынужден тормозить свои чувства. Разумеется, не по тем глупым мотивам, которые выдвигаешь ты. Я считаю себя недостойным этой девушки. Иметь такую жену, как Ольга, великое счастье! Чем я заслужил его?

— Bravo, Алеша! — восклицает Полозов. — Я рад, что у тебя с Ольгой все еще в стадии предварительной подготовки. Может быть, так до отъезда протянешь, и бог спасет тебя от беды. Бернард Шоу где-то сказал: «Молодые люди влюбляются и женятся из любопытства, дабы посмотреть, что из этого выйдет». А путного выходит мало. Не веришь Фридриху Ницше, поверь Антону Чехову. Помнишь рассказ «Учитель словесности»? Никитин влюблен в Манечку Шелестову. Он распустил слюни, готов молиться на нее. Она и красивее всех на свете, и умнее, и тому подобное. Манечка его подогревает: туалеты, вздохи, умные разговоры, танцы, музыка. Известные со времен Евы приемы уловления нашего брата. Ключнуло. Повенчались. И тогда поэзию как ветром сдуло. Совместное чтение книг не налаживается. Манечка забросила музыку и пение, ходит в засаленном капоте, целые дни валяется на диване и лопает мармелад. Наступает весна... — Тут Полозов опять склоняется над тетрадь. — Вот что Никитин пишет в своем дневнике: «Где я, боже мой. Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные люди, ничтожные люди, горшечки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины... Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тошкливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума». Чехов — не декадент. Он это семейное счастье насквозь видел. Не обижайся на меня. Я тебе предан до смерти. Ведь мы с тобою на учебу в академию собирались. Женишься, дети пойдут, пеленки появятся, люльки и прочий «уют». До учебы ли? Уж если прав Горький, что от женщины, как от смерти, никуда не уйдешь, то давай условимся: выбирать подругу жизни после того, когда нас произведут в полковники. Ей-ей, мы всегда успеем жениться! Еще во времена оны некий

доморощенный философ писал: «...преимущества война в брачных делах несомненны... Военные всегда пользуются благосклонностью женщин. Усвоенная на службе ловкость располагает к себе в самых скромных кругах. Физические преимущества война, благодаря которым он был принят на службу, дают известный шанс при вступлении в брак. Именно военные получают более красивых и, следовательно, более здоровых жен и составляют потомство». Это в известной мере относится и к нам.

Мартынов перестает улыбаться. Пристально глядит на Полозова.

— Сережа! Ты не понимаешь Чехова. Он твоему философу не попутчик. Чехов сам был женат и счастлив. Он ведь юморист. А юмористы видят в жизни преимущественно темные стороны. И в любви тоже. Насчет твоего философа — просто безобразие. Рассуждаешь, как прапорщик. Вообще, кажется, ты проспал двадцать лет. Не те времена. Люди не те. С чужого голоса поешь, друг. И немного хитришь. Нечего прикрывать плащом Бернарда Шоу гниющую теорию стакана воды.

Полозов, рассерженный, встает и прощается.

— До скорой встречи, Сережа.

Усаживаясь в седло, он бросает Мартынову:

— Все-таки обдумай, что я сказал.

— Ладно, ладно, — кивает Мартынов.

IX

Они встречали восход на горе Богдасан.

Кругом необъятно лежала тайга, освещенная солнцем. Над сопками — прозрачное голубое небо, парящие ястребы, и далеко-далеко, за темными грядками хребтов, синела просторная, бесконечная даль. Уже сказывалось приближение осени: на берегах кое-где проступал желтый лист, поблекли травы, и косачи, как весною, бормотали на утренней заре.

Мартынов чувствует ту внезапную пустоту в сердце и странную тишину вокруг себя, которая всегда охватывает человека наедине с природой. Ольга молча сидит на каменном выступе. Мартынов смотрит на безмолвную тайгу такими глазами, словно ви-

дит ее впервые. «Скоро начнется олений гон, — думает он, — затрубят призывно самцы, разыскивая ланок, вызывая друг друга на бой. Лось, высоко подняв настороженную голову с ветвистыми рогами, наполнит тишину любовной песней. И когда в низине заметит подругу, понесется к ней легкими прыжками, не чуя под собой земли. И эта игра зверей будет продолжаться весь день, пока влажные сумерки не затмят зари, пока не вспыхнут в небе далекие звезды. Горностай, куница, белка и соболь сменяют летние шубки на зимние, приготовятся к холодам и метелям. Какие богатства хранит в своих лесах и недрах тайга!»

Родина! Мартынов здесь познавал и чувствовал ее глубже и острее. Нигде в мире нет и не может быть такой первозданной красоты. Надо осваивать, заселять эти нетронутые места. Защищать от врагов каждый клочок.

Ольга первая поднимается и говорит:

— Идемте.

И они медленно идут козьей тропой.

— А здесь, должно быть, хорошо весною, когда в каждой долине шумит поляя вода, — говорит Мартынов. — И потом, чуть позднее, далеко слышно по утрам бормотанье тетерева и глухариная песня в бору.

— Веснами не бедствуем, — отвечает Ольга, подражая Никите. — Приезжайте в апреле, сходим на ток.

Он встряхивает головою. Лицо его становится грустным и жестким.

— Эх, весна, весна! — говорит он. — До весны еще много воды утечет, Ольга Васильевна.

— На что вы намекаете? Воевать будем?

— Возможно. Вполне возможно. Сроки нам не известны. Однако они надвигаются. Мы не хотим войны. Вы это знаете. Противник может быть очень силен и опасен. Он двинет против нас танки, самолеты, орудия. Будет жаркая битва. Многие из нас не вернутся с полей сражения. Но битву мы выиграем. Россию нельзя победить. Это понимали и Бисмарк, и Клаузевиц. Это испытал на себе Наполеон.

— Если начнется война, я пойду медицинской сестрой, — говорит Оль-

га. — Решила твердо. А при случае и винтовка не выпадет из моих рук.

— Не сомневаюсь, — рассеянно отвечает Мартынов. — Однако пора идти.

Ольга пускает собаку по дну распадка. Из зарослей с треском вылетают вспугнутые Джальмою глухари. Мартынов берет на мушку старых петухов и бьет без промаха.

— Почему не стреляете молодых? — спрашивает Ольга. — Они давно взматерели, да и мясо у них вкуснее.

Он опускает глаза.

— Жалко... Они мало пожили. Ничего не видали. Я представляю себе, как изумляется птица, когда сидит на голой березе и видит первый снег.

Это признание рассмешило девушку.

— Ого, — говорит она. — Что я слышу? Кто-то недавно обвинял меня, грешную, в сентиментальности.

— Совесть заговорила, — отвечает Мартынов. — И потом, я истреблял здесь так много птиц, что стоит призадуматься.

Ольга подзывает Джальму, и они, сворачивая с тропы, идут по росистой траве.

Здесь поразительное разнообразие деревьев. Лиственные породы полосами пересекают ельник и кедрач. Попадают кедры в пятьдесят метров вышиною. Стволы этих таежных гигантов в сажень диаметром. Каждое дерево оплетено диким виноградом. И даже виноградная лоза достигает чудовищных размеров: толщиной в ногу человека. И такое множество птиц в лесу!

За эти дни Ольга многому научила Мартынова. До приезда в Валуй он не мог отличить клен от ясеня, славку от пеночки. Теперь он безошибочно определяет граб, тик, ольху, бересклет, грушу, черемуху, крушину, рябину, бузину, бархатное дерево, аралию. Время от времени Ольга останавливается и спрашивает:

— А ну-ка, что это за птица, товарищ лейтенант?

— Мухоловка, — отвечает он.

— А вон справа?

— Королек.

Так, шутя и пересмеиваясь, они по очереди показывают пальцами на клеста, камышовку, стрепетку, чекана, щеврицу, козодоя, иволгу.

— А сейчас опустим глаза долу и ответим, как называется вот этот голубой цветок, — говорит Ольга.

— Колокольчик, — неуверенно отвечает Мартынов.

— Не угадали, давайте постоим, подумаем.

— Ольга Васильевна, пощадите, — просит он. — У меня ж голова распухла от названий. Вам из меня натуралиста все равно не сделать. Я бесконечно благодарен за все, что узнал с вашей помощью. Но ботанику оставим до следующего раза.

— Нельзя, нельзя, — говорит она. — Человек мнет сапогами цветы и не хочет знать, как они называются. Вы ужасно ленивы и нелюбопытны. Ну, ка, поворожайте немного мозгами.

— Незабудка! — с отчаянием выкрикивает он.

— О, господи! — восклицает она, захлебываясь от смеха. — Он способен уморить! Да где видали вы такую незабудку?

И оба смеются.

Меж стволов сосен мелькнула полоска воды. Они спускаются к реке, садятся в лодку. На том берегу их встречает Кузьма.

— С полем, охотнички!

Мартынов здоровается с Кузьмой, угощает его папиросой. Старик спрашивает, что делается в тайге, много ли выводков.

Ольга одна поднимается по тропе к школе.

— До завтра! — кричит ей Мартынов.

— До завтра! — отвечает она.

Придя домой, Ольга садится за стол и пишет письмо Лидии Шахматовой, подруге по техникуму:

«Дорогая Лидуся!

У нас гость. Лейтенант Алексей Павлович Мартынов. Весьма приятный юноша. Ходим на охоту. Спорим, болтаем. Правда, в первый день юноша показал себя неважным охотником. Пропуделял по сохатому. Пришлось мне добывать зверя пальмой. Что касается охоты по перу, тут он, прямо скажу, молодец! Молниеносная вскидка и отличный глазомер. Позавидовать можно. Не глуп, скромен. Вообще приятный парень.

Почему так редко и мало пишешь? Нет ли новинок по педагогике? Как проводишь каникулы?

Взяла бы ружьецо, да прикатила ко мне. Славно постреляем. Глухаряных выводков много.

Твоя Ольга».

Вечером Платон Михайлович вызывает Прасковью Ивановну в правление колхоза.

— Неладно дело, старуха, — говорит он, строго покашливая. — Ты у меня гляди, посматривай. С тебя спрос будет.

— Что такое? — спрашивает она. — Что ты стращать вздумал?

— Что, что, — передразнивает он. — Не прикидывайся дурочкой. Какой человек Мартынов, мы знаем? Ежели, баловства ради, улестит и обманет Ольгу — деревне обида. Ну, а коли по-серьезному, да увезет с собой — опять беда. Когда еще новую учительницу пришлют. Да и такой, как Ольга, нам отродясь не видать. Поняла?

— А я тут при чем? — растерянно произносит сторожика. — Они моего разрешения не просят. Они...

— Не вилай хвостом-то, сваха, — сердито перебивает председатель. — Поменьше приваживай его. На Ольгу воздействуй. Знаешь, молодо-зелено. Ошибиться недолго. Пугни ее по женской части.

Прасковья поджимает губы.

— Ты сам поговори с ней.

— Нельзя мне. Я личность официальная. Тебе поручаю. Слышишь?

Прасковья уходит, громко хлопнув дверью.

— Вот еще новость, — бормочет Платон Михайлович. — Чорт его нанес, лейтенанта. Увезет девку, как пить дать...

Х

В первые дни колхозники относились к Мартынову очень хорошо. Всюду встречали приветливыми улыбками. Стоило присесть на завалинку около избы, открывалось окно:

— Товарищ дорогой! Да что тут сидишь? Заходи в горницу.

И отказаться нельзя. Его угощали ватрушками, капустными пирогами, малиной с молоком, яичницей. Однажды он достал бумажник, хотел уплатить за угощение. Как это обидело хозяев! Пожилая колхозница и беззубая бабка с ожесточением замахались руками:

— Что ты, что ты, родимый! Защита наша! Границу стережешь, а мы с тебя деньги брать будем? Думать этого не смей!

Он смутился и спрятал бумажник.

В каждом доме он был желанным гостем. Теперь наступила какая-то перемена. Платон Михайлович вдруг перестал интересоваться международным положением. Не зовет в клуб делать доклады, вообще старается не попадаться на глаза. Открыто никто не намекает, в чем дело, но Мартынову кажется: все сторонится его, избегают разговоров с ним, холодно здороваются. Он в недоумении. Где причина этой неприязни? Чем он вызвал всеобщее презрение? Может быть, он допустил бестактность? Он напрягает память, анализирует свои поступки. Нет, он ничего дурного не совершил за эти недели.

Он заходит в школу. Ольги нет дома. Сторожиха принимает его недружелюбно.

— Скоро у тебя, командир, отпуск-то кончается?

— А что? — спрашивает он. — Надоел кому?

Она меряет его с ног до головы суждающим взглядом.

— Надоест не надоел, а пора тебе уезжать.

— Почему такая немилость?

— Уж больно ты увиваешься за Ольгой, — простодушно говорит она. — Народ все видит, все слышит.

— Да им-то что? Тоже, опекуны!

— Стало быть, есть забота, — невозмутимо отвечает Прасковья Ивановна. — Люди косо поглядывают. Мне из-за вас попало. Ты, говорят, чего смотришь? Понял?

— Понял, — усмехнулся Мартынов. — Только зря все это болтают. Я вижу в Ольге Васильевне товарища.

Прасковья морщит лоб.

— Знаем вас, товарищей! Я, батюшка, сама была молодая. Ты мне зубы не заговаривай. Что тебе, девок мало? Поезжай в город и женись. Молодой, пригожий. Всякая с радостью пойдет.

Он стал оправдываться. Не дослушав его, Прасковья Ивановна уходит в сад.

Мартынов стоит, охваченный беспокойством.

— Ну и дела, — бормочет он, — ти и дела!

Ольга уехала на районную учительскую конференцию.

Мартынов скучает. В избе пусто. Никита и Наталья на рассвете уходя из дому, возвращаются поздно вечером. На полях идет уборка овса и гречихи. Мартынову хочется поработать в поле. Его никто не приглашает.

«Ревнуют к Ольге, — думает он с горечью, вспоминая недавний разговор с Прасковьей Ивановной. — Я их понимаю, да ведь мне от этого не легче».

Только старик Кузьма относится к нему попрежнему с дружеским вниманием, словно его не касается то, что волнует всю деревню. Шаркая по земле калошами, он подходит к окну и кричит хриплым голосом:

— Эй, служба! Пойдем рыбу ловить!

Они берут удочки, ведро, спускаются к заводу. Старик выбрасывает в воду подкормку, насаживает червя на крючок и далеко забрасывает удочку. Поплавок гулко ударяется о поверхность воды, и от него лениво расходятся большие круги. Клев неважный. Однако это не смущает рыбаков. Оба сидят на берегу, чтобы скоротать время. Мартынов с тупым безразличием смотрит на свой поплавок. Вода голубая и прозрачная. Сквозь нее просвечивает желтоватая галька, виднеется глинистое дно. За рекою в утренней дымке зеленеет тайга. Мартынов видит горы, чистое, словно задремавшее, небо над ними, и ему во всем чудится безнадежная грусть осени. Над заводью снуют стрижи. Солнце мягко пригревает камни, и по-весеннему дрожит тонкий парок над землею.

Кузьма рассказывает о старине. Он начинает шопотом, чтобы не пугать рыбу, но, увлекаясь воспоминаниями, гудит все громче и громче:

— Я те, скажу, мил человек, хлебнули горя первые поселенцы на Дальнем Востоке. Теперь что? Едут колхозники из Тамбова или Рязани, им и думать не о чем. Для них и дома построены, и конюшни, и амбары. Им ссуды, кредиты. А раньше все своим горбом наживали. Отведут, бывало, делянку: своди тайгу, стройся, как хошь!

Мартынов с усилием слушает и многого не понимает. Мысли заняты другим. Кузьма вдруг откидывает го-

лову, рывком дергает удилице. Серебристый жариус, сверкая в воздухе чешуей, падает к ногам рыболовов. Старик сажает его на кукан и, довольный, посмеиваясь, снова закидывает удочку. Мартынов не успевает во время подсекать. Рыба срывается.

— Ты что, брат, квелый такой? — спрашивает старик. — Куда это годится? Опять прозевал поклевку. Военный человек должен быть везде аккуратным. И глаза у тебя красные. Нездоров или что?

Мартынов растерянно бормочет:

— Я ничего. Солнце, вода. Размечтался.

— Мечтать можно дома, — наставляет Кузьма. — А вышел на ловлю — лови. Поди-ко, рыба смеется над нами. Вот, мол, пентюхи сидят, рты разинули. Нехорошо, брат!

Потом они, тут же у воды, жгут костер, варят уху и обедают.

— На Хасане дрался? — спрашивает Кузьма.

— Дрался.

— Ну, как? Не посрамил себя?

— Нет.

— Это хорошо, — хвалит старик. — Интервентам спуску давать не следует. Я насмотрелся на них в девятнадцатом году. Охальный народишко, зверской. Пришли к нам, давай все заметать вистую: кур, гусей, овец, меха. Скобы-железные у дверей отдирали да увозили. А сказать ничего нельзя. Прикладом в зубы или расстрел. Ну, мы им тоже наклали порядком. Ушли в сопки. Я и то партизанил. Подстережем отряд в тайге, окружим: «Стой, канальи! Русскую землю заглотать хотели. На, получай три аршина!» Мы в плен их, гадов, нипочем не брали. А когда Красная Армия из-за Байкала двинулась в Приморье, тут мы им дали жару. Куда ни сунутся, везде под огонь попадают. До океана гнали. Офицеришки всю амуницию побросали. Ну, ежели мы тогда им не дались, теперь нас никому не взять. Верно?

— Верно, дед, — отвечает Мартынов. — Зубы ломают.

Кузьма перебирается в тень, к корневичу осокоря, ставит калоши на камень вверх подошвами, чтобы не намочил внезапно налетевший дождь, подкладывает под голову куртку, растягивается на галечнике вздремнуть и говорит Мартынову:

— Ты, молодой, спать не будешь. Карауль обутки. Ребятишки — чистые бесенята. На-днях спрятали мои калоши под крыльцо. Уж я искал, искал...

Мартынов раздевается и прыгает с разбега в заводь. Вода не очень теплая, но он долго плавает и ныряет. Потом, освеженный купаньем, сидит возле спящего старика и думает о встрече с Ольгой. Влажный ветер покачивает над ним осокорь. Вода блестит под солнцем, как расплавленный металл. Чайки низко проносятся над рекою, припадают к воде, поднимая сверкающие брызги. Воздух становится пепельно-сизым. От воды тянет прохладой. Наступает вечер. Кузьма просыпается, налаживает удочки. После заката, когда над тайгой появляется мутно-бледная луна, они идут домой.

— Хорошо денек провели старый да малый, — шутит Кузьма. — Утром опять пойдем.

А Мартынов думает: «Неужели завтра она не придет?»

По ночам ему не спится. Он лежит под шинелью в сарае, ворочаясь с боку на бок. Выходит на улицу, слушает, как шумит вода под обрывом, смотрит в звездное небо. И, полный огромного беспокойства и непонятной радости, спрашивает себя: «Неужели это и есть любовь?»

На улице он встречает Джальму. Она ласкается к нему. Он гладит собаку по голове. Это ее собака. К ней прикасались ее руки...

Ольга вернулась в пятницу, поздно вечером.

Он идет в школу: «Объяснюсь, все скажу». Прасковья Ивановна выходит, они остаются в комнате вдвоем. Но тут на Мартынова нападает робость. Все заранее приготовленные слова спутались в какой-то клубок. Он боится показаться высокопарным, смешным и не решается начать. Они садятся ужинать. Ольга рассказывает о том, как выступала на конференции, о впечатлениях от поездки. Он слушает рассеянно. Курит, отодвинув тарелку с жареным мясом.

— Вы сегодня не в духе, — замечает Ольга. — Какой-то усталый, помятый. Что с вами?

Он комкает недокуренную папиросу.

— Ольга Васильевна, — голос его срывается. — Как вы посмотрите, если вам предложат переехать на заставу?

Она делает вид, что не понимает. Склонила голову. Дрогнули ямочки на щеках.

— Вот новость! Кто приглашает? В качестве кого?

— Ну... Один хороший парень, в качестве... боевой подруги.

— Я бы этому хорошему парню сказала: он слишком торопится, ему надо подумать, проверить себя.

Мартынов, сдерживая волнение, ходит по комнате.

— Вы отказываетесь?

— Да, — отвечает она.

Несколько секунд он молчит с перекосенными от боли губами. Потом стремительно выбегает на улицу.

Прасковья Ивановна, подслушивавшая разговор из кухни, распахивает дверь, подходит к Ольге.

— Выставила ухажера-то? — говорит она, забавно подмигивая. — Так ему и надо! А то ходит и ходит за тобой, как привязанный.

— Ничего ты не понимаешь, Ивановна, — резко отвечает Ольга. — Он действительно хороший парень, и мне...

— Они все до свадьбы ласковые, — перебивает Прасковья. — Шелком под ногами стелются. А вступит в законный брак, он покажет свое обличье.

— Оставь меня! — просит Ольга.

— Не оставлю, — возвышает голос Прасковья. — Выслушай старуху. Мужикам верить ни на вот столько нельзя. Ихняя порода известна.

Улыбаясь, Ольга подталкивает ее к двери.

— Ну, ладно, ладно. Я согласна. Иди к себе. Я хочу спать.

Старуха уходит.

Ольга долго сидит за столом, подперев голову руками. Встает, подходит к зеркалу, рассматривает свое побледневшее лицо и говорит:

— Ну, что же мне делать?

XI

На рассвете Ольга берет ружье и одна уходит в тайгу. Мартынов сегодня все равно не зайдет, и потом ей надо кое-что обдумать наедине с собою. Она спускается в Гремучую долину и медленно шагает по влажной от росы траве. Там, на вершинах гор, уже солнце, а здесь, в густом кедровнике низины, еще ночной полумрак, утренняя тишина и освежающий холо-

док. Из-под ног, взрывая тишину хлопьями крыльев, взлетают глухари. Ольга останавливается на секунду, провожает птиц безучастным взглядом и, не снимая ружья с плеч, идет дальше. В лесу легче думать.

Случилось то, чего Ольга не ожидала: пришла любовь. На конференции она все время думала о Мартынове, вспоминала его слова, походку, голос. Ею овладело беспокойство: вдруг он уедет, не дождавшись ее, и они не увидятся? Приехала домой. Он объяснился, и она отказала ему. Он ушел обиженный. Думалось, конечно все, а вот не кончено. После бессонной ночи ясно, что потерять его — большое горе для нее. Значит, принять предложение? Но... сколько всяких «но»!

Все, что она имеет, ей дал колхоз. Он поставил ее на ноги, сделал человеком. Было бы свинством бросить школу по личным мотивам. Ее здесь страшно любят. Никто представить себе не может, что она вдруг исчезнет. Алексея возненавидели, когда почувствовали, что у них назревает серьезная привязанность. Прасковья дважды выгоняла его из школы: «Нету Ольги Васильевны дома и делать вам тут нечего». А Ольга сидела в комнате. Он видел ее в окно, когда поднимался по ступенькам. За ними подглядывают десятки глаз. И это вовсе не пошлое любопытство. Нет, нет. Они боятся ее потерять. Да и сама она боится. Как тронуться с места, когда все здесь близкое и родное? На двадцать километров кругом она знает каждую тропку, деревцо, кустик. А ребяташки, эти смышленные цыплята? Легко их оставить? Когда пришлют смену? А что если приедет равнодушная учительница и развалит школу? А сад, огород? Как передать это в неизвестные руки? Последнее время она занималась генетикой, агрономией. Изучала Тимирязева, Мичурина, Лысенко. С будущего лета хотела начать опыты по акклиматизации новых сортов яблонь, вишен, крыжовника. Это важно для школы и для колхоза. Подготовлен участок. Заинтересуется ли этим смена? Справится ли?

Она садится на поваленное ветром дерево и долго сидит, взвешивая свою судьбу. Солнце заливает Гремучую долину осенним теплом. Воздух недвижим. Дымятся муравьиные кочки. На

березах посвистывают рябки. Скоро полдень. Пора возвращаться домой. Опустив голову, рассеянно оглядывая кусты и деревья, Ольга выходит на тропу.

У школы ее встречает высокая белокурая девушка в зеленом плаще, с чемоданчиком в руках. Это Лидия Шахматова.

— Не утерпела, — торопливо выкрикивает она, целуя Ольгу в щеку и в губы. — Приехала тебя навестить, половить рыбу. До начала занятий еще пять дней. Отведем душу!

— Если бы ты знала, как я рада тебе, — говорит Ольга.

Они проходят в школьный сад. Там, на крохотном столике, Прасковья Ивановна собирает для них завтрак. Они говорят о том, что предстоит им делать зимою, как отдыхали летом.

— Ну, а как поживает твой юноша? — спрашивает Лидия. — Не уехал еще?

Ольга рассказывает ей все.

— Олечка, об одном прошу: не топчись, дорогая, — советует Лидия. — Замужество — серьезная штука. Ошибешься, исправить нелегко. Первые впечатления обманчивы. Бывает, понравится человек до того, что голова кружится и под ложечкой сосет, а узнаешь поближе: не то, не то. И тогда подумаешь: чуть-чуть не поскользнулась. В прошлом году я читала английский роман. Героиня, умная девушка, говорит: «Никогда не выйду замуж за человека, которого слишком люблю. Это дало бы ему страшное преимущество передо мною, и я оказалась бы совершенно в его власти». По-моему, доля правды в этом есть. Конечно, нельзя выходить замуж, если не любишь вовсе. Но и сильная любовь опасна для нашей сестры. Еще далеко не все мужчины расстались с прошлым. Посмотришь на иного: отличный работник, партиец, безупречный гражданин, — а к жене относится, как управдел к машинистке: сделай то, подай это. Замучит изнуряющей кухонной работой, а потом сам удивляется: у меня жена отсталая, с ней поговорить не о чем. И старается найти «дополнительную» особу для умных разговоров.

— Бывает, — неопределенно говорит Ольга. — Мартынов не из этих. Я спокойна за него.

— Тогда в чем дело?

Молчание.

— Но, если отвлекусь от некоторых соображений, твои доводы «против» ужасно смешны, — продолжает Лидия. — Верю: колхозники тебя любят и ты их любишь. Однако к чему жертвенность? Ты убеждена, что тебя никому заменить? Ну, знаешь ли... не таким, как мы с тобою, находят замену. Я сама пойду в облоно хлопотать насчет кандидатуры. Выцарапаю лучшего педагога. Дадут. Обязаны дать!

— Ты уверена? — переспрашивает Ольга. — Не знаю, не знаю. У меня ум за разом заходит. Однажды я прочла где-то не лишенные остроумия строчки: «Так как воображение молодой девушки не охлаждено никаким неприятным опытом, огонь ранней юности в полном разгаре, и она создает восхитительный образ из первого попавшегося человека. Встречая своего возлюбленного, она неизменно будет восторгаться не тем, что он представляет на самом деле, а тем отвлеченным образом, который она создала в мечтах». Это наблюдение смущает и отпугивает меня. Начинаю отыскивать в Мартынове недостатки и пороки. Мучаюсь, нервничаю. Меня охватывает какой-то чисто детский страх... А в общем, во мне происходит, повидимому, то самое, что Стендаль называет кристаллизацией любви.

— Валяй, кристаллизуйся, — говорит Лидия. — Но, матушка, не мудрствуй лукаво, не усложняй «проблему».

— Как это — не усложняй? — естественно скривив рот, выкрикивает Ольга. — Что мне делать на заставе? Разве могу я, с моим характером, сидеть сложа руки? Жить славою своего мужа, стать экономкой — благодарю покорно! Взгляни, какие у меня здесь яблони...

— О, боже мой, — смеется Лидия. — Раздвоилась девушка: яблони или Мартынов? Что же ты, из-за привязанности к яблоням вековойю оstarся хочешь? Да ведь он тебя не в Сахару приглашает. Яблони и вишни с таким же успехом будешь разводить на заставе. И тебе вовсе не придется быть экономкой. Там культработы — непочтый край. Организуй спектакли, самодельные концерты, лекции. Стань душою этого дела. Поднимать культуру бойца — не менее почетная задача, нежели работать в деревенской школе. Объясни, пожалуйста, это кол-

хозникам: поймут, согласятся. Мерию должна быть глубина и сила чувства. Конечно, если ты не любишь Мартынова, толковать не о чем... А ежели наоборот — решай, не оглядываясь на Прасковью Ивановну и Платона Михайловича.

— Нет, нет, — качает головою Ольга. — Это не так просто, как тебе кажется, Лидуша. Мы не имеем тех препятствий, которые стояли на пути Евгении Гранде, Консуэло или Анны Карениной. Трагедии этих женщин неповторимы сегодня, и в этом наше счастье. Но возникают новые препятствия, неведомые девушкам прошлого. Как их миновать, преодолеть? Ты сплеча рубишь топором, и тебе все трьян-трава! Я не могу так, не могу!

Лидия наклоняется к ней, ласково треплет рукою ее волосы.

— Глупая девчина! Ой, какая ты глупая!

ХИ

Никита приторочил багаж, подтянул подруги.

— Счастливым путем, командир! Приезжай на будущий год. Товарищей привози.

Он обнимает Мартынова, целует в подбородок. Потом Мартынов целуется с Кузьмою, который тоже явился на проводы в начищенных ваксою калошах. Мартынов медлит, поглядывая в сторону школы: не покажется ли в проулке Ольга. Ее нет. Она не сочла нужным даже проститься с ним.

«Гордячка, — думает он. — Увязла в Гегеле, не видит жизни. Ну, я тебе не нравлюсь. Ну, не хочешь быть моей женою, твое право. А зачем расставаться врагами?»

Он берет в левую руку поводья, совывает ногу в стремя и легко садится в седло. Жеребец пляшет под ним, всхрапывая и кося глазом на Никиту.

— Благодарю за все, — говорит Мартынов. — Бывайте здоровы!

Он шагом едет вдоль улицы, озаренный нежарким солнцем. Воздух чист и тепел. Дует низовой ветер, и чуть слышно плещется под каменистым обрывом река. Мартынов еще раз оглянулся на школу. Прасковья Ивановна, сложив на животе свои огромные, мужские руки, стоит возле крыльца. Ему показалось, что старуха

злорадно усмехается. Он с досады дает шенкеля и вытягивает плетью жеребца. Конь, вздрагивая от боли и возмущения, закусывает удила и рысью летит вдоль улицы.

За деревнею, в поле, Мартынов видит Ольгу. Она рвет возле канавы шалфей. Он подъезжает к ней, театрально берет под козырек.

— Приветствую вас.

— Лечебные травы собираю, — говорит Ольга и неожиданно краснеет, как ребенок, уличенный в дурном поступке. — Зимой пригодятся. Вы всем покидаете нас?

— Совсем, — отвечает он, сдерживая разгоряченного жеребца. — До свиданья!

— До скорой встречи! Пишите.

— Отвечать будете?

— Да, — тихо произносит она.

Он окидывает ее радостно-изумленным взглядом.

Молчание.

Потом, через голову девушки, Мартынов смотрит в заречные дали. Зеленая с желтыми пятнами тайга, голубые скаты гор и широкий плес, на котором плавают утки, — все сверкает и сияет перед его глазами. И это сияние погожего дня дает ощущение легкости, юношеской свежести.

— Возможно, в зимние каникулы я приеду сама, — почти шопотом, с большим напряжением, говорит Ольга. — Посмотрю, как вы там живете. Не забудьте приготовить пропуск.

— Какой разговор. Все сделаю. А вы скрипку привезете с собой?

— Может быть.

— И сыграете моим бойцам «Дальневосточную рапсодию»?

— Сыграю, сыграю, если не начнется война и ничего не изменится.

— Ну, а начнется?

— Запишите меня в санбат сестрой. Вместе воевать будем.

— Есть записать сестрой!

Молчание.

Оба растерянно смотрят друг на друга.

— Ольга Васильевна, — восклицает он, приподнимаясь на стременах. — До каникул четыре месяца! Нельзя ли пораньше?

Она улыбается и грозит пальцем.

Ему хочется спрыгнуть с седла, прижать Ольгу к своей груди, поцеловать в глаза, в губы и сказать ей,

как она ему близка и что он будет ждать и помнить о ней каждый час.

Но в это время на холме за школьным садом мелькнула розовая кофта Прасковьи Ивановны. Сторожиха остановилась и разглядывает их из-под руки.

Мартынов шопотом ругается, натягивает поводья. Жеребец рванулся галопом, и пыль за клубилась на дороге.

Ольга стоит у канавы. В ушах, постепенно замирая, отдается дробный цокот. Всадник становится меньше и

меньше и, наконец, тает в солнечном блеске.

Как много хотела она сказать! И ничего не сказала. Точно на экзаменах, трепетало в испуге сердце, сдвинуло грудь, забылись приготовленные слова.

— Экое бревно, — шепчет девушка. — Экий увалень. Ну, хоть бы на минутку слез, хоть бы в щеку поцеловал!

Пальцы ее разжались, и пучок шалфея упал в придорожную пыль.



И. ПРОЧКО

Бригадный комиссар

Советская артиллерия в отечественной войне

1

В огне великой отечественной войны растут и закаляются кадры Красной Армии. Лучшее тому доказательство — десятки соединений и частей различных родов войск, вписавших славные страницы в историю борьбы с немецкими захватчиками и удостоенных звания гвардейских. В ряду советских гвардейских частей артиллеристы занимают почетное место.

Немецкие захватчики знают, что такое советская гвардейская артиллерия. Это — всеокрушающий артиллерийский огонь, наводящий ужас на гитлеровских солдат и офицеров. Это — тысячи разбитых, развороченных танков и автомашин. Это — разрушенные укрепления. Это — десятки и сотни тысяч трупов фашистских солдат и офицеров, нашедших бесславный конец в нашей советской земле.

Нашим мужественным артиллеристам, их роли в великой отечественной войне и посвящены эти страницы.

2

Современная война — это война моторов. На полях сражений, на земле и в воздухе, участвует огромное количество боевых машин.

Уже конец первой империалистической войны характеризовался участием в военных операциях большого количества боевых самолетов и появлением

нового вида оружия — танков. Достаточно сказать, что в августе 1918 г. Германия имела в строю 2730 боевых самолетов, а Франция в ноябре 1918 г. — 3321 самолет.

С того периода прошло уже около 25 лет. Развитие военной техники далеко шагнуло вперед. Такие средства борьбы, как самолеты и танки, неизмеримо выросли в количественном отношении и значительно изменились качественно.

Современная авиация и танки внесли много нового в характер боевых операций. Но было бы неправильно считать, что дальнейшее развитие авиации и танков хотя бы в малейшей степени снижает роль артиллерии в современной войне. Наоборот, именно в связи с таким развитием авиации и танков роль артиллерии неизмеримо выросла.

Простое перечисление цифр, показывающих количество применяемой в боях артиллерии, доказывает повышенные роли артиллерии в современной войне.

В 1935 г. фашистская Италия напала на почти беззащитную Абиссинию. Было известно, что абиссинская армия совершенно не имеет боевой авиации и танков и располагает всего несколькими десятками орудий. И тем не менее итальянское командование сосредоточило на абиссинском театре военных действий около 800 орудий различных калибров.

Во время гражданской войны и интервенции в Испании в 1936—1939 гг. количество артиллерии в боевых операциях также было велико. Во время каталонской операции мятежники и интервенты применили против республиканцев 956 орудий. А в арагонской операции (март—апрель 1938 г.) мятежники и интервенты имели 1800 орудий.

И еще один пример. Япония начала войну в Китае в 1937 г., имея всего около 100 орудий на театре военных действий. К концу 1937 г. количество действующих орудий японской армии увеличилось во много раз. А к середине 1940 г. японская армия располагала еще большим количеством орудий.

Чем же объясняется все возрастающее значение артиллерии в современной войне?

Прежде всего следует иметь в виду, что современные военно-инженерные средства дают возможность в самые короткие сроки создавать довольно сильные укрепления, узлы сопротивления, преодоление которых представляет большие трудности. Пехота, даже оснащенная большим количеством автоматического оружия, без артиллерийской поддержки не в состоянии преодолеть эти укрепления.

Чтобы разрушить полевые укрепления, ДЗОТы, здания, приспособленные для обороны, нужны артиллерия различных калибров и большое количество боеприпасов. Только мощный артиллерийский огонь в состоянии разрушить все эти препятствия и обеспечить пехоте продвижение вперед.

Танки решают большие задачи. Но они не заменяют артиллерию. Наоборот, сами танки нуждаются в непрерывной поддержке артиллерии. Для успешного действия танков необходимо, чтобы артиллерия подавила все противотанковые средства противника. Иначе танки будут нести большие потери.

Более того, развитие танков вызвало появление противотанковой артиллерии, которая в современной войне играет исключительно большую роль. Противотанковая артиллерия является наиболее действенным средством борьбы с танками. Никакая танковая атака не страшна, если имеется достаточное количество противотанковой артилле-

рии и противотанковые пушки находятся в надежных руках.

Точно так же и авиация не заменяет артиллерию в бою, а дополняет ее. Наибольший эффект в разрушении укреплений противника и в уничтожении его живой силы достигается тогда, когда обеспечено четкое взаимодействие артиллерии и авиации.

Наконец артиллерия же является грозным врагом авиации. Специальные зенитные орудия служат для отражения налетов авиации, для уничтожения самолетов противника в воздухе. О том, что огонь зенитной артиллерии по самолетам противника может быть особенно эффективным, говорит такой пример: во время налета фашистской авиации на Ленинград 4 апреля 1942 г. славными зенитчиками города Ленина было сбито 13 фашистских самолетов и несколько самолетов повреждено.

Таково значение артиллерии в современных операциях. Следует подчеркнуть, что техническое развитие современной артиллерии, ее материальная часть и приборы управления огнем находятся на очень высоком уровне и полностью обеспечивают решение самых сложных огневых задач.

Артиллерия, как род войск, — весьма сложный и многогранный военный организм. Кроме орудий, этот организм включает в себя средства тяги, боеприпасы, различные приборы, средства связи и др. Сила артиллерии в ее огне. Чтобы подчинить воле человека могущественные орудия и полностью обеспечить артиллерию принадлежащее ей по ее особенностям большое место в современной войне, нужно обладать всесторонней подготовкой — знать математику, физику, механику, баллистику, уметь точно ориентироваться в местности, быстро производить необходимые расчеты, уметь хорошо наблюдать.

Эти качества приобретаются в процессе учебы — необходима систематическая работа по расширению своего артиллерийского образования, непрерывное совершенствование каждого бойца и командира. Именно такими кадрами обладает наша советская артиллерия.

Роль и значение артиллерии в современной войне с предельной ясностью выражены товарищем Сталиным: «Артиллерия — это бог войны».

Наша советская артиллерия молодая, как молодая и вся Красная Армия. Ее история исчисляется двумя с половиной десятилетиями лет. Но ее боевые традиции, ее слава так же велики и героичны, как велик и героичен весь наш народ, его прошлое и настоящее.

В великих битвах русского народа против татарского нашествия, против немецких псов-рыцарей, против шведов и наполеоновской армии росла боевая слава русского оружия. Носителями этой славы был наш народ и его гениальные полководцы: Александр Невский и Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и Михаил Кутузов.

Славу русского оружия наравне с неустранимой пехотой и лихой конницей делила и наша могучая артиллерия. Можно без преувеличения сказать, что русская артиллерия в смысле своего технического развития, мастерства стрельбы, героизма и отваги личного состава почти всегда занимала первое место в европейских армиях.

Вспомним знаменитый Полтавский бой. В этом бою русская артиллерия, реорганизованная и воспитанная талантливым полководцем, великим государственным деятелем Петром I, сыграла решающую роль в обеспечении победы над шведами. Гениальный Пушкин, с присущей ему способностью обрисовывать явления самыми главными, характеристическими чертами, воссоздал действия русской артиллерии в знаменитой Полтавской битве:

...Бросая пруды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят...

Непосредственный участник Полтавской битвы, принц Вюртембергский, взятый в этом бою русскими в плен, так писал о действиях русской артиллерии:

«Шведская пехота с новым чрезвычайным одушевлением пошла в атаку, но была остановлена русской артиллерией, которая, громя с фронта, валила целые ряды и производила страшное опустошение. Бой закишел с ожесточением, но в шведских войсках распространились везде смятение и беспорядок. Карл XII истощал свои усилия, чтобы устроить войско, но тщетно; лошади под его носилками были уби-

ты русскими ядрами, он велел запрячь других, но и тех не пощадила русская артиллерия. Носилки были разбиты вдребезги, и сам он был опрокинут...»

Это беспристрастное свидетельство врага является лучшей похвалой действиям русской артиллерии в Полтавском бою.

Минуло полсотни лет после Полтавского боя, и сокрушительные удары русской артиллерии испытали на себе «непобедимые» войска прусского короля Фридриха II. Мы можем напомнить современным фашистам, забывающим уроки истории, что в 1758 г. русская артиллерия превратила в груды развалин сильную прусскую крепость Кюстрин.

Военная история не забудет также поражение, нанесенное русскими войсками Фридриху II под Кунерсдорфом в 1759 г. Когда в критическую для прусской армии минуту Фридрих II решил бросить в атаку свой последний резерв — прославленную конницу Зейдлица, русская артиллерия встретила ее картечью, и атака была отбита.

Сражение под Кунерсдорфом закончилось полнейшим разгромом прусской армии. 165 орудий Фридриха II были брошены на поле боя. Оценивая действия русской артиллерии в этом сражении, командующий войсками генерал Салтыков писал:

«Весь артиллерийский корпус заслуживает, чтобы особое я подал свидетельство как ужасному действию орудий, так и искусству и ревности действовавших оными...»

Напомним еще германским фашистам и о том, как в 1760 г. русская артиллерия громила прусские войска под Берлином и способствовала занятию прусской столицы.

Героические действия русской артиллерии неразрывно связаны с боевой деятельностью таких полководцев, как Суворов и Кутузов.

Суворов глубоко понимал значение артиллерийского огня для обеспечения атаки пехоты, которую рекомендовал заканчивать штыковым ударом. Задачу артиллерии Суворов определял коротко: «Крестные огни открывают пехоте победу...»

Во время беспримерного штурма крепости Измаил он умело использовал свою артиллерию, огонь которой был весьма эффективным.

Незабываемые страницы вписала в военную историю русская артиллерия во время отечественной войны 1812 г. В великом сражении этой войны, Бородинском бою, русская артиллерия истребила не одну тысячу французских солдат и офицеров. Начальник русской артиллерии граф Кутайсов отдал приказ артиллерии, в котором писал:

«Подтвердить от меня во всех ротах, чтобы они с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем гг. офицерам, что, отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустить в упор, и батарея, которая, таким образом, будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий...»

Сам граф Кутайсов в Бородинском бою погиб смертью храбрых, но его приказ русские артиллеристы выполнили с честью. Много было эпизодов, когда русские артиллеристы, презирая смерть, до последнего снаряда боролись с врагом. Не случайно Л. Н. Толстой в своем романе «Война и мир», описывая Бородинское сражение, много волнующих строк посвятил действиям артиллерии.

Имена русских артиллеристов, героев Бородинского боя — Ермолова, Кутайсова, Козена, Никитина, Захарова и др., навсегда вошли в историю русской артиллерии как символ беззаветной храбрости, мужества и отваги.

Даже враги вынуждены были признать блестящие действия русской артиллерии в Бородинском бою. Участник Бородинского сражения капитан французской артиллерии Шамбре в своих воспоминаниях писал, что когда на второй день Бородинского сражения Наполеон осматривал поле боя, то находил, что подавляющее большинство убитых было поражено огнем артиллерии.

Наконец и в войне 1914—1918 гг. русская артиллерия неоднократно показывала высокие образцы боевой деятельности.

Перед началом войны германский генеральный штаб невысоко оценивал состояние русской армии. Но русской

артиллерии он вынужден был отдать должное. Один из видных представителей старого германского генерального штаба, Ганс Куль, давая оценку русской армии, писал: «На первом месте в смысле боевой подготовки мы ставили артиллерию».

Впоследствии немцы на своей шкуре испытали высокое мастерство русских артиллеристов. Особенно замечательным было участие русской артиллерии в знаменитом брусиловском прорыве.

Начальник германского генерального штаба генерал Фалькенгайн так отзывался о брусиловском прорыве: «Как гром среди ясного дня, разразился этот прорыв». Добавим от себя, что «громом среди ясного дня» в первую очередь были сокрушительные удары русской артиллерии.

Таковы героические дела русской артиллерии на протяжении нескольких столетий. На этих славных традициях и воспитывалась артиллерия Красной Армии.

Наша советская артиллерия не только восприняла эти традиции, но и значительно их приумножила. В борьбе с многочисленными врагами нашей родины, в огне гражданской войны росли и крепились части молодой артиллерии Красной Армии. Героическая оборона Петрограда в 1919 г., оборона Царицына, Перекоп — все это славные вехи в боевой истории Красной Армии, в том числе советской артиллерии.

4

22 июня 1941 года... На рассвете по всей нашей западной границе загрохотали выстрелы. Фашистская Германия, вероломно нарушив договор о дружбе, напала на Советский Союз. Началась великая отечественная война советского народа с немецкими захватчиками.

К нападению на Советский Союз гитлеровская Германия готовилась долго и тщательно. К нашим границам было подтянуто 170 отобюроузованных и хорошо вооруженных дивизий. Не менее одной трети было мотомеханизированных дивизий с несколькими тысячами танков, бронемашин, с большим количеством моторизованной пехоты.

На главных стратегических направлениях немецкое командование сосредоточило крупные бронетанковые груп-

пировки. На свои танковые дивизии и на мотомехпехоту германское командование возлагало большие надежды. Их «танковые тараны» должны были прорвать фронт наших войск в различных местах и создать предпосылки для окружения наших частей. Последующие эшелоны немецких войск должны были завершить разгром наших частей.

Это была стратегия «молниеносной» войны. При помощи такой стратегии германское командование рассчитывало на окончание войны в течение двух-трех месяцев. Так, по крайней мере, думало германское командование, имея опыт войны на Западе и на Балканах.

Опыт всей последующей борьбы показал, как глубоко просчиталось германское командование, недосценив силы сопротивления Красной Армии и всего советского народа. Уже первые сражения показали, что война с Советским Союзом далеко не будет похожа на легкую прогулку.

Советская артиллерия первая приняла на себя удары танковых войск врага. Не только наша противотанковая артиллерия, но и все ее другие виды, вплоть до тяжелых систем, были мобилизованы на борьбу с танками. И уже в первых сражениях десятки и сотни немецких танков были уничтожены огнем нашей артиллерии.

В борьбе с танками нужна особая выдержка, хладнокровие, меткий глаз и твердая рука. Нужна беззаветная храбрость, отвага, умение стрелять до последнего снаряда, не боясь подпустить врага на близкое расстояние. Всеми этими качествами в полной мере обладают наши артиллеристы.

Но это еще не все. Нужно было еще умение бороться с танками, знание тактики, большое искусство в стрельбе, в частности в стрельбе прямой наводкой. И эти качества у наших артиллеристов оказались на должной высоте.

Советские артиллеристы быстро изучили тактику фашистских бронетанковых войск. Как правило, фашистские танки двигались по основным магистралям, по шоссе и большакам. За танками обычно следовала мотопехота на машинах. Если темп наступления замедлялся, пехота следовала непосредственно за танками в пешем строю.

Для более эффективной борьбы с танками противотанковые орудия зани-

мали огневые позиции с таким расчетом, чтобы раньше времени себя не выдавать и наверняка бить фашистские танки. Поэтому особое внимание уделялось прикрытию артиллерийским огнем узких проездов, лесных дорог, мостов, переправ.

Поражая огнем головные танки врага, наши артиллеристы добивались того, что дорога оказывалась забитой самими немцами. Остальные танки вынуждены были или обходить подбитую машину, или поворачивать назад. И то и другое делалось под непрерывным огнем наших орудий и приводило к большим потерям врага.

В течение всех своих наступательных операций фашисты несли огромные потери в танках. Об этом свидетельствуют такие цифры: за первые шесть недель войны было уничтожено свыше 6 тысяч немецких танков, за два месяца войны — около 8 тысяч танков. Эти танки уничтожены огнем нашей артиллерии в боевом содружестве с авиацией.

Скоро не только бойцы-артиллеристы, но и бойцы других родов войск увидели, что «не так страшен чорт, как его малюют», — не так страшны немецкие танки, как об этом кричат сами фашисты. Запугать наших бойцов танками, деморализовать их не удалось фашистскому командованию. И в этом большая заслуга наших артиллеристов.

В один из первых дней войны Советское Информбюро сообщило, что на одном только Шауляйском направлении было уничтожено около 300 танков противника. За этим кратким сообщением скрывались сила и мощь нашей артиллерии, беспримерный героизм ее бойцов и командиров.

Великая честь нанести крупное поражение танкам врага в первые же дни войны выпала на артиллерийскую часть, которой командовал т. Полянский. Бойцы и командиры этой части своими орудиями прикрывали важные стратегические пункты в нашем тылу. Условия борьбы для артиллеристов т. Полянского были тяжелы. Их орудия были растянуты на широком фронте, что не позволяло создать необходимую плотность артиллерийского огня. Враг же сконцентрировал на этом направлении крупные силы танков и мотопехоты и рассчитывал с хода прорвать нашу противотанковую оборону.

Завязались упорные бои. Наши артиллеристы стойко отбивали все атаки противника. Враг нес большие потери в танках и живой силе, но его атаки следовали одна за другой. Особенно напряженная борьба велась на участке полка, где комиссаром был батальонный комиссар т. Попов.

Один из дивизионов этого полка оказался в тяжелом положении. Вражеским танкам удалось прорваться и выйти в тыл этому подразделению. В то же время пьяная фашистская пехота пыталась атаковать и захватить орудия. С дистанции в 100 метров славные артиллеристы расстреливали фашистскую пехоту.

Ни на один шаг не отступили артиллеристы этого дивизиона. Все снаряды были расстреляны. На поле боя осталось около 70 разбитых фашистских танков. А когда наступила ночь, дивизион под руководством комиссара полка т. Попова вышел из огневого кольца, блестяще выполнив задачу.

Неувядаемой славой покрыл себя в этом бою наводчик батареи старшего лейтенанта Емельянова заместитель политрука т. Серов. Орудие т. Серова было атаковано большой группой танков. Густой колонной фашистские танки шли в атаку, и казалось, ничто не устоит перед их натиском.

Но наводчик Серов и другие бойцы этого орудия спокойно ждали приближения врага. Тов. Серов проявил и большую выдержку и знание дела. Чтобы бить врага наверняка, он подпустил танки на близкое расстояние и открыл сокрушительный огонь. Одна за другой останавливались вражеские машины, подбитые меткими выстрелами т. Серова. Но враг наседал, а орудие не прекращало своего смертоносного огня. Уже было подбито 11 фашистских танков. Осколком вражеского снаряда ранило т. Серова, но он не оставил своего места у орудия и продолжал вести огонь.

Меткими выстрелами Серова было уничтожено еще 7 вражеских танков. И только второе, смертельное ранение заставило Серова выпустить из рук свое грозное оружие. Он умер тут же, на огневой позиции, как герой, до последнего дыхания защищая свою родину.

Враг дорого заплатил за смерть героя-артиллериста. На поле боя осталось 18 фашистских танков, немых

свидетелей героического подвига наводчика Серова. Бойцы батареи т. Емельянова поклялись отомстить фашистам за смерть своего любимого наводчика. И они сдержали свою клятву. В том же бою батарея уничтожила 40 вражеских танков.

Три дня артиллерийская часть т. Полянского вела упорные бои на одном и том же рубеже с танками противника, не отступая ни на шаг.

На этом рубеже немцы потеряли 300 танков, 20 пулеметов, 5 противотанковых орудий, 4 орудия дивизионной артиллерии и около 700 человек пехоты. А наши славные артиллеристы лишь по приказу вышестоящего командования отошли на новый рубеж, полностью выполнив свою задачу — задачу нашей активной обороны.

В борьбе с фашистскими танками важную роль играли не только артиллерийские части и подразделения, но и отдельные орудия. Роль отдельных орудий возрастала, особенно тогда, когда им приходилось прикрывать наиболее важные направления. Таких случаев история отечественной войны знает очень много. Остановимся только на одном из них.

Это было при защите города Р. Подразделению подполковника Прокудина была поставлена задача: не пропустить фашистские танки в город Р. К городу вел один большой каменный мост, по которому легко могли пройти немецкие танки. Этот мост нужно было во что бы то ни стало прикрыть огнем противотанкового орудия.

Одно орудие было поставлено у моста. Орудие возглавил старший лейтенант Копцев. Когда фашистские танки пытались прорваться на мост, т. Копцев открыл огонь. Позиция для орудия была выбрана настолько удачно и стрельба была настолько меткой, что в течение короткого промежутка времени было уничтожено 12 немецких танков.

Ни на один шаг не отступили от моста советские артиллеристы, и враг через мост не прошел. А попытка немцев прорваться к городу другими путями стоила ему еще дороже. Здесь, на подступах к городу Р., наши артиллеристы уничтожили и повредили около 100 немецких танков.

Очень часто на фронте обстановка складывалась так, что борьбу с танками приходилось вести не только

противотанковой артиллерией, но и артиллерией тяжелых калибров. В этом отношении интересна боевая деятельность Н-ского артиллерийского полка.

Этот полк за шесть месяцев Отечественной войны с германским фашизмом уничтожил 380 автомашин, 33 орудия, 17 минометных батарей, 2 самолета, 2 аэростата и около 2000 фашистских солдат и офицеров. Но помимо всего этого полк уничтожил 101 танк и 24 бронемашин. Было много случаев, когда тяжелые орудия этого полка прямой наводкой разбивали фашистские танки.

В этом полку совершил свой бесценный подвиг герой-артиллерист, командир дивизиона капитан Хигрин, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Бой шел на рубеже реки Д. Капитану Хигрину была поставлена задача прикрывать важнейшую коммуникацию, на которую прорвались фашистские танки. Капитан Хигрин занял место у тяжелого орудия, когда появились танки врага. Завязался жестокий бой. Уже несколько тяжелых фашистских танков было уничтожено, но враг продолжал двигаться на орудие. Когда почти весь расчет был выведен из строя, капитан Хигрин сам стал за наводчика и продолжал вести огонь.

Смерть настигла героя у орудия: он был убит осколком снаряда, выполнив свой долг перед родиной. Но и враг дорого заплатил за смерть т. Хигрина. В этом бою он уничтожил 7 танков, несколько бронемашин и до 100 фашистских солдат.

Так боролись и борются наши мужественные артиллеристы с танками врага. Многие тысячи фашистских танков разбиты нашей артиллерией, их экипажи нашли себе могилу на полях Украины, в лесах Белоруссии, на подступах к Москве и Ленинграду.

Не меньше героизма, смелости, отваги и высокого артиллерийского мастерства показали наши артиллеристы в уничтожении живой силы противника, в разрушении его боевой техники и средств передвижения.

Вот цифры, взятые из сообщения Советского Информбюро за 6 сентября 1941 года.

За один только день, 4 сентября, советские артиллеристы уничтожили не менее 15 тысяч немецких солдат и

офицеров и более 100 орудий разных калибров, 34 пулеметных гнезда, 48 минометных батарей, 18 понтонных мостов и переправ и 940 автомобилей, не считая большого количества танков и броневосстановителей.

В одном бою сложилась исключительно тяжелая обстановка для нашей пехотной части. Враг, имевший значительное превосходство в силах, предпринимал неоднократные атаки против наших позиций. Нужно было отбить все атаки врага и продержаться до подхода наших подкреплений. Эта трудная задача выпала на долю командира дивизиона Н-ского артиллерийского полка т. Невского.

Не теряя ни минуты, т. Невский выbral в 100 метрах (вперед своей пехоты) наблюдательный пункт и открыл ураганный огонь по противнику. При этом т. Невский показал высокое искусство в управлении огнем дивизиона, находясь под непрерывным обстрелом противника.

Ввиду отсутствия проволочной связи с батареями, т. Невский по радио передавал команды каждой батарее, и артиллерийский огонь не умолкал ни на одну минуту. При этом т. Невский внимательно наблюдал за полем боя и следил за всеми передвижениями врага.

Вот на фланге нашей части немцы сосредоточили около 200 автоматчиков и собирались ее атаковать. Тов. Невский заметил скопление врага и немедленно открыл огонь шрапнелью. Более 50 вражеских автоматчиков было убито, остальные разбежались, и атака была сорвана.

Между тем наблюдательный пункт т. Невского был обойден немецкой пехотой, бойцы, находившиеся при нем, почти все выбыли из строя. Оставшись один, т. Невский продолжал вести огонь. А когда задача была выполнена, он уничтожил радиостанцию, прорвался сквозь огневое кольцо врага и вышел к огненным позициям своих батарей.

Двумя осколками он был ранен в правую руку, в нескольких местах была прострелена одежда, разбит футляр бинокля.

За два часа напряженного боя т. Невский огнем своего дивизиона уничтожил 6 неприятельских минометов, 3 малокалиберных пушки с при-

слугой, 2 танка, несколько огневых точек и около 150 фашистских солдат и офицеров.

После этого боя т. Невский участвовал еще во многих сражениях, неизменно проявляя смелость, отвагу, артиллерийское мастерство, был несколько раз ранен и продолжал оставаться в строю, показывая образцы высшего служения своей родине.

На одном из участков фронта немцы имели сильно укрепленный узел сопротивления. Пулеметы, поставленные в ДЗОТах, не давали возможности нашей пехоте приблизиться к этому узлу.

Разрушить ДЗОТы могла только артиллерия. Но плохие условия наблюдения не позволяли точно корректировать артиллерийский огонь, и ДЗОТы противника долгое время оставались неразрушенными.

Тогда молодой командир батареи Антонов составил себе смелый план разрушения неприятельских ДЗОТов. Он решил выбрать наблюдательный пункт в непосредственной близости от противника и оттуда корректировать огонь.

В течение всего дня лейтенант Антонов изучал подступы к вражеским ДЗОТам. А когда стемнело, он с группой разведчиков, с инструментами и бревнами направился к неприятельскому узлу сопротивления.

Соблюдая все меры маскировки, т. Антонов за ночь оборудовал в 100 метрах от противника свой наблюдательный пункт и установил связь с огневой позицией батареи.

Только рассвело, батарея т. Антонова открыла огонь. Снаряд за снарядом полетели во вражеские блиндажи и ДЗОТы. Для немцев это было полной неожиданностью. Они никак не могли допустить, чтобы нашлись смельчаки, оборудовавшие наблюдательный пункт у них под носом.

А между тем меткие выстрелы батареи т. Антонова делали свое дело. Вражеские ДЗОТы были разрушены, враг понес большие потери и вынужден был отступить. Наша пехота без особых потерь заняла узел сопротивления врага.

Во всех этих трех случаях победа была одержана потому, что наши артиллеристы против более сильного врага воевали умением. «Врага не считают, а бьют», — учил свои войска

великий русский полководец А. В. Суворов. Так и наши артиллеристы не считали врага, а били его меткими разящими ударами своих грозных орудий.

5

Битва за Москву является наиболее славной страницей в истории отечественной войны советского народа против германского фашизма.

Германское командование бросило на Москву 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 5 мотопехотных. Охватывающими ударами с севера и с юга противник имел намерение выйти в тыл нашим войскам, окружить и занять Москву.

Над Москвой нависла грозная опасность. Родина дала приказ: остановить врага на дальних подступах к Москве, отстоять родную Москву, под Москвой начать разгром немецких оккупантов.

Этот сталинский приказ артиллеристы восприняли как железный, нерушимый закон, как призыв умереть, но не отступить перед натиском врага.

Начались ожесточенные бои. Красная Армия, поддержанная всей страной, нанесла сокрушительный удар немецким захватчикам. Враг был остановлен, разбит и отброшен от Москвы. За время с 16 ноября по 10 декабря 1941 г. нашими войсками было захвачено и уничтожено, без учета действий авиации, 1434 танка, 575 орудий, 5416 автомашин, 339 минометов, 370 пулеметов. Только убитыми за это же время немцы потеряли под Москвой более 35 тысяч солдат и офицеров.

В боях за родную Москву советские артиллеристы во много раз приумножили свои боевые подвиги. Отдельные орудия, батареи и целые полки соревновались в стойкости, в умении беспощадно уничтожать гитлеровские полчища, пытавшиеся прорваться к нашей любимой Москве.

Сокрушительный удар фашистским танкам под Москвой нанесли артиллеристы части, которой командовал капитан Фролов. Бесстрашные артиллеристы дрались на Можайском направлении. Дрались мужественно, до последнего снаряда, до последнего дыхания.

У деревни К. на огневой позиции стояли два орудия батареи, которой командовал лейтенант Мандрыка. Орудия были атакованы большой группой фашистских танков. Силы были неравные, но никто из артиллеристов не подумал об отходе. Позади была Москва, впереди — смерть или победа! И артиллеристы приняли бой.

Стрельба велась до последнего снаряда. Оба орудия были разбиты огнем врага. Вместе с орудиями погиб и их орудийный расчет. Но дорого фашисты заплатили за свою «победу»: на месте, где происходил этот неравный бой, осталось 37 разбитых фашистских танков.

В другом месте одно орудие этой же части прикрывало подступы к деревне. Выбрав удобную позицию у домика, артиллеристы настороженно ожидали появления фашистских танков. Вот и показались вражеские машины. Орудие открыло огонь. 7 танков врага за короткий промежуток времени были подбиты, остальные повернули назад.

Заслуженной славой среди артиллерийских частей Красной Армии пользуется гвардейский артиллерийский полк, которым командовал полковник Герасимов. Полк прошел с боями более 900 километров, полностью сохранив свои кадры и материальную часть.

За время боевых действий полк уничтожил 35 тяжелых и средних танков, 4 танкетки, 9 бронемашин, 11 самолетов, несколько орудий и 1200 фашистских солдат и офицеров. В полку дрались, защищая родную Москву, такие герои-артиллеристы, как капитан Каминский, старший лейтенант Стасюк, лейтенант Мельников, политрук Дац, младший сержант Ледусенко и много других.

Подразделения полка наносили беспощадные удары танкам и живой силе врага. Трудно перечислить все примеры беззаветного мужества артиллеристов-гвардейцев. Приведем только один пример, показывающий их стойкость и отвагу.

Одно из подразделений полка прикрывало важную магистраль, ведущую к Москве. Немцы пытались незаметно сосредоточить свои танки и мотопехоту, затем одновременным ударом авиации и танков прорвать нашу оборону и устремиться на восток.

Рано утром над боевыми порядками артиллерийского подразделения неожиданно появилось 20 пикирующих бомбардировщиков врага. Более 20 минут продолжался налет вражеской авиации, сопровождаемый бомбежкой и пулеметным обстрелом.

Сразу же после налета авиации на дороге показались тяжелые немецкие танки. Идя на полной скорости, фашистские экипажи вели беспорядочный огонь, очевидно желая деморализовать наших артиллеристов.

Но стойкость артиллеристов-гвардейцев не была поколеблена. Первым встретил фашистские танки лейтенант Донченко. После двух выстрелов один тяжелый танк был подожжен и застрял в канаве. Но в это время авиационной бомбой орудие лейтенанта Донченко было повреждено, и фашистским танкам удалось прорваться вперед.

Однако рано еще было торжествовать победу врагу. Прорвавшиеся танки были встречены метким огнем орудия лейтенанта Подгорного. Два танка были подбиты. Но и орудие оказалось выведенным из строя. И снова танки врага продвигаются вперед.

В это время направлялось к деревне В. орудие лейтенанта Мельникова. Заметив фашистские танки, орудие с ходу развернулось и через несколько секунд открыло огонь. Один за другим орудием т. Мельникова было подбито 4 фашистских танка. Остальные вынуждены были повернуть назад, и танковая атака была сорвана.

В этом случае нашим артиллеристам пришлось действовать в исключительно тяжелых условиях. Они выдержали комбинированный удар авиации и тяжелых танков врага. Немецкие танки действовали на больших скоростях, что значительно затрудняло прицельную стрельбу.

И все же артиллеристы победили. Победили их умение, их выдержка, мужество. Победило сознание долга перед родиной и желание отстоять родную Москву.

Исключительно умело и решительно действовал в одном бою командир батареи Н-ского краснознаменного артиллерийского полка — старший лейтенант Середов. Батарея т. Середова вместе с наступающей пехотой двигалась по Можайскому шоссе. У деревни Ч. неожиданно появилась автоко-

лонна немецкой пехоты, двигавшаяся навстречу.

Немцы пришли в замешательство. А т. Середову только этого и нужно было. Батарея моментально развернулась и прямой наводкой открыла огонь по немецким автомашинам. Немецкая пехота пыталась было бежать, но ее застигала картечь орудий т. Середова.

Через несколько минут все было кончено. На дороге остались разбитые, пылающие немецкие машины и валялись трупы убитых солдат и офицеров. Только жалкие остатки немецкой пехоты спаслись бегством. Сам г. Середов в этом бою был тяжело ранен, но батарея задачу выполнила блестяще.

Когда Красная Армия перешла в решительное контрнаступление, артиллеристы снова были в первых рядах тех, кто расчищал путь на запад нашей славной пехоте и героическим танкистам.

И под Клином, и под Солнечногорском, и под Волоколамском, и под Истрой — везде враг оставил кучи разбитых машин, изуродованных танков, выведенных из строя орудий. Здесь славно поработали наши артиллеристы. Их мощные удары долго будут помнить фашистские захватчики.

На подступах к Бородинскому полю стояло много разбитых немецких танков. И не одна сотня фашистских солдат нашла себе могилу на Бородинском поле. Здесь, как и 130 лет назад, артиллерия вместе с другими родами войск отстаивала честь и независимость своей родины. Советские артиллеристы оказались достойными своих славных предшественников — русских артиллеристов, нанесших в 1812 г. поражение войскам Наполеона.

6

В течение зимы наши войска вели наступательные операции. Под сокрушительными ударами частей Красной Армии враг откатывался назад. Поражение немецких войск под Тихвином, Калинином, Калугой, Ельцом и другими городами надломило их моральное состояние, лишило их былой стойкости.

Инициатива перешла в наши руки. Враг должен был отходить. Но он судорожно хватался за каждую складку местности, за каждый населенный пункт. На пути движения наших войск

возникли сотни и тысячи деревянно-земляных сооружений, в которых были укрыты огневые точки врага. Немцы строили узлы сопротивления, стараясь задержать продвижение наших войск.

Чтобы дать возможность нашей пехоте продвигаться вперед, надо разрушать укрепления врага и подавлять его огневые точки. Эту трудную задачу выполняла артиллерия.

Наступательные операции наших войск проходили в весьма трудных условиях. Глубокий снег, морозы, трудности подвоза значительно усложняли боевую деятельность артиллерии. Часто артиллеристам приходилось на руках вытаскивать свои орудия.

И многие артиллерийские полки добились значительных успехов в разрушении неприятельских укреплений. Вот, например, полк, которым командует майор Волков. Только за вторую половину января 1942 г. этот полк разрушил 37 блиндажей, 13 ДЗОТов, 7 пулеметных точек, подавил 15 артиллерийских и 10 минометных батарей.

Другой артиллерийский полк, которым командует подполковник Селам, особенно отличился во время разгрома волховской группировки противника. Своим мощным артиллерийским огнем полк уничтожал огневые точки врага и обеспечивал нашей пехоте победоносное движение вперед.

Всего за время наступательных операций полк уничтожил 39 блиндажей с огневыми точками, 22 пулеметных гнезда, 18 ДЗОТов, подавил 35 артиллерийских и 29 минометных батарей противника. Кроме того, около 5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров погибли от меткого огня наших артиллеристов.

Разрушение укреплений противника и подавление его огневых точек требует от артиллеристов большого знания дела. Надо уметь хорошо наблюдать, чтобы точно определить укрепление или огневую точку врага. Надо так тщательно корректировать огонь, чтобы при минимальной затрате снарядов добиться больших результатов.

На этой трудной и сложной работе воспитались тысячи прекрасных разведчиков, являющихся правой рукой командира-артиллериста. Сами командиры приобрели большой опыт в разрушении укреплений врага, подняли на высшую ступень стрелковое искусство.

Для разрушения вражеских укреплений наши артиллеристы часто практикуют стрельбу орудий с открытых позиций. Этот вид стрельбы требует особого искусства, выдержки и хладнокровия. Огонь приходится вести под градом неприятельских пуль, под минометным и артиллерийским обстрелом. Но зато каждый снаряд разит врага, ускоряя его полный разгром.

Вот несколько примеров успешных действий наших артиллеристов с открытых позиций.

Шел бой за деревню Р. В этой деревне противник организовал узел сопротивления. Используя мельницу с бетонированным фундаментом и прилегающие постройки, противник поставил там 2 крупнокалиберных и 4 станковых пулемета и около 70 автоматчиков. Все подступы к деревне простреливались шквальным огнем.

Командиру батареи Н-ского артиллерийского полка старшему лейтенанту Запорожцу была поставлена задача разрушить неприятельское укрепление и подавить его огневые точки. Стрельба с закрытой позиции должных результатов не дала.

Тогда старший лейтенант Запорожец приказал выкатить тяжелую гаубицу на открытую позицию. С величайшим мужеством артиллеристы преодолели простреливаемое пространство и с дистанции 400 метров открыли огонь по укреплению врага. Враг обрушился на орудие минометным огнем. Около 180 мин было выпущено по орудью. Но мужественные артиллеристы не отступили.

Прямыми попаданиями снарядов были уничтожены крупнокалиберный, 2 станковых пулемета и 20 фашистских автоматчиков. Остальные пытались бежать, но были расстреляны нашей пехотой, и населенный пункт был взят.

В другом месте наша пехота пыталась занять деревню К., расположенную на берегу реки В. В этой деревне немцы соорудили мощный ДЗОТ, имевший хороший обстрел всех подступов к деревне. Этот ДЗОТ был хорошо замаскирован, ничем себя не проявлял и только тогда открыл губительный огонь, когда наша пехота начала наступление.

Для уничтожения ДЗОТа было использовано тяжелое орудие Н-ского артполка. Скрытыми подступами, пре-

одолевая глубокий снег, артиллеристы выкатили орудие на открытую позицию и сразу же открыли ураганный огонь по ДЗОТу.

Враг пытался вывести орудие из строя, но артиллеристы спокойно и хладнокровно вели огонь по вражескому укреплению. Прямыми попаданиями ДЗОТ был разрушен. Оставшиеся в живых фашисты пытались укрыться в соседних окопах, но там были настигнуты и уничтожены огнем других орудий. Таким образом, артиллерия открыла путь нашей пехоте, и деревня была занята.

Наконец еще один поучительный пример. Наша пехота должна была занять рошу Круглая. Подступы к этой роше прикрывались огнем многоамбразурного ДЗОТа. Кроме того, противник использовал железнодорожную насыпь, за которой расположил свои пулеметы.

Для разрушения ДЗОТа было выделено одно тяжелое орудие из состава полка, которым командует майор Волков. Это орудие было установлено в 200 метрах от вражеского ДЗОТа. Пренебрегая опасностью, артиллеристы сделали несколько выстрелов прямой наводкой, и ДЗОТ взлетел на воздух.

А затем орудие решило и другую задачу: оно проделало проход в железнодорожной насыпи. После этого пехота беспрепятственно прошла за линию железной дороги, и роша Круглая была взята.

Все эти примеры — только частица той ежедневной, ежечасной боевой работы на фронтах великой отечественной войны, которую ведут наши артиллеристы. Бои не затихают ни днем, ни ночью.

7.

Силу и мощь нашего артиллерийского огня вынуждено признать даже германское командование. В документе «Оценка русского руководства, техники и боеспособности войск» по поводу состояния нашей артиллерии говорится следующее:

«Орудий всех калибров, особенно средних, было с избытком, материальная часть современная и хорошая. Орудия в большинстве случаев тянулись тракторами...»

И дальше, оценивая искусство стрельбы наших артиллеристов, германское командование вынуждено бы-

ло заявить: «Красная артиллерия применяет огневые налеты обычно без пристрелки. Поразительна была всегда стрельба на высоких разрывах, которую можно оценивать как выстрелы для ориентировки...»

Что же касается германских солдат и унтер-офицеров, то они, на своей шкуре испытавшие силу нашей артиллерии, значительно раньше и более определенно высказались о достоинствах нашей артиллерии.

Так, еще в самом начале войны унтер-офицер германской армии Ганс Юрген-Симон писал в своем дневнике о действиях нашей артиллерии:

«Там, где русская артиллерия попала в цель, мы видели жуткие картины...»

Несколько позже пленный старый ефрейтор немецкой армии Рудольф Фигнер говорил:

«Да, это был кромешный ад. Так продолжалось пять ночей, пять ужас-

ных ночей. Никто из нас не смыкал глаз, даже не пытался подняться с земли. Под огнем русской артиллерии, русской авиации перемешалось все: земля, человеческие трупы, разбитые пушки. У меня не осталось товарищей по роте...»

Наконец сдавшийся в плен солдат дивизии СС «Мертвая голова» Альберт Шнитткер так оценивает действия нашей артиллерии: «Русская артиллерия стреляет исключительно метко. Было много случаев прямого попадания снарядов в блиндажи и ходы сообщения...»

Много славных страниц вписали артиллеристы в историю великой отечественной войны советского народа против немецких захватчиков. И не подлежит сомнению — в боях за независимость нашей родины, за полное истребление немецких захватчиков наши артиллеристы покажут новые образцы боевого героизма и высокого служения советскому народу.

Идея и образ родины в русской литературе

1

Новая русская литература открывается великим именем Ломоносова. Его ода «На взятие Хотина» (1739 год) начинается стихами:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл...

Это были первые звуки русской лиры, громко, благозвучно и смело зазвучавшей о начале своего бытия.

«Между Петром I и Екатериной II,— писал Пушкин о Ломоносове — он один является самобытным сподвижником просвещения», и он же один является истинным поэтом, «властителем дум» лучших людей своего века.

Первый русский поэт, вышедший из недр народа, Ломоносов с первых же звуков своей бодрой, громкой, мужественной лиры был певцом родины. Тема любви к родине, мелодия страстной привязанности к ней, мысль о просветительном подвиге ради счастья и процветания родины — в этом заключены все звучание, весь идейный смысл, весь художественный пафос поэзии Ломоносова.

Гоголь с замечательной чуткостью уловил эту особенность Ломоносова-поэта: «Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строк полются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно, как бы выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид
Священными шумит струнами,

И бога полными устами
Исайя восхищен гремит.

Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любясь и не налюбясь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорее ученого натуралиста, нежели поэта; но чисто сердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта».

Неоглядный простор родины преисполняет Ломоносова восторгом: он видит в этом просторе, в богатстве природных условий залог исторического преуспевания родины. В пламенных строках он стремится отобразить величие и могущество русской природы:

Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса.
Где в роскоши прохладных тений
На ластве скачущих оленей
Ловящих крик не разгонял;
Охотник где не метил луком;
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

Как бы изумленный девственной щедростью и первобытной пышностью родной природы, Ломоносов восклицает:

Широкое открыто поле,
Где Музам путь свой простирать!

Восклицание оказалось предвидением: русская природа своим неисчерпаемым богатством открыла бесчисленные «пути» для творческих вдохновений преемников Ломоносова — от Державина до советских поэтов. В другой оде Ломоносов обращается с призывом:

О, Муза, усугубь твой дар,
 Глази со мной в конце земные,
 Коль ныне радостна Россия.
 Она, коснувшись облаков,
 Конца не зрит своей державы;
 Громящей насыщена славы
 Покоится среди лугов.
 В полях, исполненных плодами,
 Где Волга, Днепр, Нева и Дон,
 Своими чистыми струями
 Шумя, стадам наводят сон,
 Сидит и ноги простирает
 На стену, где Хину¹ отделяет
 Пространная стена от нас;
 Веселый взор свой обращает,
 Возлегши локтем на Кавказ².

Ломоносов создает этот исполинский образ родины — мощного существа, распростершегося на две части света, не для того, чтоб похвалиться его географической необъятностью и государственной силой, как это бывало впоследствии с апологетами русской официальной государственности. По мысли великого поэта-ученого, русский народ силою науки должен призвать к жизни, к культурному бытию великолепные пространства, доставшиеся ему в исторический удел. Неустрашимый «испытатель природы», Ломоносов страстно верит в то, что таким же «испытателем природы» станет весь его народ, сделав свою страну желанной отчизной для свободной науки. В горячем порыве взывает Ломоносов:

О, вы, счастливые науки!
 Прилежны простирайте руки
 И взор до самых дальних мест...

Ломоносов призывает «науки» на свою родину, чтобы приобщить ее к культурному труду всего человечества, — более того: он мечтает, что, сдружась с «науками», его родина займет первое место в общем творческо-культурном подвиге человечества.

Ломоносов в величайшем порыве патристизма обращается к молодому поколению с знаменитым призывом:

О, вы, которых ожидает
 Отечество из недр своих,
 И видеть таковых желает,
 Каких зовет от стран чужих,
 О, ваши дни благословенны!
 Держайте ныне ободренны
 Раченьем вашим показать,
 Что может собственных Платонов
 И быстрых разумом Невтонов
 Российская земля рождать!

¹ Китай.

² Ода на восшествие на престол Елисаветы. 1748. Соч. М. В. Ломоносова, под ред. А. И. Введенского. Спб., 1893, стр. 102—103.

«Российская земля» — так верит Ломоносов — займет свое высокое место в кругу народов и стран вселенной лишь тогда, когда, родив «собственных Платонов и Невтонов», тем самым явит свою духовную силу и творческую мощь. Этому светлому патриотизму Ломоносов остался верен всю жизнь, — верен и словом и делом.

Ломоносов зажег в русской поэзии тему родины как тему любви к ней, служения ей, с чем неразрывно связано служение истине, добру и свободе, — и эта патриотическая тема, могучие и светлые истоки которой в русском фольклоре, уже никогда не потухала в русской литературе, озаряя ее двухвековой суровой и славный путь.

Вся, изумительная по разносторонности, по широте и глубине жизненного охвата, по кипучей энергии, самоотверженная деятельность Н. И. Новикова — сатирика, журналиста, историка, издателя — исходила из его заветного, истинно ломоносовского убеждения: «будучи рожден и воспитан в недрах отечества, обязан оному за сие служить посильными своими трудами»¹.

Новиков — один из первых представителей того служения родине, которое требовало самого сурового к ней отношения, самой глубокой о ней правды. В своих сатирических журналах «Трутень», «Живописец», «Кошелек» Новиков, предшествуя Фонвизину, Грибоедову и Гоголю, подставлял «российскому дворянству» безукоризненно чистое зеркало, в котором нарумяненные физиономии петиметров в париках, выписанных из Парижа, превращались в звериные морды Скотининых, неистовствующих над крепостными в разных Колотиловках и Неурожайках.

Недаром Екатерина II сделала все, чтобы разбить сатирическое зеркало Новикова, положив конец его издательской деятельности. Ее ненависть к Новикову понятна: движимый глубокой любовью к родине, Новиков говорил во всеуслышание ту горькую правду о России, которую Екатерина II старалась скрыть за пышными декорациями своего показного вольтеррианства.

¹ В. Боголюбов, Н. И. Новиков и его время. М., 1916, стр. 84.

«Бедность и рабство повсюду встречались со мной во образе крестьян. Непаханные поля, худой урожай хлеба возвещали мне, какие помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие, покрытые соломой хижинки из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие адоньи хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны... О, человечество! Тебя не знают в сих поселениях. О, господство! Ты тиранствуешь над подобными себе человеками».

Эти строки извлечены из «Путешествия в И. Т.», напечатанного в «Живописце» Новикова, но они кажутся отрывками из другого «путешествия», вызвавшего гнев Екатерины II, — «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева: столько в них горячей любви к крепостной деревне, живого сочувствия к страданиям крепостного крестьянства.

Когда Екатерина II уже нарядила следствие, приведшее Новикова к Шлиссельбургу, она жаловалась на него московскому обер-полицеймейстеру Архарову, что «всегда успевала управляться с турками, шведами и поляками, но, к дивлению, не может сладить с армейским поручиком». Она так и не следила с Новиковым, потому что им руководила великая сила — любовь к родине.

Как Ломоносов верил в неисчерпаемые творческие силы русского народа, так верил в них и Новиков. Ломоносов предвидел появление «собственных Платонов и Невтонов» — Новиков, составитель «Опыта исторического словаря о российских писателях», с восторгом писал: «Появляются Российские Орфеи, Архимеды, Птоломеи, Плинии, Ливии, Апеллосы и Праксители... История Российская исходит пред лице всего света. Отправляются Ученые мужи во все концы пространной Империи Российской: описуются области, открываются богатые сокровища».

Это — ломоносовская вера в творческие силы родной страны, и в ней заключен истинный пафос всей многообразной деятельности Новикова, упрочившего ломоносовскую традицию служения родине.

Встреча с Ломоносовым в ранней юности произвела неизгладимое впечатление на Д. И. Фонвизина, питомца Московского университета, основанного Ломоносовым.

В своих комедиях «Бригадир» и «Недоросль» Фонвизин как бы соперничал с Новиковым в сатирической критике господствующего сословия, и в них же выдвигал он, подобно Ломоносову, идею служения родине как идею, руководящую всякой деятельностью, достойной истинного гражданина.

«Стародум» Фонвизина на самом деле был для своего времени новодумом: он противопоставлял екатерининскому вельможеству и дворянской сословной спеси свой идеал знатности и чести: «Степени знатности различаю я по числу дел, которые большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия; не по числу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами». В эпоху, когда дворянство, освобожденное указом Петра III от обязательной службы государству, считало право крепостнического безделья величайшей своей привилегией, Фонвизин заставлял Стародума резко протестовать против этой бездельной «вольности дворянства»: «Дворянин считал бы за первое бесчестие не делать ничего... ему столько дела; есть люди, которым помогать».

Офицер Милон, представитель молодого поколения, полностью разделяет мысль Стародума: всякая должность должна быть подчинена благу отечества, одушевлена любовью к родине. Жертвовать всем для блага отечества — в этом заключен истинный подвиг, не только военный, но и гражданский. Этот идеал служения родине Фонвизин с такою определенностью противопоставлял в своей комедии «свычаю-обычаю» подслуживания вельможам и «венценосцам», что цензура долго не допускала «Недоросля» на сцену.

Обращенное к народу, к крестьянству, к деревне, «Путешествие» Радищева есть книга любви к родине; обращенное к властвующим и повелевающим, «Путешествие» его есть книга жгучей ненависти к поработителям

родины, потому что для Радищева слиты воедино судьбы родины и судьбы народа. Не случайно, когда говорим мы о плеяде выдающихся поэтов и писателей-демократов второй половины XIX века, мы вспоминаем Радищева, — для него, как для Некрасова, родина — народная Россия. И пафос его книги — пафос гнева, обращенного против поработителей отчизны и родины. «Зверский обычай поработать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Азии; обычай диким народам приличный; обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко». То, что этот обычай рабства укоренен в России, в славянской стране, составляет, по утверждению Радищева, ее позор: «И мы, Сыны славы, мы именем и делами Словуты в коленах земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времятечения, сохранили его нерушимо даже до сего дня. Земледельцы и доднесь между нами рабы: мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека. О, возлюбленные нами сограждане! о истинные сыны отечества! воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше».

Сказать эти слова в лицо «согражданам» Радищев считал патриотическим своим долгом перед родиной, — и он сказал их с мужеством, приведшим его к осуждению на смертную казнь, замененную ссылкой в Сибирь.

Интересно отметить, что перу Радищева принадлежат описания народных талантов.

В главе «Клин» Радищев рисует привлекательный образ народного певца-слепца, распевающего «стих» об Алексии-человеке божьем, и противопоставляет внимающих ему слушателей-крестьян изнеженным меломанам-крепостникам: «Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему с благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностью изречения сопровождаемый, проникал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взращенные во благоглосии умы жителей Москвы и Петербур-

га внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркози или Тодиа».

С удивительной чуткостью человека, внимающего сердцу народа, Радищев умел выбрать то создание изустной нашей поэзии, которое было особенно любимо народом на протяжении многих веков. Впоследствии «стих», отмеченный Радищевым за долго до того, как он обратил на себя внимание исследователей, стал предметом вдохновения А. Н. Римского-Корсакова.

А в главе «Медная» Радищев со столь же беспримерной чуткостью, рисуя «хоровод молодых баб и девок», заставляет их петь «Во поле береза стояла», — ту любимейшую русскую народную песню, полную «веселья с грустью пополам», которую П. И. Чайковский положил в основу своей 4-й симфонии.

Замечательны эти соприкосновения Радищева с такими певцами русской грусти и веселья, как Некрасов, Римский-Корсаков, Чайковский! Соприкосновения эти понятны: они исходят из одного источника — чуткой любви к родине.

Еще Ломоносов — этот всеобъемлющий гений, зачинатель русского просвещения — видел себя вынужденным перейти из химической лаборатории в архив древних рукописей и в кабинет историка: он понимал, что нельзя деятельно любить родину и работать для ее будущего, не зная ее прошлого.

Это дело воскрешения прошлого родины совершил Карамзин.

«Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, — писал Карамзин А. И. Тургеневу незадолго до смерти, — а дело делать единственно в России, или нет гражданина, нет человека, есть только двуногое животное»¹.

«Как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в историке, — говорит Карамзин, — так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души».

Не своими государственными теориями: они не удовлетворяли многих читателей и при самом появлении «Исто-

¹ В. С. Иконников, Карамзин-историк. «Остафьевский архив», т. V, вып. 2, СПб., 1913, стр. 187.

рии государства Российского», не своими построениями историографа: они оспаривались и в день выхода первого тома «Истории», — а «жаром, силой, прелестью», идущими от глубокого воодушевления, охватившего историка, привлек Карамзин своих читателей.

Пушкин с увлечением вспоминал, как «бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени нигде ни о чем не говорили».

С еще большей яркостью рисует впечатление, произведенное появлением «Истории» Карамзина, П. А. Вяземский: «Карамзин — наш Кутузов Двенадцатого года: он спас Россию от нашего забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в Двенадцатом году»¹.

Монархические тенденции Карамзина встретили критику в отзывах будущих декабристов, в частности у Никиты Муравьева; Вяземский называл даже декабрьское восстание «вооруженной критикой» на «Историю» Карамзина. Но те же декабристы, — и в их числе такой последовательный борец с самодержавием, как Рылеев, — по достоинству оценили «Историю» Карамзина как книгу, воскресившую прошлое русского народа, его историю, вне которой нет ни его настоящего, ни его будущего. Так понимали декабристы историю родной страны, которая, как известно, занимала в их художественном и публицистическом творчестве, в их политических теориях большое место.

Для Рылеева, Бестужева, А. Одоевского, Кюхельбекера и иных декабристов, как и для многих других читателей, «История» Карамзина была книгой, героями которой выступали Святослав, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав Удалой, Александр Невский, Димитрий Донской — оборонители русской земли, защитники ее свободы от азиатских кочевников и немецких рыцарей-насильников, защитники ее национальной независимости, выдающиеся деятели ее истории. Лучшие главы Карамзина, наиболее примечательные в литературном и историческом отношении, посвящены

этим героям, лучшие картины, в которых с наибольшим блеском проявилась кисть Карамзина, — это картины борьбы за родину: стоит вспомнить знаменитое карамзинское описание Куликовской битвы, этот образец русской прозы, звучавшей здесь медью Тацита и Вергилия.

Эти темы Карамзина были переняты Пушкиным («Песнь о вещем Олеге»), А. Одоевским (поэма «Василько»), Кюхельбекером (трагедия «Прокофий Ляпунов») и с особой силой — Рылеевым. «Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории, сдружить любовь к отечеству с первыми впечатлениями памяти — вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине». Приведя эти слова польского поэта Немцевича в предисловии к своим «Думам», Рылеев признается: «Эту самую цель имел и я, сочиняя «Думы». Олег Вещий, Ольга, Святослав, Владимир Святой, Мстислав Удалой, Михаил Тверской, Димитрий Донской, Ермак получили у поэта-декабриста новую идейную и поэтическую жизнь; они выступили героями истории в такие моменты, в таких деяниях, когда сливались воедино интересы народа и государства, когда решение государственных судеб обнимало и судьбы народные. Вот почему поэты-декабристы, для которых сливались воедино отчизнолюбие и свободолюбие, воспевали с одинаково глубокой искренностью Олега и Вадима Новгородского, вот почему обращались они к «Истории» государства Российского и не только черпали в ней материал, но по достоинству оценили один из первых русских исторических трудов, хотя и в поэзии, и в политических теориях, и в практической революционной деятельности выступали против Карамзина — крепостника и монархиста — и, так же как Радищев, нашли жгучие слова для обличения самодержавной крепостнической монархии России.

2

Тема любви к родине и служения ей стала всеобщей темой, близкой каждому русскому человеку в эпоху 1812 года¹.

¹ «Остафьевский архив», т. III, Спб. 1899, стр. 356.

¹ См. ст. С. Дурылина «Лирой и мечом». Журнал «Октябрь», № 9—10.

Патриотическая поэзия декабристов зажглась в пламени войны 1812 года; героические мотивы этой народной войны звучат у Рыльева, А. Одоевского и других декабристов. Но поэзия декабристов насыщает тему о родине новым содержанием: свободная извне, родина должна быть свободна изнутри. Народ, завоевавший государственную свободу для своей родины, должен завоевать и свободу политическую. В идее политического освобождения России заключены основное устремление и пафос поэзии декабристов.

Декабристы вынесли свою любовь к родине, к России русского народа, из боевого общения с этим народом в огне отечественной войны.

Когда Александр I спросил С. Г. Волконского, присланного в Петербург гонимым из армии, только что оставившей Москву: «Какое дух армии?» Волконский отвечал ему: «От главнокомандующего до всякого солдата, все готовы положить свою жизнь к защите отечества...» На второй вопрос царя: «А дух народный?» Волконский с подлинным энтузиазмом отвечал: «Каждый крестьянин — герой, преданный отечеству...» На третий же вопрос: «А дворянство?» Волконский отвечал: «Государь! стыжусь, что принадлежу к нему, — было много слов, а на деле ничего»¹.

В этих словах уже сказался будущий декабрист: увидев в испытаниях войны великое патриотическое достоинство народа и столь же явное отсутствие достоинства в том классе, которому принадлежала власть над этим народом, Волконский на всю жизнь соединил идею родины с идеей освобождения народа и свой патриотический долг понял как борьбу за эту идею.

Путь Волконского — общий путь для И. Д. Якушина, Бестужевых, Пестеля и других декабристов. Подобно Волконскому, в войне 1812 года они увидели высокое нравственное достоинство и гражданскую зрелость родного народа, подобно ему, они признали, что в народе живет чистая любовь к родине («каждый крестьянин — герой, преданный отечеству»), — и при-

шли к мысли о необходимости политической борьбы с самодержавием и крепостничеством.

С восторженной прямоотой, любовью и искренностью в патриотической оценке народа эту мысль выразил В. К. Кюхельбекер в своих показаниях перед следственной комиссией по делу 14 декабря. Указывая на причины, которые заставили его «желать иного порядка вещей и наконец побудили вступить в тайное политическое общество», поэт-декабрист писал следующее: «Взирая на блистательные качества, которыми бог одарил народ русский, народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему звучному богатому мощному языку (и это для писателя не последнее), коему в Европе нет подобного, наконец по радушию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобию, ему перед всеми свойственному, я душою скорбел, что все это подавляется, все это вянет и, быть может, опадёт, не принеся никакого плода в нравственном мире»¹.

Трезвый политический деятель Н. И. Тургенев был полной противоположностью Кюхельбекеру, но в основе его политической и литературной деятельности лежала такая же горячая, как у восторженного Кюхельбекера, любовь к русскому народу-герою: «Народ, раздавленный действиями и замыслами врага и движимый истинною любовью к отечеству, удивлял даже и самого себя своими пожертвованиями», — с восторгом записывает Н. И. Тургенев в свой дневник 1812 года.

Такая любовь к родине не исключает дружеских чувств к другим народам и не противоречит любви к человечеству, — наоборот, она видит достоинство своего народа в том, что он, отстаивая родину, заботится о независимости других народов. Тот же Н. И. Тургенев, этот западник среди декабристов, говоря о победе народа русского над Наполеоном, прибавляет: «Сей пример может возродить в них (в народах Европы, завоеванных Наполеоном.—С. Д.) желание возвыситься над своими тиранами».

Пушкин выразил общее мнение декабристов, когда, много лет спустя, отметил особую заслугу своей родины перед Европой:

¹ «Россия и Наполеон». Сб. Изд. 2-е, М., 1913, стр. 238.

¹ «Восстание декабристов», т. II, М., 1926, стр. 166 — 167.

... в бездну повалили
мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир.

Особенность любви декабристов к родине превосходно выразил П. А. Вяземский, в 1820-х годах весьма близкий к декабристам:

«В любви к отечеству более свойств любви родительской к детям, нежели детской к родителям...»

Отец, чем нежнее, чем пламеннее любит сына своего, тем сильнее ненавидит в нем признаки вредных склонностей и тем рачительнее, тем неумолимее старается искоренить оные»¹.

Декабрист без декабря, мечтавший вступить на «обетованный брег великого народа» как «свободный гражданин свободных земель», Вяземский воскликнул в своем гневном (оно было запрещено цензурой) «Негодовании» (1820):

Здесь у подножья алтаря,
Там у престола в вышнем сани,
Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?
Для вас отечество — дворец!

Нет! нет! не при твоём, отечество!
зерцале

Нет слез в них для твоих печалей,
Нет песней для твоих побед!
Им слава предков без преданий,
Им нем заветный гроб отцов!
И колыбель твоих сынов
Им не святыня упований!

Патриотизм «подданных царя», для которых «отечество — дворец», оправдывает, под видом любви к этому отечеству, все недостатки политического строя, все его язвы, весь произвол правящей власти, и в то же время этот мнимый патриотизм холоден к печали родной страны, равнодушен к славному прошлому народа и еще более преступно равнодушен к его будущему.

Наоборот, любовь к родине, свойственная «отечества гражданам», не смиряется пред существующим строем жизни народа, видит недостатки в политическом и социальном устройстве государства, ведет с ними непрерывную борьбу, которая может быть также величественна и героична, как

¹ Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского, т. V, Спб., 1880, стр. 76—77.

война с захватчиками-чужеземцами, поработителями национальной независимости.

Такой любовью возлюбили родину декабристы.

Идеализируя вечевой Новгород и Псков, декабристы-поэты видели в этой вечевой домонгольской и домосковской Руси страну вольности. Татарское иго, бироновщина, произвол вельмож при царствованиях XVIII века, крепостное право, арактиевщина — все это, в глазах декабристов, затемнило и исказило подлинное лицо родины — лицо светлое и прекрасное.

В драме А. И. Одоевского «Василий Шуйский», писанной уже в Сибири, «божественная дева» Вольность обращается к русским со словами «любви, и жалости, и гнева»:

Я вам чужда; меня вы позабыли,
Отвыкли вы от красоты моей,
Но вы в груди на век ли потушили
Святое пламя древних дней?
О, Русские! Я вам была родная:
Дышала я в отечестве Славян,
И за меня стояла Русь святая,
И юный пел меня Баян.

Действие драмы А. И. Одоевского должно происходить в 1610 году, во время обороны Смоленска против поляков, но героический призыв, который поэт-декабрист вкладывает в уста «божественной девы» Вольности, весь обращен к современности, к России, скованной железным последекабрьским режимом Николая I:

Пора, пора начать святую битву,
К мечам! за родину! к мечам!

Борьба за свободу родины есть борьба за самую родину — таково было общее убеждение декабристов. Оно с особой силой выразилось в походной песне декабристов, сочиненной А. И. Одоевским, которую распевали они при длинном переходе из Читинского острога в Петровский завод:

Славим нашу Русь, в неволе поем
Вольность святую.

Это неразрывное соединение любви к родине с любовью к свободе в единую ненависть к их общим врагам составляет весь пафос жизни К. Ф. Рылеева.

Можно сказать без всякого преувеличения: иной темы, чем это «оді et ато», у Рылеева нет: она преисполняет

его «Думы», ей посвящен «Войнаровский», она поглощает собою его лирику. Устами Димитрия Донского — героя национальной борьбы с монголами — Рылеев говорит:

Летим — и возвратим народу
Залог блаженства чуждых стран:
Святую праотцев свободу
И древние права граждан.

А наряду с этим воспеванием героев борьбы за национальную независимость родины Рылеев сложил высокую хвалу борцам за политическую гражданскую свободу. Он мыслил неразрывно соединенными национальную независимость и политическую свободу, он слил их в едином светлом образе родины. Известно, что поэтическим словом и революционным делом Рылеев запечатлел свою деятельную, подлинную любовь к родине — свободе.

Декабристы открыли в понимании родины новую эпоху.

Следующая эпоха связана с именем Пушкина.

3

В рукописях Пушкина есть набросок, предположительно относимый к 1831 году:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
[На них основано от века,
По воле бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его].
Животворящая святыня
Земля была (б) без них мертва,
Как... пустыня
И как алтарь без божества.

Отрывок этот не привлекал внимания исследователей, а между тем первое его четверостишие стало крылатым, а весь отрывок мог бы служить эпиграфом к высшим созданиям Пушкина, каковы «Полтава», «Медный всадник», «Капитанская дочка». Великий поэтический и жизненно-научный интерес Пушкина к истории, заставлявший его сменять вольное перо поэта на строгое перо историка, проистекал из источника, с открытой силой и свежою чистотою бьющего в приведенном отрывке: из «любви к родному пепелищу», нераздельной с «любовью

к отеческим гробам». Выше всего ценивший независимость мысли, чувства, неприкосновенность творческой воли человека, с особым светлым юмором сопоставлявший свой идеал независимости с народным: «Дащей горшок, да сам большой», — Пушкин, в данном отрывке, определяет этот идеал новым, впервые им найденным словом: «С а м о с т о я н ь е человека». В это понятие «самостоянья» у Пушкина входит нерушимая прочность бытия человека, его способность, твердо опираясь на жизненную почву, действовать и творить. Только обретая это «самостоянье», человек может приобрести широкий размах для творчества; вот почему «самостоянье человека» есть «залог величия его», приобретаемого творческими победами в искусстве, науке, в жизни практической — государственной, политической и т. д.

Но «самостоянье человека» невозможно, — так утверждает Пушкин, — если оно не «основано» на двух могучих, исконных чувствах — на любви к родине в ее настоящем («родное пепелище») и в ее прошлом («отеческие гроба»). Если б эти чувства перестали жить в людях и влиять на их деятельность, «земля была [б] без них мертва, как... пустыня», — утверждает Пушкин, — она сбросила бы с себя одежду культуры, она лишилась бы истории.

Таково историко-философское убеждение Пушкина, с исключительной прямою выраженное в приведенном отрывке. Но трудно указать такое произведение Пушкина, в котором так или иначе не отражено было бы это убеждение, бывшее для него вместе с тем живым чувством горячей любви к родине.

«Он и в современности чувствовал себя всегда, как в исторической рамке, в пределах живой, продолжающейся истории. Посмотрите, как чутко отзывается он на все истинно великие русские события своей эпохи, как горячо принимает к сердцу и честь, и славу, и самое внешнее достоинство России!..

Пушкин был живой русский, и исторически чувствовавший человек... Пушкин любил русский народ не отвлеченно, а вместе с реальною историческою формою, в которую он сло-

жился и в которой живет и действует в мире»¹.

Прошлое народа — это обширное предисловие к его настоящему, прошлое народа — это неотъемлемая часть его бытия в настоящем, с которой неразрывно связано продолжение этого бытия в будущем.

Автор «Бориса Годунова», «Полтавы», «Капитанской дочки» с предельной резкостью нападал на тех, кто не хотел этого знать. «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим», — утверждал Пушкин. Политическому переметчику, «игравшему двойной присягою», презренному Булгарину Пушкин бросил в лицо гневный упрек: «Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку клеветать русский характер, марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев».

Незадолго до смерти, в последнюю лицейскую годовщину, Пушкин вспоминал времена отечественной войны, когда чувство родины, живое ощущение ее бытия было общим чувством всего народа:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Зависть к тем, кто шел умирать за родину, — чувство отрока Пушкина, — превратилась у поэта в гордость тем, что он видел, как великий народ борется за свое «самостоянье» и побеждает в этой борьбе:

И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

«Самостоянье» народа — полнота его исторического и культурного бытия было постоянной думой и заботой Пушкина-поэта и мыслителя.

Пушкин создал удивительный по психологической емкости, по истори-

ческой силе и художественной красоте образ летописца, но он и сам был поэтическим летописцем русского народа от Олега Вещего до Кутузова-Смоленского, — и эта летопись Пушкина, издаваемая под именем «Песни о вешем Олеге», «Бориса Годунова», песен о Разине, «Полтавы», «Капитанской дочки», «Полководца», сближала и продолжала сближать, роднить русский народ с его прошлым несравненно больше, чем «История» Карамзина и все «истории» его продолжателей и преемников. Свое поэтическое дыхание Пушкин неразрывно слил с историческим и жизненным дыханием своей родины.

И однако известно, что Пушкин, по выражению П. А. Вяземского, томился «тоской по чужбине», не один раз замыслил побег на чужбину, и писал жене: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!».

Побег из России в Европу — в Париж, в Азию, в Китай — был несбывшейся мечтою Пушкина; однажды он сделал пробу такого побега, бежав из царского Петербурга в Арзрум, в азиатскую Турцию. Но и замыслив этот побег, вызванный «тоской по чужбине», Пушкин уже предвидел, чем он окончится. Поэта ждал неизбежный удел:

И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России.

Пушкин замыслил побег из казарменной империи Александра I и Аракчеева, из крепостнического государства Николая I и Бенкендорфа, а не из России русского народа, не от родной природы, не от родного языка и истории; он замыслил уйти не от родины, а от тех, кто пытался сделать родную землю чужбиной для каждого, дорожащего ее честью и свободой.

Но если Пушкин чувствовал в чьенбудь задуманном или действительном побеге с родины попытку отвернуться от ее истории, устранившись от ее жизненного дела, отойти от родного народа, — тогда Пушкин гневно выступал со всей силой своей мысли и гения.

В этом смысл полемики Пушкина с П. Я. Чаадаевым, заключившей их давнюю дружбу.

¹ И. С. Аксаков. Речь о Пушкине по поводу открытия памятника в Москве. Соч. И. С. Аксакова, т. VII, М., 1887, стр. 830 — 831.

В свое возражение Чаадаеву Пушкин вкладывает самые заветные мысли: да, Россия «долго оставалась чуждою Европе», «она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира»; но за всем тем, что служит Чаадаеву материалом для печальных оценок исторического пути России, Пушкин видит великий исторический подвиг родины: «России определено было высокое предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы... Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией».

Пушкин, задолго до «Письма» Чаадаева, требовал от Н. Полевого, писавшего «Историю русского народа»: «Поймите же и то... что история ее (России. — С. Д.) требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада». Эта же мысль лежит в основе всего возражения Пушкина Чаадаеву. Поэт требует от мыслителя, чтобы он сорвал с лица родины покрывало, взятое из чужих рук, с чужого лица, и свободным, любящим взором взгляделся в это родное лицо и увидел бы в нем высокую мысль и благородную волю.

Утверждая своеобразие истории русского народа, Пушкин возражал Чаадаеву: «Петр Великий один есть всемирная история». И пером историка, и вдохновенным пером поэта — всю жизнь писал поэт эту «всемирную историю» Петра Первого. Отдельные части этой истории он дал нам в «Полтаве», в «Арапе Петра Великого», в «Медном всаднике», в «Пире Петра Первого». Пушкин сам объяснил, чем привлекала его эта история, что заставляло его отдавать ей столько труда и вдохновения:

То академик, то — герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Вечный работник на пользу родины — вот кто дорог был Пушкину в Петре Первом. Поэт видел в нем исторический пример деятельной любви-работы на благо отчизны. Петр, в глазах Пушкина, славен тем, что он

Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье, —

и упорно, не покладая рук — на корабельной верфи в Саардаме, в военном строе при Полтаве и в кабинете Лейбница, работал для ее будущего.

Пушкин окончил возражение Чаадаеву замечательным признанием: «Я далек от восхищения всем, что я вижу вокруг меня; как писатель, я озлоблен; как человек с предубеждениями, я оскорблен — но, клянусь вам моей честью, ни за что на свете не хотел бы я переменить родину, ни иметь другой истории, чем история предков, которую бог нам даровал».

Человек, с такой силой и такой правдой закрепляющий свою связь с родиной, обуславливающий свое существование ее бытием, — есть гений, рожденный этой родиной. «В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла»¹. Гоголь мог бы продолжить: любить Пушкина — это значит любить его родину: так полно отразилась она в Пушкине во всем величии своего исторического деяния, во всей природной красоте, во всем человеческом богатстве. А между тем Пушкин первый не побоялся сказать полную, ничем не прикрашенную правду о родине.

Если у Ломоносова русская природа то освещена волшебными огнями северного сияния, то залита плавленным золотом великолепного солнца, если Державина пленяет в русской природе бурно стремительный водопад и самые реки русские у него «жидкому злату подобно, текут», если у Батюшкова русская природа исполнена сладостного зноя южной Эллады, если у Жуковского мечтательно покрывается она романтическим туманом и облекается в меланхолический траур, — то у Пушкина родная природа впервые появляется без всяких грандиозных освещений, без всякого эстетического наряда, во всей своей простоте:

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день...

Что может быть проще, обыденнее, доходчивее этого знаменитого описа-

¹ Н. В. Гоголь. Несколько слов о Пушкине.

ния осени в «Евгении Онегине»? Но в этой простоте пушкинских описаний осени, зимы, весны выражена сама душа русской природы, схвачена та ее «улыбка ясная», которою она веселит сердце народа.

Еще в юных годах, только встретясь с будущими декабристами, Пушкин обронил заметку: «Только революционная голова, подобная М. Ор[лову] или Пестелю, может любить Россию — так, как писатель только может любить язык. Все должно творить в этой России и в этом языке».

Пушкин, пламенно любя Россию, создал такой образ своей родины, который заставляет не только ее детей, но и людей других стран и народов искренне любить и достойно чтить ее.

Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет, —

сказал Тютчев о Пушкине. Не забудет потому, что в сердце поэта жил неизменно образ родины во всей ее правде и красоте.

Лермонтов начал публично свою деятельность поэта в тот горестный момент, когда перо выпало из руки убитого Пушкина. Он начал эту деятельность двумя одинаково, но разным, сильными патриотическими стихотворениями. Одно из них — «Бородино» — приобщало нового поэта к старой и вечно юной теме, уже вдохновлявшей его предшественников, — Жуковского, Батюшкова, Пушкина; Лермонтов снова раскрыл книгу истории России на знаменательной странице. Другое стихотворение — «Смерть поэта» — сказало Николаю I, что не умолкнут голоса казненного Рылеева и убитого Пушкина.

Твой стих, как божий дух, носился над
толпой

И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Таким — всегда неразрывно-созвучным с горем и торжеством своей родины — должен быть, по Лермонтову, истинный поэт. Таким явился сам Лермонтов во дни «беды народной» — гибели Пушкина, таким был он и в течение всей своей недолгой жизни.

Лермонтов никогда не скрывал своей ненависти к этой «стране господ», никогда не прятал своего презрения к «всевидящему глазу» Николая I и ко

«всеслышавшим ушам» его духовных, политических, военных, штатских и литературных шпионов. В первых же своих стихах, сделавших его имя известным всей России, Лермонтов назвал этих штатных и нештатных спешников Николая I их настоящим именем:

Свободы, Гения и Славы палачи, —

и ни сам Николай I, ни его слуги не простили Лермонтову, что он прямо и смело открыл родине их настоящие имена. Подобно Новикову, Радищеву, Рылееву, Пушкину, Лермонтов изгнанием и ранней гибелью заплатил за свое презрение и нескрываемую ненависть к тюремно-казарменной империи «мундиров голубых».

И чем более ненавистна была Лермонтову эта «страча господ», оберегаемая «мундирами голубыми» и восхваляемая лжепатриотическими декламациями Кукольника, — тем сильнее была любовь поэта к действительной отчизне, прекрасной и в своих страданиях, благородной и в своей нищете.

Как бы опасаясь, что его заветную мелодию смешают с чужими мотивами, временно увлекавшими его слух, юноша Лермонтов спешил заранее объяснить себя, определить свое место в русской и мировой поэзии:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он! гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Подобно тому, как Пушкин своей «русской душой» вслушивался в поэтическую молвь русского народа: в нянину сказку, в удалую песню про Степана Разина, — подобно этому и Лермонтов с детства вслушивался в поэзию народа. Еще шестнадцатилетним подростком он записал: «Если захочу вдаваться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня была мамушка-немка, а не русская — я не слыхал сказок народных; в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности». Но и без своей Арины Родионовны Лермонтов нашел верный путь к сокровищам народной поэзии, — и больше того: к сокровенным хранилищам мыслей и чувств своего народа. Оттуда он вынес свою «Песню про купца Калаш-

нии, общем у героя поэмы с ее автором. «Мцыри» — это не лирический рассказ о любви к родине, это даже не призыв к «тревогам и битвам» за ее вольность, — это сама любовь к родине в ее всесокрушающем порыве, в ее неугасающем пламени. Родина для Мцыри, как и для самого Лермонтова, есть единственное существо, которое заслуживает любви, и в любви к которой человек находит свое бессмертие. За родину, «за несколько минут» свободного бытия в ней, — клянется Мцыри, — «я б рай и вечность променял».

Лермонтов нашел вечность в своей героической думе о родине. Дума эта многообразна и сложна: в нее входят и горькие размышления о напрасно гибнущих силах человеческих, которые могли бы пойти на высокое служение родине («Герой нашего времени», Печорин), в нее входят и героические воспоминания об ее славном прошлом («Последний сын вольности», «Бородино»), в ней присутствуют и живые, простые люди современности (казачка-мать в «Казачьей колыбельной песне», солдаты в «Валерике», Максим Максимыч); но песня-дума это по существу едина: Лермонтов ощущает бытие своей родины, как бытие великого народа, верит в неисчерпаемость его творческих сил и с надеждой всматривается в манящую даль его исторического пути.

Самому Лермонтову — к горю его родины — было суждено сделать лишь первые шаги по его поэтической дороге, совпадающей со славным путем его народа.

Над ранней, внезапной могилой Лермонтова Белинский, в порыве горестной скорби за родную страну потерявшую своего певца, вопрошал: «Что ж еще он сделал бы? Какие поэтические тайны он унес с собою в могилу? Кто разгадает их? Лук богатыря лежит на земле, но уже нет другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила под небеса пернатую стрелу».

Другая рука продолжала дело Пушкина и Лермонтова, их творческий подвиг служения родине: за год до смерти Пушкина был поставлен «Ревизор», а через год после смерти Лермонтова вышли «Мертвые души».

Гоголь признавался в «Авторской исповеди», что, отдаваясь работе над «Мертвыми душами», он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого даны ему способности и силы, и что, исполняя его, он честно служит своей родине.

В течение семнадцати лет, не покладая рук работая над «Мертвыми душами», Гоголь ставил себе величайшую задачу: «Мне хотелось, чтобы, по прочтении моего сочинения, предстал как бы невольной весь русский человек, со всем разнообразием богатства и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно пред всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом.»

Еще в «Ревизоре» Гоголь с такой суровой беспощадностью, с такой ошеломляющей смелостью изобразил дворянско-чиновничью Россию, что вызвал негодование тех, кто чувствовал свое социальное родство с породой Сквозник - Дмухановских, Ляпкиных-Тяпкиных и Земляник. Инспектор казенного театра, где шел «Ревизор», занес в своей дневник: «Нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купцов». Известный Федор Толстой («Американец») всюду публично заявлял, что Гоголь — «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь».

По преданию, Николай I, выходя из театра после представления «Ревизора», воскликнул: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне более всех»¹. Произнес или нет Николай I эту фразу в действительности, но в ней выражен смысл «Ревизора»: всем представителям правящей казенной России «досталось» в «Ревизоре», а «более всех» — Николаю I, первому из городничих и держиморд.

¹ «Исторический вестник», 1883, кн. 9, стр. 736.

Поток обвинений в оскорблении отечества и чуть ли не в государственной измене, вызванный «Ревизором», не остановил Гоголя. В «Мертвых душах» он продолжал свою нелюбимую, самоотверженную службу родине.

Обвинения в клевете на родину повторились по выходе «Мертвых душ» с новой силой, с удвоенной дерзостью. Но если Собакевичи и Ноздревы, сжимающие крепостной хваткой живую душу русского народа, вправе были негодовать на Гоголя, то Белинский, от лица молодой демократической России, восторженно приветствовал писателя: «Вы у нас теперь один, — и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашей судьбою; не будь вас, — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества»¹.

Строгий и взыскательный к своей службе родине, Гоголь мог быть доволен тем, что сделал он в первом томе «Мертвых душ». «Первая часть, несмотря на все свои недостатки, главное дело сделала: она поселила во всех стращание от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску и собственное наше неудовольствие на сих нас».

В следующих томах «Мертвых душ» Гоголь мечтал показать русского человека не в его «собственной пошлости», а в прочных достоинствах характера, в упорстве жизненного труда, в высоте нравственного подвига. Все это не довелось написать Гоголю. Но все внутреннее содержание «Мертвых душ», все устремление творчества Гоголя заключается в том, чтобы указать русскому человеку на богатство внутренних сил, которыми он обладает, на способность его к общественному служению, на необходимость и возможность для него жизненного подвига ради родины, ее счастья и свободы.

Чем правдивее изображал Гоголь русскую действительность своего времени, чем беспощаднее вскрывал он ее многочисленные язвы, тем сильнее было его убеждение, что для родного народа, по богатству его нравственных, умственных и жизненных сил, возможна другая жизнь, исполненная света и славы.

Глубокую веру в свой народ Гоголь укреплял, вдумываясь в его историю.

Завоевание России татарами Гоголь объясняет отсутствием народного единства, разобщенностью народных сил и потому дробностью отпора, данного завоевателям-кочевникам. Но в народе, потерпевшем столь жестокое поражение от кочевников, жила любовь к своей земле, жива была тяга к независимому бытию, — и он начал бороться за свое место в истории. Великий народ закалялся в непрестанном героическом подвиге, в непрерывной обороне родной страны.

«Открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельцев: луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкие жилища сносимы до основания, обитатели разгоняемы и угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха, и потому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна войною...»

Всматриваясь с любовью в черты родного народа, вчитываясь в его летописи, вслушиваясь в его песни, Гоголь сам сложил величественную песню-былину о народном героизме. Это его «Тарас Бульба».

Тарас Бульба — подлинный народный герой. Люди, подобные Тарасу, стоя на страже обороны родины, «спасли, — замечает Гоголь, — Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть».

Ребенок с первых проблесков сознания уже слышал от матери, склонившейся над колыбелью, песни о защитниках родины. Если дети не следуют заветам отцов, если не проявляют любви к родине делом — доблестью и храбростью, то разрываются узы отцовства: такие сыновья без чести и доблести — не сыновья; «пусть лучшие пропадут, чтобы и духу их не было», так говорит Тарас своим сыновьям, снаряжая их в Сечь.

Наоборот, участие в общем деле защиты родины создает новое родство, несравненно более крепкое и близкое, чем родственность кровная, — это родство по оружию, боевое товарищество.

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. II, Спб., 1914, стр. 308.

Все личные недостатки и проступки, как худая трава в поле, выжигаются огнем любви к родине, когда народ начинает ощущать, что отчизна в опасности.

Казаки, воспетые Гоголем, в последний свой час забывают о себе, умирая на поле сражения, не думают о семье, а обращают свое последнее слово к родине: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные века русская земля».

Но если «могучее слово» народной песни, не утихая, вещает в веках славу верных сынов родины, — как о том прекрасно рассказывает Гоголь в статье об украинских песнях, — то проклятием и презрением покрывается память тех, кто изменил родине.

В мировой литературе немного найдется сцен, равных по трагической силе знаменитой встрече Тараса Бульбы с его сыном Андрием, изменившим родному краю ради любви к польской красавице.

Потрясающую сцену эту можно изъяснить в нескольких словах: отец казнил сына за измену родине, за предательство народного боевого товарищества-братства, казнил смертью, не дожидаясь ничего суда, — и приговор, вынесенный отцом, был так справедлив даже в глазах преступника-сына, что он, не пытаясь оправдаться и противиться, безмолвно подчинился ему.

Суровую непреклонность проявил народ, отстаивавший свою независимость в кровавой борьбе. Гоголевского Тараса отмечает замечательная черта: он знает, что истинная оборона народной жизни и свободы заключается не в уступках врагу, не в попытках договориться с ним, а в решительной победе, в умении воспользоваться плодами этой победы.

Величайшим примером могущества народа, обороняющего свою родину от иноземного завоевателя, был для Гоголя русский народ в эпоху 1812 года.

Восторг Гоголя перед этой эпопеей нашел отражение во втором томе «Мертвых душ». Страницы, где Тентетников беседует с генералом Бетрищевым о 1812 годе, да нас не дошли. Но вот что передает Л. И. Арнольди, слышавший эту главу в чтении Гоголя: Тентетников «отвечал, что не его дело писать историю кампании, отдельных сражений и отдельных личностей, игравших роль в этой войне, что не эти-

ми геройскими подвигами замечателя 12-й год; но что надобно взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно то, что весь народ встал, как один человек, в защиту отечества... вот что важно в этой войне, и вот что желал он описать в этой яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов и высоких, но тайных жертв»¹.

Генерал Бетрищев, участник войны, рассказывает у Гоголя о необыкновенных проявлениях героизма рядовых солдат. Вот один из рассказов, сохранившийся в записной книжке писателя:

«Он (генерал Бетрищев — С. Д.) вспомнил, как гренадер Коренной, когда уже стихнули со всех сторон французы и офицеры были переранены, закричавши: «Ребята, не сдаваться!» отстреливался и потом отбивался штыком; когда прижали их теснее и когда всех их перебили, один остался и не сдавался; и в ответ на предложение, схвативши ружье за дуло, отбивался прикладом...², так что не хотели погубить, ранили только легкой раной. Взавши в плен, Наполеон приказал выпустить».

Героическим моментом войны 1812 года был для Гоголя пожар Москвы. «Неслыханное самопожертвование — предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли»³.

Народный подвиг самопожертвования ради родины внушал автору «Мертвых душ» уверенность, что его народ и в дальнейшем способен на подвиг самообновления, на общий подъем сил, который приведет к возрождению народа. Гоголь верил, что когда придет исторический час этого всенародного дела — «сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все, позорящее высокую природу человека, то с болюю собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имущества, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас: ни одна душа не отстанет от другой, и в та-

¹ Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем. «Русский вестник», 1862, кн. I, стр. 75—76.

² Точки на месте неразобранного слова в рукописи Гоголя.

³ Соч., 10-е изд., т. IV, стр. 189—190.

кие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек».

Чем ярче и яснее вырисовывались пред Гоголем страшные очертания России «мертвых душ», тем пламеннее призывал он к гражданскому труду и непрестанной работе для иной, светлой России будущего.

«Тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства...», — утверждал Гоголь.

Свою страшную поэму о России «мертвых душ» Гоголь закончил страстным обращением к России живой, народной, полной сил и жизненного дерзновения.

«Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ», — просил Гоголь, вглядываясь в светлую манящую даль. Суровый правдолюбец не дал ответа на этот вопрос, он лишь верил, — со всей силой человека, познавшего и мерзостную тину «чичиковщины», и высоту народного подвига, верил в высокое, светлое будущее своей родины. И он знал: это будущее настанет тогда, когда все сыны этой родины, «все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитания и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приятно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своею родною крышею, а не на чужбине».

Свою великую, выстраданную творческим подвигом всей своей жизни, службу-любовь к родине Гоголь завещал своим преемникам.

Герцен, Тургенев, Гончаров, Некрасов, Достоевский, Островский, Салтыков, Лев Толстой, Чехов, Горький — все они испытали то же, что испытал Пушкин при чтении «Мертвых душ»: «Боже! как грустна наша Россия!» Все они правдой своих нелицеприятных сказаний о русской действительности, о «мертвых душах» купечества, мещанства, интеллигенции, правдой о «забытой деревне» и о фабричном городе, расширили и углубили гоголевскую жестокую правду о крепостной усадьбе и о чиновном городе. Но они же умножили и безмерно усилили другую правду — о великом народе, ищущем высшую социальную правду и борющемся за нее.

Эта правда так глубока смыслом и прекрасна содержанием, эта новая любовь к своей родине, неотделимая от любви к свободе, так велика по значению, что о ней нужна особая речь. Наследники Гоголя, от Герцена до Горького, умели

В ненарушимом полном строе
Все человечески-благое
Русским чувством закрепить.

Русская литература благодаря этому приобрела значение всемирной, и тема любви к родине зазвучала в ней с новой силой любви к человечеству.

„Родина“ Алексея Толстого

«Мы, призванные народом к творчеству искусства во времена величайшего исторического взлета нашей страны, — мы прежде всего должны беречь, и развивать, и питать в себе чувство любви к родине, чтобы оно, как внутренний огонь, горело в наших произведениях».

Так писал А. Н. Толстой еще задолго до великой отечественной войны. И ныне, в суровую, грозную пору борьбы народов Советского Союза против фашистско-немецких захватчиков, творчество выдающегося советского писателя-патриота А. Н. Толстого с особенной силой проникнуто благородной идеей защиты нашей родины, чувством сыновней любви к ней.

А. Н. Толстой справедливо указывал, что советский читатель ждет от нашей литературы широкого отражения пройденного странной пути, хочет найти в литературе образ подлинного героя нашего времени. Мы живем в начале расцвета советского искусства. Это только его утренняя заря,—говорил А. Н. Толстой. Советская литература должна запечатлеть в живых образах молодое и сильное лицо страны, выступившей на первый план мировой жизни.

Нет сомнения в том, что великая отечественная война породит множество романов, поэм и пьес, которые с новой силой покажут великую страну. И среди них будут произведения А. Н. Толстого,—залогом их появления служит его публицистическая деятельность в период войны.

Не впервые выступает А. Н. Толстой на поприще политической публицистики; мы помним его выступления в Москве, в которых он призывал писателей к служению родине. Мы знаем и выступления А. Н. Толстого на международных конгрессах в защиту культуры: в Лондоне, привыкшем еще с давних, герценовских, времен слышать голос русского писателя; в Париже и Мадриде, тогда еще свободных и независимых городах, куда вместе с другими советскими писателями приезжал А. Н. Толстой.

Но можно с полным правом сказать, что наибольшей своей силы и яркости политическая публицистика А. Н. Толстого достигла сейчас, в эпоху великой отечественной войны.

Статьи А. Н. Толстого, объединенные под заглавием «Родина»¹, — это «только» публицистика. Но она играет весьма важную роль в идейно-художественном развитии советской литературы.

Публицистическое творчество — одна из славных традиций великой русской литературы; вспомним Радищева, Пушкина, Гоголя, Герцена, Некрасова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Успен-

ского, Льва Толстого, Горького и других великих русских писателей. Все они были и великими публицистами.

Публицистическое творчество стало традицией и для советской литературы — достаточно вспомнить пламенную публицистику А. М. Горького, выступления лучшего поэта нашего времени Владимира Маяковского, публицистические работы А. С. Серафимовича, Ильи Эренбурга.

Очевидно, что в известные эпохи народной жизни, в годы исторических событий подлинному художнику необходимо говорить со своим народом непосредственно языком публицистики. Он создает публицистику не по воле, а по зову ума и сердца, не только потому, что для художественного претворения «материал еще не отстоялся», как говорят в таких случаях, но и потому, что публицистика, если она насыщена высокими историческими идеями и чувствами, — также одна из законных форм художественного претворения жизненного материала.

Читая публицистические статьи А. Н. Толстого, ясно чувствуешь, что писатель не только не хотел, но и не мог ждать, пока материал отстоится, он хочет говорить с народом, идя по свежим следам событий.

Известно, что сила А. Н. Толстого-художника в его неизменном интересе к самым острым, переломным эпохам русской истории, и неудивительно, что ныне, в дни всемирной борьбы, в которой решаются исторические судьбы человечества, один из крупнейших советских писателей переживает период огромного идейно-творческого подъема, можно сказать, взлета.

Это — первое впечатление от статей А. Н. Толстого, являющихся яркими литературными документами нашего времени.

Перед лицом грозной опасности, нависшей над нашей страной, писатель неустанно обращается к патриотическому чувству советских людей, объединившихся для защиты своего социалистического отечества. «Родина, — справедливо говорит Толстой, — возобладала надо всеми нашими чувствами». Мы хранители и стражи нашей родины, она — «движение народа по своей земле из глубины веков к желанному будущему».

Статьи А. Н. Толстого укрепляют в читателе благородное чувство национальной гордости, беззаветной любви к матери-родине, преданности ей, кровной связи с ней. «...Моя родина, моя родная земля, мое отечество, в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе».

Писатель глубоко прав, когда говорит, что в суровые дни войны мы все глубже познали нашу кровную связь с родиной. Да, это так и есть, — вот публицистическое обобщение, сделанное зорким художником, который подметил важную черту народной жизни. За

¹ А. Н. Толстой. Родина. Изд-во «Советский писатель». 1942 г.

итым обобщением каждый из нас легко может поставить тысячи живых, конкретных фактов боевого и трудового героизма советских людей.

Можно сказать, что, в известном смысле, сейчас происходит глубочайший процесс самопознания.

«Бешеный фашизм, — пишет А. Н. Толстой, — враждебен всякой национальной культуре, в том числе и немецкой. Всякую национальную культуру он стремится разгромить, уничтожить, стереть. Его пангерманская идея «весь мир для немцев» — лишь ловкий прием большой финансовой игры, где страны, города и люди — лишь особый вид безликих биржевых ценностей, брошенных в тотальную войну».

Фашисты ненавидят славян.

Полна благородного гнева речь Толстого на Всеславянском митинге в Москве летом 1941 года. Отвергая старую реакционную идею панславизма, идею, враждебную равенству и братству народов, Толстой пропагандирует свободное братство, объединение всего славянства для борьбы с гитлеризмом. И он знает, что его родной русский народ играет передовую роль в разгроме фашизма, роль авангарда всего прогрессивного человечества. «Нет, не остыли угли на пепелищах Варшавы, Белграда, Чачана, Ягодина, Бани! Их раздует священная ненависть для того, чтобы навсегда была сожжена и развеяна по ветру безумная, варварская, кровожадная мечта германского фашизма поработить и искоренить славянский мир».

А. Н. Толстой — глубоко русский писатель. Его герои — русские люди, события его романов — события русской истории и современности. И немудрено, что сейчас в своей публицистике писатель нередко обращается к русской истории.

Он напоминает своему читателю, что русские издревле считались храбрыми воинами, русский характер воспитывался в вечной борьбе с врагами российской государственности, с суровой природой. Он вспоминает славных героических предков, исторические события в жизни русского народа; вспоминает русских богатырей, щиты Игоря в половецких степях, великие битвы — на Куликовом поле, на льду Чудского озера; прославленные суворовские походы, победу над Наполеоном; вспоминает гениальных полководцев, прославивших русское оружие.

Эти исторические образы и параллели писатель органически связывает с современностью: имена и подвиги предков звучат

призывом для советских воинов. Они служат как бы историческим объяснением героизма наших чудо-богатырей, достойных своих великих предков.

«Москва — это больше чем стратегическая точка, — справедливо пишет А. Н. Толстой, — больше чем столица государства. Москва — это идея, охватывающая всю нашу культуру во всем ее национальном движении. Через Москву — наш путь в будущее». И в статьях А. Н. Толстого, написанных еще до гениально выигранной нами битвы за Москву, мощно звучит уверенность в нашей победе. Это также один из основных мотивов его публицистики.

Выражением чувств и мыслей всего советского народа звучат восторженные слова писателя о нашем вожде, который во всеоружии мудрости и гениальной прозорливости ведет наш народ к победе над заклятым врагом.

Публицистика А. Н. Толстого, посвященная великой отечественной войне, продолжает горьковские традиции нашей литературы, — недаром в ней с такой силой выражен и гуманистический мотив — любовь к человеку, боль за унижение человеческой личности, нагло попираемой зверским фашизмом. Фашистскому человеконенавистничеству Толстой-публицист противопоставил социалистическое возвышение личности: «Мы боремся за счастье человека» и социалистическую мораль — «если враг не сдастся — его уничтожают».

Пройдут года. О великой отечественной войне наших дней будет создано множество замечательных книг. Но среди них не затеряется маленькая публицистическая книжка А. Н. Толстого «Родина», с ее благородными патриотическими мыслями и чувствами, с ее напряженным волнением за судьбу родины.

В творческой биографии писателя книжка эта также займет свое место; она, несомненно, заменит новый шаг в творческом пути писателя. Для читателя же она будет служить ярким свидетельством выдающегося современника о великих днях грандиозной битвы, о всемирно-исторических событиях, каких доньше мир еще не знал.

«Дерзай, советский человек!» — призывает А. Н. Толстой-публицист, один из виднейших представителей советской интеллигенции. «Наш вождь указал нам верный путь к победе в славе. Советские люди в огне и крови великой битвы доказали, что рабами они быть не хотят и не будут и великодушным мужеством своим спасают человечество от рабства».

И. Нович

Америка и русское общество

В прошлом году, отвечая на поздравление М. И. Калинина в день 165-й годовщины независимости Соединенных Штатов Америки, президент США Франклин Рузвельт сказал, что американский народ «связан с русским народом крепкими узами исторической дружбы».

В небольшой брошюре, выпущенной Институтом мировой литературы им. Горького¹,

т. А. Старцев освещает этапы исторических связей США и России на протяжении последних двух веков. Ответственная и благодарная тема разрешена автором удовлетворительно, — разумеется, в тех пределах, которые лимитировались объемом брошюры. Автор вынужден был иллюстрировать свои мысли весьма ограниченным документальным материалом, приводить лишь небольшие цитаты из первоисточников, и все же ему удалось ярко обрисовать старинную дружбу двух великих народов и показать историческую закономерность этой дружбы.

¹ А. Старцев. «Америка и русское общество». Изд. Академии наук СССР. 1942 г.

Характерна переклячка двух великих людей обеих стран в конце XVIII столетия, в период войны американского народа за свою независимость. Александр Радищев в знаменитой оде «Вольность» выразил благородное чувство содружества с передовым народом мира и решимость следовать примеру американцев — завоевать свободу в своей собственной стране. Радищев пишет:

К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна,
Лежала вольность попорана;
Ликуешь ты! А мы здесь страждем!
Того ж, того ж и мы все ожаждем..

Великому русскому писателю отвечает крупнейший американский поэт периода войны за независимость — Филипп Френо, предвидевший в своей «Оде», что «благодатное пламя свободы» переберется «на ледяные просторы России».

Автор рецензируемой брошюры подробно останавливается на отношении Радищева и передовых русских людей конца XVIII и начала XIX веков к свободолобивому американскому народу, к его славным вождям — Вашингтону и Франклину, анализирует русскую периодическую печать, уделявшую много внимания борьбе американского народа за независимость, рисует крайне чуткое и восторженное отношение к США декабристов Рыльева, Каховского, Волконского, Пестеля. Автор приводит интересные материалы из таких мало известных изданий, как ежемесячный «Дух журналов», издававшийся в начале XIX века, или книги Павла Свьягина и Петра Полетики.

К сожалению, слишком скупко говорится в брошюре об отношении к США Герцена, хотя великий русский публицист в своих многочисленных высказываниях об Америке и американском народе очень ярко выражал мнение передового русского общества. Нельзя было, например, не привести характерных слов Герцена: «Чтоб понять русский народ, не будучи русским... надобно быть... гражданином Северной Америки». В этих кратких словах заключена замечательная мысль об общности духа двух великих народов.

Автор довольно подробно останавливается на отношении к США Чернышевского и всего круга «Современника» (Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин). Для революционных демократов «американские дела были особенно актуальны не только в силу собственного значения, но и по причине их близкого отношения к русским делам. Борьба в США за уничтожение невольничества революционным путем, естественно, соотносилась с революционной программой уничтожения русского самодержавно-крепостнического строя».

Большое место уделено в брошюре характеристике русско-американских литературных связей. Популярны Франклина, Ирвинга, Купера, Эдгара По в России, горячая любовь русского читателя к Марку Твену и Джеку Лондону и, с другой стороны, влияние рус-

ской литературы, в особенности Тургенева и Льва Толстого, на литературу США, — все это очень ярко характеризует культурную связь двух великих народов. Характерно в этом отношении свидетельство Льва Толстого, писавшего своему английскому переводчику Моду:

«Великая литература возникает, когда общество переживает моральное возрождение. Возьмите, например, период освобождения рабов, когда в России шла борьба за уничтожение крепостного права, а в Соединенных Штатах развивалось абolicionистское движение. Поглядите, какие писатели появились в это время. В Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Лоуэлл, Уэлтир, Лонгфелло, Вильям Ллойд Гаррисон, Тюдор Паркер и другие. В России: Достоевский, Тургенев, Герцен и другие».

После Октябрьской революции крепнут связи и дружба между двумя великими странами. Пытливые передовые люди США приезжали в Москву, чтобы увидеть собственными глазами, как живут и работают трудящиеся в свободном советском государстве, и уезжали, преисполненные симпатией к новой России. Автор приводит характерный пример: «Когда великий американский журналист Линкольн Стефенс приехал из голодной и холодной Москвы 1919 года в Париж, он произнес крылатые слова, которые до сих пор цитируют на Западе: «Я был в будущем. Оно наступило».

В период гражданской войны представители прогрессивных кругов американской общности высказывались за установление русско-американских связей в духе традиционной дружбы между двумя народами. Виднейшие американские политические деятели, такие, как Бора, Ла Фолетт и другие, неоднократно ставили вопрос о признании советского государства. Американская пресса печатала материалы о созидательной работе нашего народа. Американские профсоюзы посылали в Советскую Россию группы своих рабочих. Со своей стороны, советское правительство и лично товарищи Ленин и Сталин много внимания уделяли делу установления дружественных связей с великой заокеанской республикой.

Связь двух великих народов росла и крепла также в годы блестящего осуществления сталинских пятилеток, когда тысячи американцев, принадлежащих к различным слоям американского народа, приезжали в Советскую Россию не только как посетители, но и, в большинстве, как участники крупнейших советских новостроек.

Брошюру А. Старцева с большим интересом прочтут десятки тысяч советских людей, рука об руку с американским народом борющихся сейчас с заклятым врагом человечества — германским фашизмом. Несомненно, потребуется переиздание брошюры. И тогда следует умеренно расширить ее объем, в первую очередь осветить вопрос о многообразной связи народов США и СССР за последний год — год войны с фашизмом.

С. Иванов